This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Slav 4170.6

Harvard College Library

FROM THE FUND OF

CHARLES MINOT

Class of 1828

Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“ (Спб., Невскій, 92).

XXIII.

СБОРНИКЪ

ТОВАРИЩЕСТВА „ЗНАНІЕ“ ЗА 1908 ГОДЪ.

КНИГА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

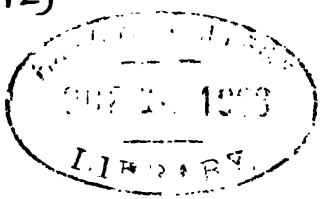
СОДЕРЖАНІЕ:

М. Горькій. Исповѣдь.
С. Гусевъ-Оренбургскій. Сказки земли.
А. Золотаревъ. Въ Старой Лаврѣ.

Цѣна 1 рубль.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1908.

Slav 4170.6
(CXIII.112)



Minot fund
(XXIII)

Типографія акц. общ. «СЛОВО». Ул. Жуковскаго, 21.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	стр.
М. Горькій. Исповѣдь	1
С. Гусевъ-Оренбургскій. Сказки земли	207
А. Золотаревъ. Въ Старой Лаврѣ	283

М. ГОРЬКІЙ.

ИСПОВѢДЬ.

ПОВѢСТЬ.

ФЕДОРУ

ШАЛЯПИНУ

ПОСВЯЩАЮ.

...Позвольте разсказать жизнь мою; времени повѣсть эта отниметъ у васъ немного, а знать ее — надобно вамъ.

Я—крапивникъ, подкидышъ, незаконный человѣкъ; кѣмъ рожденъ—неизвѣстно, а подброшенъ былъ въ экономію господина Лосева, въ селѣ Сокольемъ, Красноглинскаго уѣзда. Положила меня мать моя—или кто другой—въ паркъ господскій, на ступени часовеньки, гдѣ схоронена была старая барыня Лосева, а найденъ я былъ Данилой Вяловымъ, садовникомъ. Пришелъ онъ рано утромъ въ паркъ и видитъ: у двери часовни дитя шевелится, въ тряпки завернуто, а вокругъ котъ дымчатый сторожко ходитъ.

У Данилы прожилъ я до четырехъ лѣтъ, но какъ онъ самъ многодѣтный былъ, то кормился я гдѣ попало, а коли пищи не найду,—попищу, попищу да голоденъ и засну.

Четырехъ лѣтъ взялъ меня къ себѣ дьячокъ Ларіонъ, человѣкъ одинокій и весьма чудесный; взялъ онъ меня для скуки своей. Былъ онъ небольшого роста, круглый, какъ пузырь, и лицо круглое; волосы рыжіе, а голосъ тонкій, подобно женскому, и сердце имѣлъ тоже какъ бы женское—до всѣхъ ласковое. Любилъ вино пить и пилъ его помногу; трезвый молчаливъ бывалъ, глаза полузакрыты всегда, и видъ имѣлъ человѣка виноватаго предъ всѣми, а выпивши — громко ирмосы и тропари пѣлъ, голову держалъ прямо и всякому улыбался.

Отъ людей въ сторонѣ стоялъ, жилъ бѣдно, надѣлъ свой попу отдалъ, а самъ зиму и лѣто рыбу ловилъ, да—забавы ради—птицъ пѣвчихъ, къ чему и меня пріучилъ. Любилъ онъ птицъ, и онѣ не боялись его; умилительно вспомнить, какъ, бывало, бѣгаетъ поползень—птица очень дикая—по рыжей головѣ его и путается въ огневыхъ волосахъ. Или сядетъ на плечо и въ ротъ ему заглядываетъ, наклоняя умную голову свою. А то ляжетъ Ларіонъ на лавку, насыплетъ конопли въ голову и въ бороду себѣ, и вотъ слетятся чижи, щеглята, синицы, снигири—роются въ волосахъ дьячка, по щекамъ лазятъ, уши клюютъ, на носъ ему садятся, а онъ лежитъ и хохочетъ, жмуря глаза да ласково бесѣдуя съ ними. Завидовалъ я ему въ этомъ—меня птицы боялись.

Нѣжной души человѣкъ былъ Ларіонъ, и всѣ животныя понимали это; про людей того не скажу—не въ осужденіе имъ, а потому, что, знаю,—человѣка лаской не накормишь.

Зимою трудновато бывало ему: дровъ нѣтъ и купить не на что, деньги пропиты; въ избенкѣ, какъ въ погребѣ, холодно, только пичужки щебечутъ да поютъ, а мы съ нимъ, лежа на холодной печи, всѣмъ, чѣмъ можно, окутаемся и слушаемъ птичье пѣніе... Ларіонъ имъ подсвистываетъ—хорошо умѣлъ!—да и самъ былъ похожъ на клёста: носъ большой, крюкомъ загнутый, и красная голова. А то, бывало, скажетъ мнѣ:

— Вотъ, слушай, Мотька,—меня Матвѣемъ окрестили,—слушай!

Ляжетъ на спину, руки подъ голову, зажмуритъ глаза и заведетъ своимъ тонкимъ голосомъ что-нибудь изъ литургіи заупокойной. Птицы замолчатъ, прислушаются, да потомъ и сами въ перебой пѣть начнутъ, а Ларіонъ пуще ихъ, а онѣ ярятся, особенно чижи да щеглята или дрозды и скворцы. До того онъ допоется, бывало, что сквозь вѣки изъ глазъ у него слезы те-

кутъ, щеки ему мочатъ, и омытое слезами станетъ сѣрымъ лицо его.

Отъ такого пѣнія иной разъ жутко становилось, и однажды я сказалъ ему тихонько:

— Что ты, дядя, все про смерть поешь?

Пересталъ онъ, поглядѣлъ на меня и говоритъ, смѣясь:

— А ты не бойся, глупый! Это ничего, что смерть, зато—красиво! Въ богослуженіи—самое красивое заупокойная литургія: тутъ ласка человѣку есть, жалость къ нему. У насъ, кромѣ покойниковъ, никого не умѣютъ жалѣть!

Слова эти—хорошо помню, какъ и всѣ его рѣчи, но понимать ихъ въ ту пору я, конечно, не могъ. Дѣтское только передъ старостью понятно, въ самые мудрые годы человѣка.

Помню тоже, спросилъ я его: почему Богъ людямъ мало помогаетъ?

— Не Его это дѣло! — объяснилъ онъ мнѣ. — Самъ себѣ помогай, на то тебѣ разумъ данъ! Богъ—для того, чтобы умирать не страшно было, а какъ жить — это твое дѣло!

Рано забылъ я эти рѣчи его, а вспомнилъ—поздно, и оттого много лишняго горя перенесъ.

Замѣчательный былъ человѣкъ! Всѣ люди, когда удятъ, не кричатъ, не разговариваютъ, чтобы не пугать, — Ларіонъ поетъ неумолчно, а то разсказываетъ мнѣ житія разныя, или о Богѣ говоритъ, и всегда къ нему рыба валомъ шла. Птицъ ловятъ тоже съ осторожностью, а онъ все время свиститъ, дразнитъ ихъ, бесѣды съ ними ведетъ и—ничего, идетъ птица и въ чапки, и въ сѣть. Опять-же насчетъ пчелъ—рои отсаживать или что другое,—старые пчеляки съ молитвой это дѣлаютъ, и то не всякъ разъ удается имъ, позоветъ дьячка—онъ бьетъ пчелъ, давитъ ихъ, ругается матерно,—и все сдѣлаетъ въ лучшемъ видѣ. Не любилъ

онъ пчелъ: онѣ у него дочь ослѣпили. Забралась на пчельникъ дѣвочка—три года было ей,—а пчела ее въ глазъ и чикнула; разболѣлся глазокъ да ослѣпъ, за нимъ—другой, потомъ дѣвочка померла отъ головной боли, а мать ея сошла съ ума...

Да, все онъ дѣлалъ не какъ люди, и ко мнѣ ласковъ былъ, словно мать родная; въ селѣ меня не очень жаловали: жизнь—тѣсная, а я всѣмъ чужой, лишній человѣкъ... Вдругъ чей-нибудь кусокъ незаконно съѣмъ...

Пріучилъ меня Ларіонъ ко храму, сталъ я помогать ему въ службѣ, пѣлъ съ нимъ на клиросѣ, кадило зажигалъ, все дѣлалъ, что понадобится; сторожу Власію помогалъ порядокъ въ церкви держать и любилъ все это, особенно зимой. Церковь-то каменная, топили ее хорошо, тепло было въ ней.

Всенощная служба больше утренней пріятна мнѣ была; къ ночи, трудомъ очищенные, люди отрѣшаются отъ заботъ своихъ, стоятъ тихо, благолѣпно, и теплятся души, какъ свѣчи восковыя, малыми огоньками; видно тогда, что хоть лица у людей разныя, а горе—одно.

Ларіонъ любилъ службу во храмѣ: закроетъ глаза, голову рыжую кверху закинетъ, кадыкъ выпятитъ—и зальется, запоетъ. До того доходилъ, что и лишнее пѣвалъ,—ужъ попъ ему изъ алтаря знаки дѣлаетъ,—куда, дескать, тебя занесло? И читалъ тоже прекрасно, нараспѣвъ, звонко, съ ласкою въ голосѣ, съ трепетомъ и радостью. Попъ не любилъ его, онъ попа—тоже, и не разъ, бывало, говорилъ мнѣ:

— Какой это священникъ! Онъ не попъ, а барабанъ, по которому нужда и привычка палками бьютъ. Былъ бы я попомъ, я бы такъ служилъ, что не токмо люди,—святыя иконы плакали бы!

И это вѣрно—не хорошъ былъ попъ на своемъ мѣстѣ: лицо курносое, черное, словно порохомъ опалено, ротъ широкій, беззубый, борода трепаная, волосомъ — жидокъ, со лба—лысина, руки длинныя. Голосъ имѣлъ

хриплый и задыхался, будто не по силѣ ношу несъ. Жаденъ былъ и всегда сердитъ, потому—многосемейный, а село-то бѣдное, зе́мли у крестьянъ плохія, промысловъ нѣтъ никакихъ.

Лѣтомъ, когда и комаръ богатъ, мы съ Ларіономъ днюемъ и ночуемъ въ лѣсу, за охотой на птицъ или на рѣкѣ, рыбу ловя. Случалось—вдругъ треба какая-нибудь, а дьячка нѣтъ, и гдѣ найти его — невѣдомо. Всѣхъ мальчишекъ изъ села разгонятъ искать его; бѣгаютъ они, какъ зайчата, и кричатъ:

— Дьячокъ! Ларивонъ! Айда домой!

Едва найдутъ... Попъ ругается, жалобой грозитъ, а мужики—смѣются.

Былъ у него одинъ дружокъ, Савелка Мигунъ, ворище извѣстный и пьяница заливной, не разъ битъ бывалъ за воровство и даже въ острогѣ сидѣлъ, но, по всему прочему, рѣдкостный человѣкъ. Пѣсни онъ пѣлъ и сказки говорилъ такъ, что невозможно вспомнить безъ удивленія.

Множество разъ я его слыхалъ, и теперь вотъ онъ предо мною живъ стоитъ: сухонькій, юркій, бородёнка въ три волоса, весь оборванный, рожа маленькая, клиномъ, а лобъ большой и подъ нимъ воровскіе развеселые глаза часто мигаютъ, какъ двѣ тёмныя звѣзды.

Бывало, притащитъ онъ бутылку водки, а то Ларіона заставитъ купить, сядутъ они другъ противъ друга за столъ, и говоритъ Савелка:

— А ну-ко, дьяче, валяй „Покаяніе“!

Выпьютъ... Ларіонъ поконфузится немножко, да и запоетъ, а Савелка сидитъ, какъ пришитый, мигаетъ, бородёнкой трясетъ, слезы на глазахъ у него, лобъ рукой поглаживаетъ и улыбается, сгоняя пальцами слезинки со щекъ.

Потомъ подскочитъ, какъ мячъ, кричитъ:

— Очень превосходно, Ларя! Ну, и завидую я Господу Богу—хорошо пѣсни сложены Ему! Человѣкъ-то,

Ларя, а? Каковъ есть человѣкъ, сколь онъ добръ и богатъ душой, а? Ему ли ужъ не трудно передъ Богомъ ходить! А онъ — вотъ какъ — на! Ты мнѣ, Господи, — ничего, а я тебѣ—всю душу!

— Не кощуны!—скажетъ Ларіонъ.

— Я? — кричитъ Савелка.—Нисколько! Даже и въ помыслахъ нѣтъ! Гдѣ же я кощуню? Никакъ! Радуюсь за Бога—и больше ничего! Ну, а теперь я тебѣ спою!

Встанетъ, руку вытянетъ и начнетъ колодовать. Пѣлъ онъ тихо, таинственно пѣлъ, глаза широко раскроетъ, зажгетъ ихъ какимъ-то особеннымъ огнемъ, и на вытянутой рукѣ его сухіе пальцы шевелятся всегда, словно ищутъ чего-то въ пустотѣ. Ларіонъ къ стѣнѣ отвалится, опираясь руками о скамью, откроетъ ротъ и смотритъ удивленный; я на печи лежу, а сердце у меня замираетъ печально-сладостно. Потемнѣетъ весь Савелка, только мелкіе бѣлые зубы его блестятъ, да сухой языкъ шевелится, какъ у змѣи, и потъ на лбу выступитъ крупными каплями. Голосу у него — конца нѣтъ, такъ и льется, такъ и свѣтится, подобно ручью въ полѣ. Кончитъ, покачивается, оботретъ лицо ладонью, выпьютъ оба и долго молчатъ. Потомъ Савелка проситъ:

— А ну-ко, Ларя, „Волною морскою“!

И такъ они весь вечеръ другъ друга утѣшаютъ, пока не спьянятся оба; тогда Мигунъ начинаетъ похабныя сказки сказывать про поповъ, помѣщиковъ, королей; дьячокъ мой хохочетъ и я тоже, а Савелка безъ устали сказку за сказкой вяжетъ и такъ смѣшно, что впору задохнуться со смѣху.

А еще лучше онъ по праздникамъ у кабака пѣвалъ: встанетъ предъ народомъ, зажмурится крѣпко, такъ что на вискахъ морщины лягутъ, да и заведетъ; смотришь на него—и словно пѣсня въ грудь ему изъ самой земли исходитъ: и слова ему земля подсказываетъ, и силу голосу даетъ. Стоятъ и сидятъ вокругъ

мужики; кто голову спустилъ и соломинку грызетъ, иной смотритъ въ ротъ Савелкѣ и весь свѣтится, а бабы даже плачутъ, слушая.

Кончитъ онъ — просятъ:

— Валяй, братъ, еще!

Выпить поднесутъ.

Былъ про Мигуна такой разсказъ: укралъ чего-то въ селѣ, и поймали его мужики, поймали да и говорятъ:

— Ну, — кончено твое дѣло! Теперь мы удавимъ тебя, невтерпёжъ намъ ты!

А онъ, будто, отвѣчаетъ:

— Бросьте, мужики, не дѣло затѣяли! Краденое вы у меня отняли, стало быть — ничего вами не потеряно, да имѣніе всегда новое можно нажить, а такого человѣка, какъ я—гдѣ вамъ взять? Кто васъ утѣшитъ, какъ не будетъ меня?

— Ладно,—говорятъ,—толкуй!

Повели его въ лѣсъ вѣшать, а онъ дорогой и запѣлъ. Сначала шли—торопились, потомъ перестали спѣшить, а пришли къ лѣсу—и готова веревка, но ждутъ, когда онъ кончитъ послѣднюю пѣсню свою, а потомъ говорятъ другъ другу:

— Пускай еще одну споетъ, это ему вмѣсто отходной будетъ!

Спѣлъ онъ и еще, да и еще, а тутъ солнышко взошло, оглянулись люди: ясный день съ востока идетъ, Мигунъ среди нихъ улыбается, ожидаетъ смерть безъ страха. Сконфузились мужики.

— Ну его, ребята, ко всѣмъ псамъ!—говорятъ.— Удавишь—грѣха да склоки разной не оберешься.

И порѣшили не трогать Мигуна.

— За таланъ твой,—говорятъ,—мы те и въ поясъ поклонимся, а за воровство все-таки должны бока намять.

Побили его легонько, да вмѣстѣ съ нимъ и пошли назадъ.

Все это, можетъ быть, и выдумано, да ужъ очень лестно про людей говоритъ и Савелку хорошо ставитъ. А еще и то подумайте: коли люди этакъ складно сказки сказываютъ, стало быть, не больно плохи они, а въ томъ и вся суть!

Не только пѣсни пѣли, но и о многомъ разговаривали Савелка съ Ларіономъ, часто—о дьяволѣ: не въ чести онъ былъ у нихъ.

Помню, разъ говоритъ дьячокъ:

— Дьяволъ есть образъ злобы твоей, отраженіе духовной темноты...

— Глупость моя, значитъ?—спрашиваетъ Савелка.

— Именно она—и больше ничего!

— Должно быть, такъ и есть!—смѣясь, говоритъ Мигунъ.—А то, кабы онъ живъ былъ, давно бы ему сцапать меня надобно!

Совсѣмъ не вѣрилъ Ларіонъ въ чертей: помню, на гумнѣ, споря съ мужиками-раскольниками, кричалъ онъ имъ:

— Не діавольское, но—скотское! Добро и зло—въ человѣкѣ суть: хочете добра—и есть добро; зла хочете—и будетъ зло отъ васъ и вамъ! Богъ не понуждаетъ васъ на добро и на зло, самовластны вы созданы волею Его и свободно творите какъ злое, такъ и доброе. Діаволъ же вашъ—нужда и темнота! Доброе суть воистину человѣческое, ибо оно—Божіе, злое же ваше—не діавольское, но скотское!

Они ему кричатъ:

— Еретикъ рыжій!

А онъ—свое.

— Оттого,—говоритъ,—дьяволъ и пишется рогатъ и козлоногъ, что онъ есть скотское начало въ человѣкѣ.

Лучше всего о Христѣ Ларіонъ говорилъ; я, бывало, плакалъ всегда, видя горькую судьбу свѣтлаго сына Божія. Весь Онъ—отъ спора въ храмѣ съ учеными до Голгоѳы—стоялъ предо мною, какъ дитя чистое

и прекрасное въ неизреченной любви своей къ народу, съ доброй улыбкой всѣмъ, съ ласковымъ словомъ утѣшенія,—вездѣ дитя, ослѣпительное красотою своею!

— И съ мудрецами храма,—говорилъ Ларіонъ,—какъ дитя бесѣдовалъ Христосъ, оттого и показался имъ выше ихъ въ простой мудрости своей. Ты, Мотя, помни это, и старайся сохранить въ душѣ дѣтское твое во всю жизнь, ибо въ немъ—истина!

Спрашивалъ я его:

— А скоро опять Христосъ придетъ?

— Скоро уже!—говоритъ.—Скоро,—ибо слышно, что люди снова ищутъ его!

Вспоминая теперь Ларіоновы слова, кажется мнѣ, что видѣлъ онъ Бога великимъ мастеромъ прекраснѣйшихъ вещей, а человѣка считалъ неумѣлымъ существомъ, заплутавшимся на путяхъ земныхъ, и жалѣлъ его, безталаннаго наслѣдника великихъ богатствъ, Богомъ ему отказанныхъ на сей землѣ.

У него и у Савелки одна вѣра была. Помню, икона чудесно явилась у насъ на селѣ. Однажды рано утромъ по-осени пришла баба до колодца за водой и, вдругъ, видитъ: во тьмѣ на днѣ колодца—сіяніе. Собрала она народъ, земскій явился, попъ пришелъ, Ларіонъ прибѣжалъ, спустили въ колодезь человѣка, и поднялъ онъ оттуда образъ „Неопалимой купины“. Тутъ же начали молебенъ служить, и рѣшено было часовню надъ колодцемъ поставить. Попъ кричитъ:

— Православные, жертвуйте!

Земскій тоже приказываетъ, и самъ трешницу далъ. Мужики развязали кошели, бабы усердно холсты тащатъ и всякое жито, по селу ликованіе пошло, и я былъ радъ, какъ въ день Свѣтлаго Христова Воскресенія.

Но еще во время молебна видѣлъ я, что лицо Ларіоново грустно, и не смотритъ онъ ни на кого, а Савелка, словно мышь шныряя въ толпѣ, усмѣхается.

Ночью я ходилъ смотрѣть на явленную: стояла она надъ колодцемъ, источая дыму подобное голубовато-свѣтлое сіяніе, будто нѣкто невидимый ласково дышалъ на нее, грѣя свѣтомъ и теплом; было и жутко, и пріятно мнѣ.

А пришелъ я домой, слышу—Ларіонъ грустно говоритъ:

— Нѣтъ такой Божьей Матери!

И Савелка тянетъ, смѣясь:

— Я зна-аю! Чай, Моисей-то задолго до Христа былъ! Нѣтъ, каковы жулики? Чудо, а! Ахъ, вы, чудаки!

— Въ тюрьму-бы за это и земскаго, и попа!—тихо-тихо говоритъ Ларіонъ.—Чтобы не убивали они, корысти своей ради, Бога въ людяхъ!

Я чувствую,—непріятенъ мнѣ этотъ разговоръ, и спрашиваю съ печи:

— Вы про что говорите, дядя Ларіонъ?

Замолчали они, шепчутся оба, видимо обезпокоились. Потомъ Савелка кричитъ:

— Ты чего? Самъ на людей жалуешься—дураки, и самъ же, безъ стыда, дурака дѣлаешь изъ Матвѣйки? Зачѣмъ?

Подскочилъ и говоритъ мнѣ:

— Гляди, Мотька, вотъ—спички! Вотъ—я ихъ растираю въ рукахъ... Видишь? Гаси огонь, Ларіонъ!

Погасили лампу, и, вижу я, въ темнотѣ двѣ Савелкины руки сіяютъ тѣмъ же дымомъ голубымъ, какъ и явленная икона. Страшно это и обидно было видѣть.

Савелка чего-то говоритъ, а я въ уголъ печи забился и уши себѣ пальцами заткнулъ, молчу. Тогда влѣзли они оба ко мнѣ,—водку тоже взяли,—и долго, наперебой, разсказывали мнѣ объ истинныхъ чудесахъ и обманномъ надругательствѣ надъ вѣрою людей. Такъ я и заснулъ подъ ихъ рѣчи.

А черезъ два-три дня пріѣхало множество поповъ и чиновниковъ, икону арестовали, земскаго съ должно-

сти смѣнили, попа тоже настращали судомъ. Тогда и я повѣрилъ въ обманъ, хоть и трудно было мнѣ согласиться, что все это только для того сдѣлано, чтобы у бабъ холсты, у мужиковъ пятаки вытянуть.

Еще когда минуло мнѣ шесть лѣтъ, началъ Ларіонъ меня грамотѣ учить по церковному, а черезъ двѣ зимы у насъ школу открыли,—онъ меня въ школу свелъ. Сначала я нѣсколько откачнулся отъ Ларіона. Учиться понравилось мнѣ, взялся я за книжки горячо, такъ что онъ, бывало, спроситъ урокъ у меня и, прослушавъ, скажетъ:

— Славно, Мотька!

А однажды сказалъ:

— Хорошая кровь въ тебѣ горитъ, видно, не глупъ былъ твой отецъ!

Я спрашиваю:

— А гдѣ онъ?

— Кто-жъ это знаетъ!

— А онъ—мужикъ?

— Навѣрное одно можно сказать: мужчина. А насчетъ сословія—опять-таки неизвѣстно. Едва ли мужикъ, однако! По лицу твоему, да по кожѣ—кромѣ характера—изъ господишекъ, видать!

Запали эти случайныя слова его въ память мнѣ и не принесли добра. Назовутъ меня въ школѣ подкидышемъ, а я—на дыбы и кричу товарищамъ:

— Вы—мужичьи дѣти, а мой отецъ—баринъ!..

И очень я утвердился на этомъ,—надо обороняться чѣмъ-нибудь противъ насмѣшекъ, а иной обороны не было въ умѣ. Не взлюбили меня и ужъ начали зазорно звать, а я—драться сталъ. Парнишка крѣпкій былъ, дрался ловко. Пошли на меня жалобы, говорятъ дьячку люди, отцы и матери:

— Уйми своего приблуднаго!

А иные, и безъ жалобъ, сами за уши драли, сколько хотѣлось.

Тогда Ларіонъ сказалъ мнѣ:

— Можетъ ты, Матвѣй, даже генеральскій сынъ, только это не велика важность. Всѣ родятся одинаково, стало быть, и честь одна для всякаго.

Но ужъ опоздалъ онъ,—мнѣ въ ту пору было лѣтъ двѣнадцать и обиды я чувствовалъ крѣпко. Потянуло меня въ сторону отъ людей, снова сталъ я ближе къ дьячку, цѣлую зиму мы съ нимъ по лѣсу лазили, птицъ ловили, а учиться я хуже сталъ.

Кончилъ я школу на тринадцатомъ году, задумался Ларіонъ, что ему дальше дѣлать со мной. Бывало, плывемъ мы съ нимъ въ лодкѣ, я—на веслахъ, а онъ—на рулѣ, и водитъ онъ меня въ мысляхъ своихъ по всѣмъ тропамъ судьбы человѣческой, разсказываетъ разные планы жизни.

И попомъ онъ меня видитъ, и солдатомъ, и приказчикомъ, а вездѣ нехорошо для меня:

— Какъ же, Мотька?—спрашиваетъ.

Потомъ поглядитъ на меня и скажетъ, смѣясь:

— Ничего, не робѣй! Коли не сорвешься, такъ вылѣзешь! Только солдатства избѣгай, тамъ человѣку—крышка!

Въ августѣ, вскорѣ послѣ Успеньева дня, поѣхали мы съ нимъ на Любушинъ омутъ сомятъ ловить, а былъ Ларіонъ малость выпивши, да и съ собой тоже вино имѣлъ. Глотаетъ изъ бутылки понемножку, крякаетъ и поетъ на всю рѣку.

Лодка у него плохая была, маленькая и валкая, повернулся онъ въ ней рѣзко, зачерпнула она бортомъ,—и очутились мы оба въ водѣ. Не первый разъ случилось это, и не испугался я. Вынырнулъ—вижу, Ларіонъ рядомъ со мной плаваетъ, трясетъ головой и говоритъ:

— Плыви на берегъ, а я окаянное корыто буду гнать туда!

Не далеко отъ берега было, теченіе слабое, я плыву

совсѣмъ спокойно, но вдругъ, словно за ноги меня дернуло или въ студеную струю попалъ, обернулся назадъ: идетъ наша лодка вверхъ дномъ, а Ларіона—нѣтъ. Нѣтъ его нигдѣ!

Словно камнемъ въ голову, ударило меня страхомъ въ сердце, передернуло судорогой, и пошелъ я ко дну.

Въ тотъ часъ ѣхалъ полемъ приказчикъ изъ экономіи, Егоръ Титовъ, видѣлъ онъ, какъ перевернулись мы; видѣлъ, какъ Ларіонъ пропалъ; когда я сталъ тонуть—Титовъ уже раздѣвался на берегу. Онъ меня и вытащилъ, а Ларіона только ночью нашли.

Погасла милая душа его, и сразу стало для меня и темно, и холодно. Когда его хоронили, хворый я лежалъ и не могъ проводить на погостъ дорогого человѣка, а всталъ на ноги—первымъ дѣломъ пошелъ на могилу къ нему, сѣлъ тамъ—и даже плакать не могъ въ тоскѣ. Звенитъ въ памяти голосъ его, оживаютъ рѣчи, а человѣка, который бы ласковую руку на голову мнѣ положилъ, больше нѣтъ на землѣ. Все стало чужое, далекое... Закрылъ я глаза, сижу. Вдругъ—поднимаетъ меня кто-то: взялъ за руку и поднимаетъ. Гляжу—Титовъ.

— Нечего,—говоритъ,—тебѣ дѣлать тутъ, идемъ!

И повелъ меня. Я—иду.

Говоритъ онъ мнѣ:

— Видно, сердце у тебя, мальчонка, хорошее, добро помнитъ.

А мнѣ отъ этого не легче. Молчу. Дальше говоритъ Титовъ:

— Еще въ то время, какъ подкинули тебя, думалъ я: не взять ли ребенка-то себѣ, да не успѣлъ тогда. Ну, а видно, что Господь этого хочетъ—вотъ Онъ снова вручилъ жизнь твою въ руки мнѣ. Значитъ, будешь ты жить со мной!

Мнѣ тогда все едино было—жить, не жить и какъ

жить, и съ кѣмъ... Такъ я и всталъ съ одной точки на другую незамѣтно для себя.

Черезъ нѣкоторое время оглядѣлся. Титовъ этотъ—мужчина высокій, угрюмый, стриженый, какъ солдатъ, съ большими усами и бритой бородой. Говорилъ не спѣша, какъ бы опасаясь лишнее сказать или самъ слову своему не вѣря. Руки всегда за спиной или въ карманахъ держалъ, словно стыдился ихъ. Зналъ я, что мужики на селѣ—да и во всей округѣ—не любятъ его, а года два назадъ, въ деревенькѣ Малининой, даже коломъ ударили. Говорили, что онъ съ пистолетомъ ходитъ всегда. Жена его, Настасья Васильевна, была женщина красивая, только болѣла всегда; худая, едва ходитъ, лицо безъ кровинки, а глаза большіе горятъ сухо и боязливо таково. Дочь у нихъ, Оля, на три года моложе меня, тоже хилая и блѣдненькая.

И все вокругъ нихъ тихо: на полу толстые половики лежатъ, шаговъ не слыхать, говорятъ люди мало, вполголоса, и даже часы на стѣнѣ осторожно постукиваютъ. Предъ иконами неугасимыя лампады горятъ, вездѣ картинки наклеены: страшный судъ, муки апостольскія, мученія св. Варвары. А въ углу на лежанкѣ старый котъ лежитъ, толстый, дымчатый, и зелеными глазами смотритъ на все, блюдетъ тишину. Въ тишинѣ этой осторожной ни Ларіонова пѣнія, ни птицъ нашихъ долго не могъ я забыть.

Свелъ меня Титовъ въ контору и началъ пріучать къ бумажному дѣлу. Живу. Вижу—слѣдитъ за мной Титовъ, присматривается, молчитъ, словно ожидаетъ чего-то отъ меня. Неловко мнѣ и тошно.

Веселымъ я никогда не былъ, а въ то время и совсѣмъ сумраченъ сталъ; говорить и не съ кѣмъ, да и не хочется. Спрашивали они меня—Титовъ и жена—про Ларіона; мнѣ не хотѣлось разсказывать о немъ, мѣшало что-то.

Тяжко и мутно было на душѣ у меня, и не нрави-

лись мнѣ Титовы подозрительной тишиной жизни своей. Сталъ я ходить въ церковь, помогать сторожу Власію, да новому дьячку,—этотъ былъ молодой, красивый, изъ учителей какой-то; къ службѣ лѣнтяй, съ попомъ подхалимъ, руку ему цѣлуетъ и собачкой бѣгаетъ за нимъ по пятамъ. На меня кричитъ, а напрасно, потому что я службу зналъ не хуже его и дѣлалъ все какъ надо.

Въ ту пору и началъ я трудную жизнь мою—Бога полюбилъ.

Поправляя однажды передъ всенощной свѣчи у иконы Богородицы, вижу—и Она, и Младенецъ смотрятъ на меня серьезно и задушевно таково... Заплакалъ я и всталъ на колѣни предъ Ними, молясь о чемъ-то, за Ларіона, должно быть. Долго ли молился—не знаю, но стало мнѣ легче, согрѣлся сердцемъ и ожилъ я.

Власій въ алтарѣ трудился, бормочетъ тамъ свои непонятныя рѣчи. Вошелъ я къ нему, взглянулъ онъ на меня, спрашиваетъ:

— Что обрадовался, али копейку нашелъ?

Зналъ я, почему онъ такъ спросилъ,—часто я деньги на полу находилъ,—но теперь непріятны показались мнѣ слова его, какъ бы ущипнулъ онъ меня за сердце.

— Богу я помолился,—говорю.

— Которому? — спрашиваетъ.—Ихъ тутъ у насъ больше ста, боговъ-то! А вотъ гдѣ онъ, живой? Гдѣ, который настоящій, а не изъ дерева, да! Поищи-ка его!

Цѣна его словъ извѣстна мнѣ была, а обидѣли они меня въ тотъ часъ. Власій—человѣкъ древній, уже едва ноги передвигалъ, въ колѣняхъ онѣ у него изогнуты, ходитъ всегда, какъ по жердочкѣ, качается весь, зубовъ во рту—ни одного, лицо темное и словно тряпка старая, смотрятъ изъ нея безумные глаза. Ангелъ смерти Власія тоже древенъ былъ—не могъ поднять

руку на старца, а уже разума лишался человѣкъ: за нѣкоторое время до смерти Ларіоновой овладѣлъ имъ бредъ.

— Не церкви,—говоритъ,—я сторожъ, а скоту; пастухъ я, пастухомъ родился и такъ умру! Вотъ—скоро отойду отъ церкви въ поле.

Извѣстно было, скота онъ никогда не пасъ.

— Церковь,—говоритъ,—то же кладбище, мѣсто мертвое, а я—къ живому дѣлу хочу, скотинку пасти надобно мнѣ, всѣ мои дѣды пастухами были и я тоже до сорока двухъ лѣтъ.

Ларіонъ смѣялся надъ нимъ и однажды, смѣясь, спросилъ:

— Былъ въ древности Велесъ, скотій богъ,—не пращуръ ли твой?

Заставилъ его Власій разсказать про Велеса подробно, а выслушавъ, говоритъ:

— Такъ и есть! Я вѣдь давно знаю, кто я таковъ, да боюсь попа! Ты погоди, дьячокъ, не говори ему! Придетъ время—я самъ скажу, да...

На этомъ и остановился старикъ.

И вотъ, хотя знаю я безуміе его, а смущаетъ онъ меня.

— Смотри,—говорю,—разразитъ тебя Богъ!

А онъ шамкаетъ:

— Я самъ—Богъ! Да!

И вдругъ, запнувшись за подножіе, едва не упалъ, а я попялъ это, какъ знаменіе.

Съ того дня ревностно полюбилъ я церковное; со всѣмъ жаромъ сердца ребячьяго окунулся въ него, такъ, что все священно стало для меня, не только иконы да книги, а и подсвѣчники, и кадило, самые угли въ немъ—и тѣ дороги. Ко всему прикасаюсь съ трепетомъ, съ жуткой радостью, въ алтарь войду—сердце замираетъ, камни пола готовъ цѣловать. Чувствую себя въ лучѣ ока всевидящаго, и направляетъ оно шаги мои, обни-

мая силою нездѣшнею, грѣя свѣтомъ яркимъ, отъ котораго глаза слѣпнутъ, и не видитъ уже человѣкъ ничего, кромѣ какъ только себя. Стою, бывало, одинъ во храмѣ, тьма кругомъ, а на сердцѣ—свѣтло, ибо тамъ мой богъ, и нѣтъ мѣста ни дѣтскимъ печалямъ, ни обидамъ моимъ и ничему, что вокругъ, что есть жизнь человѣческая. Близость къ Богу отводитъ далеко отъ людей, но въ то время я, конечно, не могъ этого понять.

Началъ книги читать церковныя, — всѣ, что были, читаю,—и наполняется сердце мое тихимъ звономъ красоты божественнаго слова; жадно пьетъ душа сладкую влагу его, и открылся въ ней источникъ благодарныхъ слезъ. Бывало, приду въ церковь раньше всѣхъ, встану на колѣни передъ образомъ Троицы и лью слезы, легко и покорно, безъ думъ и безъ молитвы: нечего было просить мнѣ у Бога и безкорыстно покланялся я Ему.

Помню Ларіоновы слова:

— Иже уста твоя моляся — воздуху молятся, а не Богу; Богъ бо мыслямъ внимаетъ, а не словамъ, яко человѣки.

А у меня даже и мыслей не было: просто стою на колѣняхъ и какъ бы молча радостную пѣснь пою, радуюсь же тому, что понимаю—не одинъ я на свѣтѣ, а подъ охраной Божіей и близко Ему.

Было это время хорошо для меня, время тихо-радостнаго праздника. Любилъ я одинъ во храмѣ быть, и чтобы ни шума, ни шелеста вокругъ—тогда, въ тишинѣ, пропадалъ я, какъ бы возносился на облака, и съ высоты ихъ всѣ люди незамѣтны становились для меня и человѣческое—невидимо.

Но Власій мѣшалъ мнѣ: шаркаетъ ногами по плитамъ пола, дрожитъ, какъ тѣнь дерева на вѣтрѣ, и бормочетъ беззубымъ ртомъ:

— Не къ чему мнѣ тутъ быть, развѣ это мое дѣло! Самъ я богъ, пастырь всего скота земнаго, да! И уйду

завтра въ поле. На что загнали меня сюда, въ холодъ, въ темноту? Мое ли дѣло?

Тревожилъ онъ меня кощунствомъ своимъ, ибо—думалось мнѣ тогда—нарушаетъ онъ чистоту храма, и Богу обидно видѣть его въ домѣ своемъ.

О ту пору замѣчено было благочестіе и рвеніе мое, такъ что попъ сталъ при встрѣчѣ какъ-то особенно носомъ сопѣть и благословлялъ меня, а я долженъ былъ руку ему цѣловать—была она всегда холодная и въ поту. Завидовалъ я его близости къ тайнамъ божіимъ, но не любилъ и боялся.

А Титовъ все зорче смотрѣлъ на меня маленькими, тусклыми, какъ пуговицы, глазками. Всѣ они обращались со мной осторожно, словно я стеклянный былъ, а Ольгунька не разъ тихонько спрашивала меня:

— Ты будешь святой?

Робѣла она предо мною, даже когда я ласковъ съ нею бывалъ и разсказывалъ ей житія или что другое, церковное. Зимою по вечерамъ я Прологъ или Минею вслухъ читалъ. За окнами вьюга безпріютная по полю мечется, въ стѣны стучитъ, стонетъ и воетъ, озябшая. Въ комнатѣ тихо, всѣ сидятъ, не шелохнутся; Титовъ голову низко опуститъ, не видать его лица, Настасья неподвижными глазами смотритъ на меня, Ольгунька дремлетъ, ударитъ морозъ—она вздрогнетъ, оглянется и тихонько улыбнется мнѣ. Иной разъ, не понявъ какое-нибудь слово славянское, переспроситъ она—прозвенитъ мягкій голосокъ ея, и снова тихо, только вьюга крылатая жалобно поетъ, ищетъ отдыха, по полю летая.

Тѣ святые мученики, кои боролись за Господа, жизнью и смертью знаменуя силу Его, эти были всѣхъ ближе душѣ моей; милостивцы и блаженные, кои людямъ отдавали любовь свою, тоже трогали меня, тѣ же, кто Бога ради уходили отъ міра въ пустыни и пещеры, столпники и отшельники, непонятны были мнѣ: слишкомъ силенъ былъ для нихъ Сатана.

Ларіонъ отвергалъ Сатану, а надо было принять его, житія святыхъ заставили—безъ Сатаны не понятно паденіе человѣка. Ларіонъ видѣлъ Бога единымъ творцомъ міра, всесильнымъ и непобѣдимымъ,—а откуда же тогда безобразное? По житіямъ святыхъ выходило, что мастеръ всего безобразнаго и есть Сатана. Я и принялъ его въ такой должности: Богъ создаетъ вишню, Сатана—лопухъ, Богъ—жаворонка, Сатана—сову.

Но вышло какъ-то такъ, что хоть я и призналъ Сатану, а не повѣрилъ въ него и не убоялся; служилъ онъ для меня объясненіемъ бытія зла, но въ то же время мѣшалъ мнѣ, унижая величіе Божіе. Старался я объ этомъ не думать, но Титовъ постоянно наводилъ меня на мысли о грѣхѣ и силѣ дьявола.

Читаю я, а онъ, вдругъ, не показывая глазъ, спрашиваетъ:

— Матвѣй, что значитъ: камо?

Отвѣчаю:

— Куда...

Помолчавъ, онъ говоритъ:

— Камо гряду отъ лица Твоего и отъ гнѣва Твоего камо бѣгу?

Жена его глубоко вздохнетъ и еще болѣе испуганно смотритъ на меня, чего-то ожидая. И Ольга, мигая синими глазками, предлагаетъ:

— А въ лѣсъ?

— Гряду—значитъ иду?—спрашиваетъ Титовъ.

— Да.

Вынулъ онъ, помню, руки изъ кармановъ и сталъ крутить обѣими свои длинные усы, а брови на лбу у него дрожатъ. Потомъ быстро спряталъ руки и говоритъ:

— Это царь Давидъ спрашивалъ: камо бѣгу! Н-да! Царь, а боялся! Видно, дьяволъ-то много сильнѣе его былъ. Помазанникъ божій, а Сатана одолѣлъ... Камо гряду? Къ чорту въ лапы грядешь—и спрашивать не-

чего! Вотъ оно какъ! Значитъ—намъ, холопамъ, нечего и вертѣться, коли даже цари туда поспѣваютъ.

Ходилъ онъ по этой тропѣ часто, и хотя я рѣчей его не понималъ, непріятны онѣ мнѣ были всегда. О благочестіи моемъ все больше говорили, и вотъ Титовъ началъ внушать мнѣ:

— Молись усердно за меня и за всю мою семью, Матвѣй! Очень я тебя прошу, молись! Пусть это будетъ платой твоей за то, что пріютилъ я тебя въ теплѣ и въ ласкѣ!

А мнѣ что? Молитва моя безъ содержанія была, въ родѣ птичьей пѣсни солнцу—сталъ я молиться за него и за жену, а больше всего за Ольгуньку,—очень хорошая дѣвочка росла, тихая, красивая, нѣжная. Обращался я къ Богу словами псалмовъ Давидовыхъ, а также всѣми другими молитвами, какія зналъ, и было пріятно мнѣ твердить про себя складныя пѣвучія слова, но какъ только вспомню Титова, скажу:

— Помилуй, Господи, великою милостію твоею раба твоего Георгія...

— и вдругъ остынетъ сердце и какъ-бы изсякнетъ ручей молитвословія моего, замутится ясность радости, словно стыдно мнѣ передъ Богомъ—не могу больше! И потупя глаза, чтобы не видѣть лика на иконѣ, встаю на ноги, не то—огорченъ, не то—сконфуженъ. Безпокоило это меня, почему такъ случается? Старался понять и не могъ, а жалко было мнѣ, когда исчезала радость моя, разбиваясь объ этого человѣка.

Какъ замѣтили меня люди, то и я сталъ ихъ замѣчать.

Бывало, въ праздникъ выйду на улицу, народъ смотритъ на меня любопытно, здороваются со мной иные степенно, а иной со смѣшкомъ, но всѣ видятъ.

— Вотъ,—говорятъ,—молитвенникъ нашъ!

— Гляди, Матвѣй, святымъ будешь, пожалуй?

— А вы не смѣйтесь, ребята, онъ не попъ, не за деньги въ Бога вѣруетъ!

— Алп мужиковъ во святыхъ не было?

— Отъ насъ — всякая душа, да намъ пользы ни шиша!

— Развѣ онъ мужикъ? Онъ тайный баринокъ!..

И лестно говорятъ, и обидно.

Былъ у меня въ то время особый строй души, хотѣлось мнѣ со всѣми тихо жить, и чтобы ко мнѣ тоже всѣ ласковы были; старался я достигнуть этого, а насмѣшки мѣшали мнѣ.

Особенно донималъ меня Савелка Мигунъ: увидитъ, бывало, встанетъ на колѣни, кланяется и причитаетъ:

— Вашей святости—земной поклонъ! Помолитесь-ко за Савелку, не будетъ ли ему отъ Бога толку? Научите, какъ Господу угодить, воровать мнѣ погодить, али — какъ побольше стащу—поставить пудовую свѣщу?

Народъ хохочетъ, а мнѣ и странно, и досадно слышать Савелкины издѣвки.

А онъ свое:

— Православные, кланяйтесь праведнику! Онъ мужика въ конторѣ обсчитаетъ — въ церкви книгу зачитаетъ, Богу и не слышно, какъ мужикъ реветъ.

Мнѣ тогда лѣтъ шестнадцать было и могъ бы я ему рожу разбить за эти насмѣшки, но вмѣсто этого сталъ избѣгать Мигуна, а онъ это замѣтилъ и пуще мнѣ прохода не даетъ. Пѣсню сочинилъ; въ праздники ходитъ по улицѣ и поетъ, наигрывая на балалайкѣ:

Баре дѣвокъ обнимаютъ,
Дѣвки брюхо наживаютъ,
Да отъ барскихъ отъ затѣй
Родятъ сукиныхъ дѣтей!
Ихъ подкидываютъ барамъ,
Да не кормятъ баре даромъ,
И сажаютъ ихъ въ конторѣ
На мужицкое на горе!

Длинная пѣсня была, и всѣмъ въ ней доставалось, а Титову и мнѣ больше всѣхъ. Доводилъ меня Савелка до того, что какъ увижу я, бывало, его дрянную эту бородёнку, шапку на ухѣ и лысый лобъ—начинаю весь дрожать; такъ бы кинулся и поломалъ его на куски.

Но хоть и малъ юноша былъ я тогда, а сердце умѣлъ держать въ рукѣ крѣпко; онъ идетъ за мной, тренькаетъ, а я виду не показываю, что тяжело мнѣ, шагаю не спѣша и будто не слышу ничего.

Молиться еще больше сталъ; чувствую, что кромѣ молитвы нечѣмъ мнѣ оградить себя, но теперь явились въ молитвахъ моихъ жалобы и горькія слова:

— За что, Господи? Виноватъ ли я, что отецъ-мать мои отреклись отъ меня и подобно котенку въ кусты бросили младенца?

А другой вины не видѣлъ за собой—люди въ жизни смѣшанно стоятъ, каждый къ дѣлу своему привыкъ, привычку возвелъ въ законъ, гдѣ же сразу понять, противъ кого чужая сила направляетъ тебя?

Ну, а все-таки началъ я присматриваться, ибо все болѣе безпокойно и нестерпимо становилось мнѣ.

Баринъ нашъ, Константинъ Николаевичъ Лосевъ, богатъ былъ и много земель имѣлъ; въ нашу экономію онъ рѣдко наѣзжалъ: считалась она несчастливой въ ихъ семействѣ, въ ней баринову мать кто-то задушилъ, дѣдъ его съ коня упалъ, разбился, и жена сбѣжала. Дважды видѣлъ я барина: человѣкъ высокій, полный, въ золотыхъ очкахъ, въ поддевкѣ и картузѣ съ краснымъ околышкомъ; говорили, что онъ важный царю слуга и весьма ученый—книги пишетъ. Титова, однако, онъ два раза матерно изругалъ и кулакъ къ носу подносилъ ему.

Въ Сокольей экономіи Титовъ былъ вся власть и сила. Имѣніе—не велико, хлѣба сѣяли сколько требовалось для хозяйства, а остальная земля мужикамъ въ аренду шла; потомъ было приказано аренду сокра-

щать и сѣять ленъ, — неподалеку фабрика открылась.

Кромѣ меня, въ уголкѣ конторы сидѣлъ Иванъ Макаровичъ Юдинъ, человѣчекъ нѣмой души и всегда пьяненькій. Телеграфистомъ онъ былъ, да за пьянство прогнали его. Велъ онъ всѣ книги, писалъ письма, договоры съ мужиками, и молчалъ такъ много, что даже удивительно было; говорятъ ему, а онъ только головой киваетъ, хихикаетъ тихонько, иной разъ скажетъ:

— Такъ.

И тутъ—весь.

Маленькій онъ былъ, худой, а лицо круглое, отечное, глазъ почти не видно, голова вся лысая, а ходилъ на цыпочкахъ, безъ шуму и невѣрно, точно слѣпой.

Въ день Казанской опоили мужики Юдина виномъ, а какъ умеръ онъ, — остался я въ конторѣ одинъ для всего: положилъ мнѣ Титовъ жалованья сорокъ рублей въ годъ, а Ольгу заставилъ помогать.

И раньше видѣлъ я, что мужики ходятъ около конторы, какъ волки надъ капканомъ: имъ капканъ видно— да ѣсть охота, а приманка зоветъ, ну, они и попадаются.

Когда же остался я одинъ въ конторѣ, раскрылись предо мною всѣ книги, планы, то, конечно, и при маломъ разумѣ моемъ сразу увидалъ, что все въ нашей экономіи ясный грабежъ, мужики кругомъ обложены, всѣ въ долгу и работаютъ не на себя, а на Титова. Сказать, что удивился я или стыдно стало мнѣ, не могу. И хоть понялъ я, за что Савелка лается, но не счелъ его правымъ,—вѣдь не я грабежъ выдумалъ!

Вижу, что Титовъ не чистъ передъ хозяиномъ, набиваетъ онъ карманъ себѣ какъ можно туго. Держалъ я себя передъ нимъ и раньше смѣло, понимая, что нуженъ ему для чего-то, а теперь подумалъ: для того и нуженъ, чтобы передъ Богомъ его, вора, прикрывать.

Милымъ сыномъ въ то время называлъ онъ меня и

жена его тоже; одѣвали хорошо, я имъ, конечно, спасибо говорю, а душа не лежитъ къ нимъ, и сердцу отъ ласки ихъ нисколько не тепло. А съ Ольгой все крѣпче дружился; нравилась мнѣ тихая улыбка ея, ласковый голосъ и любовь къ цвѣтамъ.

Титовъ съ женой ходили передъ Богомъ, опустя головы, какъ стреноженныя лошади, и будто прятали въ покорной робости своей нѣкій грѣхъ, тяжелѣйшій воровства. Руки Титова не нравились мнѣ,—онъ все пряталъ ихъ и этимъ наводилъ на мысли нехорошія—можетъ, его руки человѣка задушили, можетъ, въ крови онѣ?

И всегда—и онъ, и она—просятъ меня:

— Молись за насъ грѣшныхъ, Мотя!

Однажды я, не стерпѣвъ, сказалъ:

— Али вы сильно грѣшнѣе другихъ?

Настасья вздохнула и ушла, а самъ отвернулся въ сторону, не отвѣтивъ мнѣ.

Дома онъ всегда задумчивъ, говоритъ съ женой и дочерью мало и только о дѣлахъ. Съ мужиками никогда не ругался, но былъ высокомѣренъ — это хуже матерщины выходило у него. Никогда ни въ чемъ не уступалъ онъ имъ: какъ скажетъ, такъ и стоитъ, словно по поясъ въ землю ушелъ.

— Уступить бы имъ!—сказалъ я ему однажды.

Отвѣтилъ онъ:

— Никогда ни вершка не уступай людямъ, иначе—пропадешь!

Другой разъ,—заставлялъ онъ меня невѣрно считать,—я ему говорю:

— Такъ нельзя!

— Отчего?

— Грѣхъ.

— Не ты меня заставляешь грѣшить, а я тебя. Пиши, какъ велю, съ тебя не спросится, ты только рука моя! Праведность свою не нарушишь этимъ, не

бойся! А на десять рублей въ мѣсяцъ ни я, ни кто не уловчится правильно жить. Это пойми!

— Ахъ ты,—думаю,—дрянцо съ пыльцой!

— Вотъ что—довольно!—говорю.—Все это надо прекратить. А ежели вы не перестанете баловаться, то я каждый разъ буду обличать дѣла ваши на селѣ.

Поднялъ онъ усы къ носу, плечи до ушей, оскалилъ зубы и вытаращилъ круглые глаза свои. Мѣряемъ другъ друга, кто выше.

Тихо спрашиваетъ онъ:

— Вѣрно?

— Вѣрно!

Засмѣялся Титовъ, словно горсть двугривенныхъ на полъ швырнулъ, и говоритъ:

— Ладно, праведникъ! Оно, пожалуй, такъ и надо мнѣ—надоѣло ужъ около рублей копейки ловить. Стало ворамъ тѣсно—зажили честно!

И ушелъ, хлопнувъ дверью, такъ что даже стекла въ окнахъ заныли.

Показалось мнѣ, какъ будто сократился Титовъ съ того дня, навѣрное не знаю. Но ко мнѣ пересталъ приставать.

Былъ онъ большой скопидомъ, и хотя ни въ чемъ себѣ не отказывалъ, но цѣну копейкѣ зналъ. Въ пищѣ сластолюбивъ и до женщинъ удивительно жаденъ,—власть у него большая, отказать ему бабы не смѣютъ, а онъ и пользуется; дѣвицъ не трогалъ, видимо, боялся, а женщины навѣрное каждая хоть разъ, да была наложницей его.

И меня къ этому не разъ поджигалъ:

— Чего ты,—говоритъ,—Матвѣй, стѣсняешься? Женщину поять, какъ милостыню подать! Здѣсь каждой бабѣ ласки хочется, а мужья—люди слабые, усталые, что отъ нихъ возьмешь? Ты же парень сильный, красивый,—что тебѣ стоитъ бабу приласкать? Да и самъ удовольствіе получишь...

Онъ ко всякой подлости сбоку заходилъ, низкій человѣкъ.

Однажды спрашиваетъ меня:

— Ты какъ, Матвѣй, думаешь—силенъ праведникъ у Господа?

Не любилъ я вопросы его.

— Не знаю,—говорю.

Подумалъ онъ—и снова:

— Вотъ, вывелъ Богъ Лота изъ Содома и Ноя спасъ, а тысячи погибли отъ огня и воды. Однако, сказано: не убій? Иногда мнѣ мерещится: оттого и погибли тысячи людей, что были между ними праведники. Видѣлъ Богъ, что и при столь строгихъ законахъ его удается нѣкоторымъ праведная жизнь. А если бы ни одного праведника не было въ Содомѣ — видѣлъ бы Господь, что, значитъ, никому невозможно соблюдать законы Его и, можетъ, смягчилъ бы ихъ, не губя множество людей. Говорится про него: Многомилостивъ,—а гдѣ же это видно?

Не понималъ я въ ту пору, что человѣкъ этотъ ищетъ свободы грѣха, но раздражали меня слова его.

— Кощунствуете вы!—говорю. — Боитесь Бога, а не любите его!

Выхватилъ онъ руки изъ кармановъ, бросилъ ихъ за спину, посѣрѣлъ, видно, что озлобился.

— Такъ или нѣтъ—не знаю!—отвѣчаетъ.—Только, думается мнѣ, что служите вы, богомолы, Богу вашему для мѣры чужихъ грѣховъ. Не будь васъ—смѣшался бы Господь въ оцѣнкѣ грѣха!

Долго послѣ того не замѣчалъ онъ меня, а въ душѣ моей начала расти нестерпимая вражда къ нему,—хуже Савелія сталъ онъ для меня.

Въ ночь на молитвѣ помянулъ я имя его—вспыхнула душа моя гнѣвомъ и, можетъ быть, въ тотъ часъ сказалъ я первую человѣческую молитву мою:

— Не хочу, Господи, милости Твоей для вора:

кары прошу ему! Да не обкрадываетъ онъ нищіе безнаказанно!

И такъ горячо говорилъ я противъ Титова, что даже страшно стало мнѣ за судьбу его.

А вскорѣ послѣ того столкнулся я съ Мигуномъ—пришелъ онъ въ контору лыка просить, а я одинъ былъ въ ней.

Спрашиваю:

— Ты, Савелъ, за что издѣваешься надо мною?

Онъ показываетъ зубы свои, воткнувъ мнѣ въ лицо острые глаза.

— Мое,—говоритъ,—дѣло не велико, пришелъ просить лыка!

Ноги у меня дрожатъ, и пальцы сами собой въ кулакъ сжимаются; взявши за горло, встряхнулъ я его немножко.

— Въ чемъ я виноватъ?

Онъ не испугался, не обидѣлся, а просто взялъ мою руку и отвелъ ее отъ шеи своей, какъ будто не я его, а онъ меня сильнѣе.

— Когда,—говоритъ,—человѣка душатъ, ему неловко говорить. Ты меня не тронь, я уже всякіе побои видалъ—твои для меня лишни. И драться тебѣ не надо, этакъ ты всѣ заповѣди опрокинешь.

Говоритъ онъ спокойно, шутя, легко.

Я кричу ему:

— Что тебѣ надо?

— Лыка.

Вижу—на словахъ мнѣ его не одолѣть, да и злость моя прошла, только обидно и холодно мнѣ предъ нимъ.

— Звѣрье,—говорю, — всѣ вы! Развѣ можно надъ человѣкомъ смѣяться за то, что его отецъ-мать бросили?

А онъ въ меня прибаутками, словно камнями, лукаетъ:

— Не притворяйся нищимъ, мы правду сыщемъ; ты ѣшь краденъ хлѣбъ не потому, что слѣпъ.

— Врешь,—молъ,—я за свой кусокъ тружусь...

— Безъ труда и курицу не украдешь, это извѣстно!

Смотритъ на меня съ бѣсовой усмѣшкой въ глазахъ и говоритъ жалостливо:

— Эхъ, Матвѣй, хорошъ ты былъ дитя! А сталъ книгочей, богоѣдъ и, какъ всѣ земли нашей воры, строишь божій законъ на той бѣдѣ, что не всѣмъ руки даны одной длины.

Вытолкалъ я его вонъ изъ конторы. Прибаутки его не хотѣлъ я понять, потому что, считая себя вѣрнымъ слугой Бога, и мысли свои считалъ вѣрнѣйшими мыслей другихъ людей. Становилось мнѣ одиноко и тоскливо, чувствую—слабѣетъ душа моя.

Жаловаться на людей—не могъ, не допускалъ себя до этого, то ли отъ гордости, то ли потому, что хоть и былъ я глупъ человѣкъ, а фарисеемъ не былъ. Встану на колѣни передъ Знаменіемъ Абалацкой Богородицы, гляжу на ликъ ея и на ручки, къ небесамъ подъятыя—огонекъ въ лампадѣ моей мелькаетъ, тихая тѣнь гладитъ икону, а на сердце мнѣ эта тѣнь холодомъ ложится, и встаетъ между мною и Богомъ нѣчто невидимое, неощутимое, угнетая меня. Потерялъ я радость молитвы, опечалился и даже съ Ольгой не ладенъ сталъ.

А она смотритъ на меня все ласковѣе; мнѣ въ то время восемнадцать лѣтъ минуло, парень видный, рыжеватый, бѣлолицый и кудрявый такой. И хотѣлъ я, и неловко мнѣ было ближе къ ней подойти, я тогда еще невиненъ передъ женщиной жилъ; бабы на селѣ смѣялись за это надо мной; иногда мнѣ казалось, что и Ольга нехорошо улыбается. Не разъ уже сладко думалъ про нее:

— Вотъ—жена мнѣ!

Сидѣлъ я съ нею въ конторѣ молча цѣлые дни, спроситъ она меня что-нибудь по дѣлу, отвѣчу ей—тутъ и вся наша бесѣда.

Тонкая она, бѣлая, какъ молодая березка, глаза синіе, задумчивые, но была она красива и легка въ тихой и невѣдомой мнѣ печали своей.

И однажды спросила она:

— Что ты, Матвѣй, сталъ угрюмый?

Никогда я про себя ни съ кѣмъ не говорилъ, и не думалъ, не хотѣлъ говорить, а тутъ вдругъ открылось сердце—и все предъ нею, всѣ занозы мои повыдергалъ. Про стыдъ мой за родителей и насмѣшки надо мной, про одиночество и обѣднѣніе души, и про отца ея—все! Не то, чтобы жаловался я, а просто вывелъ думы изнутри наружу; много ихъ было накоплено и всѣ—дрянь. Обидно мнѣ, что дрянь.

— Лучше въ монастырь идти!—говорю.

Затуманилась она, опустила голову и ничѣмъ не отвѣтила мнѣ. Была мнѣ пріятна печаль ея, а молчаніе опечалило меня. Но дня черезъ три—тихонько говоритъ она мнѣ:

— Напрасно ты на людей столько вниманія обращаешь; каждый живетъ самъ собой—видишь? Конечно, теперь ты одинъ на землѣ, а когда заведешь семью себѣ, и никого тебѣ не нужно, будешь жить, какъ всѣ, за своей стѣной, въ своемъ домѣ. А папашу моего не осуждай; всѣ его не любятъ, вижу я, но чѣмъ онъ хуже другихъ, не знаю! Гдѣ любовь видно?

Утѣшаютъ меня ея слова. Я всегда все сразу дѣлаю—такъ и тутъ поступилъ:

— Ты бы,—говорю,—пошла замужъ за меня?

Отвернулась она, шепчетъ:

— Пошла бы...

Кончено. На другой день я сказалъ Титову: такъ и такъ, молъ.

Усмѣхнулся онъ, усы расправилъ и началъ душу мнѣ скрести.

— Въ сыновья ко мнѣ—прямой путь для тебя, Матвѣй: надо думать, что это Богомъ указано, я не спорю!

Парень ты серьезный, скроменъ и здоровъ, богомолецъ за насъ, и по всѣмъ статьямъ—кладъ, безъ лести скажу! Но, чтобы сытно жить, надо умѣть дѣла дѣлать, а наклонъ къ дѣловитости слабъ у тебя. Это—одно. Другое—черезъ два года въ солдаты тебя позовутъ, и долженъ ты идти. Будь у тебя деньжонки накоплены, рублей пятьсотъ, можно бы откупиться отъ солдатчины, ужъ я бы это устроилъ... А безъ денегъ—уйдешь ты, тогда останется Ольга ни замужней, ни вдовой...

Пилитъ онъ мнѣ сердце тупыми словами своими, усы у него дрожатъ, и въ глазахъ зеленый огонекъ играетъ. Встаетъ предо мною солдатство, страшно и противно душѣ—какой я солдатъ? Уже одно то, что въ казармѣ надо жить всегда съ людьми—не для меня, а пьянство, матерщина, зуботычины? Въ этой службѣ все противъ человѣка, зналъ я. Придавили меня рѣчи Титова.

— Значитъ,—говорю,—въ монахи уйду!..

— Теперь — опоздалъ!—смѣется Титовъ.—Сразу—не постригутъ, а послушника—возьмутъ. Нѣтъ, Матвѣй, кромѣ денегъ ничѣмъ судьбу не подкупишь!

Тогда я говорю ему:

— Дайте вы денегъ, вѣдь у васъ много!

— Ага!—говоритъ.—Это ты просто надумалъ. Только хорошо ли для меня этакъ-то? Сообрази: я мои деньги, можетъ быть, большимъ грѣхомъ купилъ, можетъ, я за нихъ душу чорту продалъ. Пока я въ грѣхахъ пачкался, ты праведно жилъ, да и теперь того же хочешь, но ужъ за счетъ моихъ грѣховъ? Легко праведному въ рай попасть, коли грѣшникъ его на своемъ хребтѣ везетъ,—только я не согласенъ конемъ тебѣ служить! Ужъ ты лучше самъ погрѣши, тебѣ Богъ проститъ,—чай, ты впередъ у него заслужилъ!

Смотрю—видъ у Титова такой, словно онъ вдругъ на сажень выше меня выросъ, и я гдѣ-то у ногъ его ползу. Понялъ я, что издѣвается онъ надо мной, кон-

чилъ разговоръ, а вечеромъ передалъ Ольгѣ рѣчи ея отца. Заблестѣли слезы на глазахъ у дѣвушки, а около уха у нея задрожала какая-то малая синенькая жилка, и трепетъ этотъ жалостный откликнулся въ сердцѣ у меня. Говоритъ Ольга, улыбаясь:

— Вотъ и не выйдетъ, какъ мы хотимъ...

— Нѣтъ,—молъ,—выйдетъ!

Сказалъ не думая, но какъ бы слово этимъ далъ и ей, и себѣ,—слово, отступить отъ котораго нельзя.

Съ того дня нечисто зажилъ я; началась для меня какая-то темная и пьяная полоса, заметался парень самъ въ себѣ, какъ голубь на пожарѣ въ тучѣ дымной. И Ольгу мнѣ жалко, и хочется ее женой имѣть, люблю дѣвушку, а, главное — вижу, что Титовъ въ чемъ-то крѣпче и устойчивѣй меня, а это было несносно для гордости моей. Презиралъ я воровскія дѣла и всю темную душу его, а вдругъ открылось, что живетъ въ этой душѣ нѣкая сила и властно смотритъ она на меня.

На селѣ стало извѣстно, что я сватался и отказано мнѣ; дѣвки усмѣхаются, бабы галдятъ, Савелка шутки шутитъ, и все это поднимаетъ меня на дыбы, замутило душу до полной тьмы.

Встану я молиться, а Титовъ словно сзади стоитъ и въ затылокъ мнѣ дышитъ, оттого молюсь я несуразно, кощунственно, не о Господѣ радуюсь, а думаю о дѣлахъ своихъ—какъ мнѣ быть?

— Помоги,—говорю,—Господи, и научи мя, да не потеряю путей Твоихъ и да не угрязнетъ душа моя во грѣхѣ! Силенъ Ты и многомилостивъ, сохрани-же раба Твоего ото зла и одари крѣпостью въ борьбѣ съ искушеніемъ, да не буду попранъ хитростію врага и да не усумнюсь въ силѣ любви Твоей къ рабу Твоему!

Такъ низвелъ я Господа съ высоты неизреченныхъ красотъ его на должность защитника малыхъ дѣлишекъ

моихъ, а Бога унизивъ, и самъ опустился до ничтожества.

Ольга же день-ото-дня таетъ въ печали своей, какъ восковая свѣча. Думаю, какъ она будетъ жить съ другимъ человѣкомъ, и не могу поставить рядомъ съ ней никого, кромѣ себя.

Силою любви своей человѣкъ создаетъ подобнаго себѣ, и потому думалъ я, что дѣвушка понимаетъ душу мою, видитъ мысли мои и нужна мнѣ, какъ я самъ себѣ. Мать ея стала еще больше унылой, смотритъ на меня со слезами, молчитъ и вздыхаетъ, а Титовъ прячетъ скверныя руки свои и тоже молча ходитъ вокругъ меня; вьется, какъ воронъ надъ собакой издыхающей, чтобъ въ минуту смерти вырвать ей глаза. Съ мѣсяцъ времени прошло, а я все на томъ же мѣстѣ стою, будто дошелъ до крутого оврага и не знаю, гдѣ перейти. Тяжело мнѣ было и тошно.

Однажды приходитъ Титовъ въ контору и говоритъ мнѣ негромко:

— Вотъ, Матвѣй, на твое счастье явился случай—хватай его, коли хочешь человѣкомъ быть!

Случай былъ такой, что мужики должны были много проиграть, экономія кое-что выиграла бы, а Титову могло попасть рублей около двухсотъ.

Разсказалъ мнѣ и спрашиваетъ:

— Что, не осмѣлишься?

Спроси иначе, можетъ, я и не пошелъ бы въ руки къ нему, а отъ этихъ словъ—взорвало меня.

— Воровать не осмѣлюсь?—говорю.—Тутъ смѣлости не нужно, только подлость одна. Давайте, будемъ воровать!

Усмѣхается онъ, мерзавецъ, спрашиваетъ:

— А грѣхъ?

— А грѣхи мои—я самъ сочту.

— Ну и ладно!—говоритъ. — Теперь—знай: что ни день, то къ свадьбѣ ближе!

Словно волка на козленка ловилъ онъ меня, дурака, въ капканъ.

И началось. Въ дѣлахъ я былъ не глупъ, а дерзость всегда большую имѣлъ. Начали мы съ нимъ грабить народъ, словно въ шашки играемъ,—онъ сдѣлаетъ ходъ, а я—еще злѣе. Оба молчимъ, только поглядываемъ другъ на друга, онъ—со смѣшкомъ зеленымъ въ глазахъ, я—со злостью. Одолѣлъ меня этотъ человѣкъ, но и проигравши ему все, даже въ поганомъ дѣлѣ не могъ я ему уступить. Ленъ принимая, сталъ обвѣшивать, штрафы за потраву утаивалъ, всячески копейки щипалъ съ мужиковъ, но денегъ не считалъ и въ руки не бралъ,—все Титову шло; конечно, легче мнѣ отъ этого не было, и мужикамъ тоже.

Словомъ сказать, былъ я въ ту пору какъ бѣшеный, въ груди тяжко, тѣсно, холодно; Бога вспомню—какъ обожжетъ меня. Не однажды, все-таки, упрекалъ Его:

— Почто,—молъ,—не поддержишь силою Твоею паденіе мое; почто возложилъ на меня испытаніе не по разуму мнѣ, али не видишь, Господи, погибаетъ душа моя?

Были часы, что и Ольга чужой становилась мнѣ; гляжу на нее и враждебно думаю:

— Тебя ради душой торгую, несчастная!

А послѣ этихъ словъ станетъ мнѣ стыдно предъ нею, стану я тихъ и ласковъ съ дѣвушкой, какъ только могу.

Но, поймите, не отъ жалости къ себѣ али къ людямъ мучился я и зубами скрипѣлъ, а отъ великой той обиды, что не могъ Титова одолѣть и предалъ себя волѣ его. Вспомню, бывало, слова его о праведникахъ—оледенѣю весь. А онъ, видимо, все это понималъ.

Торжествуетъ. Говоритъ:

— Ну, святоша, надо тебѣ о келейкѣ думать, съ

нами жить тѣсно будетъ для тебя съ женою, вѣдь и дѣти у васъ пойдутъ!

Святошей назвалъ. Я смолчалъ.

И все чаще сталъ онъ такъ называть меня, а дочь его все милѣе, все ласковѣе со мною: видно, понимала, какъ трудно мнѣ.

Выклянчилъ Титовъ кусокъ земли,—управляющему Лосева покланялся,—дали ему хорошее мѣстечко за экономіей; началъ онъ строить избу для насъ, а я—все нажимаю, жульничаю. Дѣло идетъ быстро, карманъ пухнетъ, домикъ строится, блеститъ на солнцѣ, какъ золотая коробочка для Ольги. Вотъ уже подъ крышу подвели его, надо печь ставить, къ осени и жить въ немъ можно бы.

Только разъ, подъ вечеръ, иду я изъ Якимовки,—скотъ у мужиковъ описывалъ за долги,—вышелъ изъ рощи къ селу, гляжу—а на солнечномъ закатѣ горитъ мой домъ, какъ свѣча горитъ.

Сначала я подумалъ, что это солнце шутитъ, обняло его красными лучами и поднимаетъ вверхъ, въ небеса къ себѣ, однако, вижу — народъ суетится, слышу — огонь свиститъ, дерево потрескиваетъ.

Вспыхнуло сердце у меня, вижу Бога врагомъ себѣ, будь камень въ рукѣ у меня—метнулъ бы я его въ небо. Гляжу, какъ воровской мой трудъ дымомъ и пепломъ по землѣ идетъ, самъ весь пылаю вмѣстѣ съ нимъ и говорю:

— Хочешь ли Ты указать мнѣ, что ради праха и золы погубилъ я душу мою, этого ли хочешь? Не вѣрю, не хочу униженія Твоего, не по Твоей волѣ горитъ, а мужики это подожгли по злобѣ на меня и на Титова! Не потому не вѣрю въ гнѣвъ Твой, что я недостоинъ его, а потому, что гнѣвъ такой не достоинъ Тебя! Не хотѣлъ Ты подать мнѣ помощи Твоей въ нужный часъ, безсильному противъ грѣха, Ты виноватъ, а не я! Я

вошелъ въ грѣхъ, какъ въ темный лѣсъ, до меня онъ выросъ, и гдѣ мнѣ найти свободу отъ него?

Не то, чтобы утѣшали меня эти глупыя слова... И ничего не оправдывали они, но будили въ душѣ нѣкое злое упрямство.

Догорѣлъ мой домъ раньше, чѣмъ угасло возмущеніе мое. Я все стою на опушкѣ рощи, прислонясь къ дереву, и веду мой споръ, а бѣлое Ольгино лицо мелькаетъ передо мной, въ слезахъ, въ горѣ.

Говорю я Богу дерзко, какъ равному:

— Коли Ты силенъ, то и я—силенъ,—такъ должно быть по-справедливости!

Погасъ пожаръ, стало тихо и темно, но во тьмѣ еще сверкаютъ языки огня; точно малый ребенокъ, уставъ плакать, тихо всхлипываетъ. Ночь была облачная, блестѣла рѣка, какъ ножъ кривой, среди поля потерянный, и хотѣлось мнѣ поднять тотъ ножъ, размахнуться имъ, чтобы свистнуло надъ землей.

Около полуночи пришелъ я въ село—у воротъ экономіи Ольга съ отцомъ стоятъ, ждутъ меня.

— Гдѣ же ты былъ?—говоритъ Титовъ.

— На горѣ стоялъ, на пожаръ глядѣлъ.

— Чего же не бѣжалъ тушить?

— Чудотворецъ я, что ли,—плюну въ огонь, а онъ и погаснетъ?...

У Ольги глаза заплаканы, вся она сажей попачкана, въ дыму закоптѣла—смѣшно мнѣ видѣть это.

— Работала?—спрашиваю.

Залилась она слезами.

Титовъ угрюмо говоритъ:

— Не знаю, что и дѣлать...

— Съ начала,—молъ,—надо строить!

Во мнѣ тогда такое упорство сложилось, что я своими руками сейчасъ же готовъ былъ бревна катать и вѣнцы вязать, и до конца бы всю работу сразу могъ довести, потому что хоть я волю Бога и оспаривалъ,

а надо было мнѣ навѣрное знать,—Онъ это противъ меня, или нѣтъ?

И снова началось воровство. Какихъ только хитростей не придумывалъ я! Бывало, прежде-то по ночамъ я, Богу молясь, себя не чувствовалъ, а теперь лежу и думаю, какъ бы лишній рубль въ карманъ загнать, весь въ это ушелъ и хоть знаю,—многіе въ ту пору плакали отъ меня, у многихъ я кусокъ изъ горла вырвалъ, и малыя дѣти, можетъ быть, голодомъ погибли отъ жадности моей,—противно и пакостно мнѣ знать это теперь, а и смѣшно—ужъ очень я глупъ и жаденъ былъ!

Лики святые смотрятъ на меня уже не печальными и добрыми глазами, какъ прежде, а будто подстерегаютъ, словно Ольгинъ отецъ. Однажды я у старосты съ конторки полтинникъ стянулъ—вотъ до какой красоты дошелъ!

И разъ выпало мнѣ что-то особенное—подошла ко мнѣ Ольга, положила руки свои легкія на плечи мои и говоритъ:

— Матвѣй, Господь съ тобой, люблю я тебя больше всего на свѣтѣ!

Удивительно просто сказала она эти свѣтлыя слова, такъ ребенокъ не скажетъ „мама“. Обогатѣлъ я силой, какъ въ сказкѣ, и стала она мнѣ съ того часа неизмѣримо дорога. Первый разъ сказала, что любитъ, первый разъ тогда обнялъ я ее и такъ поцѣловалъ, что весь исчезъ, пересталъ быть, какъ это случалось со мной во время горячей молитвы.

Къ Покрову домъ нашъ былъ готовъ—пестрый вышелъ, нѣкоторыя бревна черныя, обгорѣлыя. Вскорѣ и свадьбу справили мы; тесть мой пьянъ нализался и все время хохоталъ, какъ чортъ въ удачѣ; теща смотрѣла на насъ, плакала —молчитъ, улыбается, а по щекамъ слезы текутъ

Титовъ оретъ:

— Эй, не плачь! Какой у насъ зять, а? Праведникъ!

И матерно ругается.

Гости были важные,—попъ, конечно, становой, двое волостныхъ старшинъ и еще разные осетры среди судаковъ, а подъ окнами сельскій народъ собрался, и въ немъ Мигунъ отличался—до старости безсмертно веселый человѣкъ. Балалайка его тренькаетъ.

Я у окна сидѣлъ, тонкій голосъ Савелкинъ доходитъ до меня, хоть и боится онъ громко шутить, а, слышу я, распѣваетъ:

— Напились-бы вы скорѣе да полопались!
А наѣлись-бы вы досталь да и треснули!

Насмѣшки его понравились мнѣ тогда, хоть не до него было,—жмется ко мнѣ Ольга и шепчетъ:

— Кончилось бы скорѣе все это, ѣда и питье!

Тошно было ей глядѣть на жадность людскую, да и мнѣ противно.

Какъ познали мы съ нею другъ друга, то оба заплакали, сидимъ на постели, обнявшись, и плачемъ, и смѣемся отъ великой и нечаянной нами радости супружества. До утра не спали, цѣловались все и разговаривали, какъ будемъ жить; чтобы видѣть другъ друга—свѣчу зажгли.

Говорила она мнѣ, обнимая теплыми руками:

— Будемъ жить такъ, чтобы всѣ любили насъ! Хорошо съ тобой, Матвѣй!

Оба мы были, какъ пьяные, отъ неизреченнаго счастья нашего, и сказалъ я ей:

— Пусть меня поразитъ Господь, если ты, Ольга, когда-нибудь по винѣ моей другими слезами заплачешь!

А она:

— Я, — говоритъ, — отъ тебя все приму, буду тебѣ мать и сестра, одинокій ты мой!

Зажили мы съ ней, какъ въ сладкомъ бреду. Дѣло

я дѣлаю спустя рукава, ничего не вижу и видѣть не хочу, тороплюсь всегда домой, къ женѣ; по полю гуляемъ съ нею, ходимъ въ лѣсъ.

Вспомнилъ старину—птицъ завелъ, домъ у насъ свѣтлый, веселый, всюду на стѣнахъ клѣтки висятъ, птицы поютъ. Жена моя, тихая, полюбила ихъ; приду, бывало, домой, она разсказываетъ, что синица дѣлала, какъ щуръ пѣлъ.

По вечерамъ я Минею или Прологъ читалъ, а больше про дѣтство свое разсказывалъ, про Ларіона и Савелку, какъ они Богу пѣсни пѣли, что говорили о немъ, про безумнаго Власія, который въ ту пору скончался уже, про все говорилъ, что зналъ—оказалось, зналъ я много о людяхъ, о птицахъ и о рыбахъ.

Всей силы счастья моего словами не вычерпать, да и не умѣетъ человѣкъ разсказать о радостяхъ своихъ, не пріученъ къ тому,—рѣдки радости его, коротки во времени.

Ходимъ въ церковь съ женой, встанемъ рядомъ въ уголокъ и дружно молимся. Молитвы мои благодарныя обращалъ я къ Богу съ похвалой ему, но и съ гордостью—такое было чувство у меня, словно одолѣлъ я силу Божію, противъ воли его заставилъ Бога надѣлить меня счастьемъ; уступилъ Онъ мнѣ, а я его и похваливаю: хорошо, молъ, Ты, Господи, сдѣлалъ, справедливо, какъ и слѣдовало!

Эхъ, язычество нищенское!

Зиму прожилъ я незамѣтно, какъ одинъ свѣтлый день; объявила мнѣ Ольга, что беременна она,—новая радость у насъ. Тесть мой угрюмо крякаетъ, теща смотритъ на жену мою жалостливо и все что-то нашептываетъ ей. Затѣвалъ я свое дѣло начать, думалъ пчельникъ устроить, назвать его, для счастья, Ларіоновымъ, разбить огородъ и заняться птицеловствомъ — все это дѣла для людей безобидныя.

Какъ-то разъ Титовъ говоритъ мнѣ сурово таково:

— Ты, Матвѣй, больно рано обсахарился, гляди—скоро прокиснешь! Лѣтомъ ребенокъ родится у тебя—али забылъ?

Мнѣ давно хотѣлось правду сказать ему, какъ я въ то время понималъ ее, и вотъ, говорю:

— Сколько надо было мнѣ грѣха сдѣлать, сдѣлалъ я, поровнялся съ вами, чего вамъ хотѣлось, — ну, а ниже васъ не буду стоять!

— Не понимаю,—говоритъ,—что ты хочешь мнѣ доказать! Я тебѣ говорю просто: семьдесятъ два рубля въ годъ для семейнаго не деньги, а дочернино приданое я тебѣ не позволю проѣдать! Думай! Мудрость же твоя—просто злость противъ меня, что я тебя умнѣе, и пользы въ ней—ни тебѣ, ни мнѣ. Всякій святъ, пока дьяволомъ не взятъ!

Трудно было, а, жалѣючи Ольгу, сдержался я, не избилъ его.

На селѣ извѣстно стало, что я съ тестемъ не въ ладу живу, сталъ народъ поласковѣе глядѣть на меня. Самъ же я отъ радостей моихъ мягче сталъ, да и Ольга добра сердцемъ была—захотѣлось мнѣ расплатиться съ мужиками по-возможности. Началъ я маленько мирволить имъ: тому поможешь, этого прикроешь. А въ деревнѣ—какъ за стекломъ, каждый твой взмахъ руки виденъ всѣмъ. Злится Титовъ:

— Опять,—говоритъ,—хочешь Бога подкупить?

Рѣшилъ я бросить контору, говорю женѣ:

— Шесть рублей въ мѣсяцъ,—и больше,—я на птицахъ возьму!

Опечалилась подруга моя.

— Дѣлай, какъ знаешь, только не остаться бы нищими! Жалко,—говоритъ, — папашу: хочетъ онъ тебѣ добра и много принялъ грѣха на душу ради насъ...

— Эхъ, думаю, милая! Сѣло мнѣ его добро подъ девятое ребро!

И на другой день сказалъ тестю, что ухожу.

Усмѣхнулся онъ, спрашиваетъ:

— Въ солдаты?

Ожегъ! Понимаю я, что напакостить мнѣ—легко для него: знакомства онъ имѣетъ большія, вездѣ мужику почетъ, и попаду я въ солдаты, какъ въ воду камень. Дочери своей онъ не пожалѣетъ,—у него тоже большая игра съ Богомъ была.

И петля за петлей на руки мнѣ: жена тайно плакать начала, глаза у нея всегда красные. Спросишь ее:

— Ты что, Оля?

А она говоритъ:

— Нездоровится.

Помню клятву мою передъ ней: неловко, стыдно мнѣ. Одинъ бы шагъ ступить—и рѣшимость есть—жалко женщину любимую! Не будь ея, пошелъ бы я въ солдаты, только бы Титова избѣжать.

Въ концѣ іюня мальчикъ у насъ родился, и снова одурѣлъ я на время. Роды были трудные, Ольга кричитъ, а у меня со страху сердце рвется. Титовъ потемнѣлъ весь, дрожитъ, прислонился на дворѣ у крыльца, руки спряталъ, голову опустилъ и бормочетъ:

— Умретъ, вся моя жизнь ни къ чему, Господи, помилуй... Будутъ дѣти у тебя, Матвѣй, можетъ, поймешь ты горе мое и жизнь мою, перестанешь выдумывать себя на грѣхъ людямъ...

Пожалѣлъ я его въ тѣ часы. Самъ хожу по двору—думаю:

— Снова угрожаешь Ты мнѣ, Господи, опять надо мною рука Твоя! Далъ бы человѣку оправиться, помогъ-бы ему отойти въ сторону! Али скупъ сталъ милостью Твоею и не въ добротѣ сила Твоя?

Вспоминая теперь эти рѣчи, стыжусь за глупость мою.

Родился ребенокъ, перемѣнилась жена моя: и голосъ у нея крѣпче сталъ, и тѣло все будто бы выпрямилось, а ко мнѣ она, вижу—какъ-то бокомъ стоитъ.

Не то, чтобы жадна стала, а начала куски усчитывать; ужъ и милостыню рѣже подаетъ, вспоминаетъ, кто изъ мужиковъ сколько долженъ намъ. Долги—пятаки, а ей интересно. Сначала я думалъ,—пройдетъ это; я тогда уже бойко птицей торговалъ, раза два въ мѣсяцъ ѣздилъ въ городъ съ клѣтками; бывало, рублей пять и больше за поѣздку возьмешь. Корова была у насъ, съ десятокъ куръ—чего бы еще надо?

А у Ольги глаза блестятъ непріятно. Привезу ей подарокъ изъ города, жалуется:

— Зачѣмъ это? Ты бы деньги-то берегъ.

Скучно стало мнѣ, и отъ этой скуки пристрастился я къ птичьей охотѣ. Уйду въ лѣсъ, поставлю сѣть, повѣшу чапки, лягу на землю, посвистываю, думаю. Въ душѣ — тихо, ничего тебѣ не надобно. Родится мысль, задѣнетъ сердце и падетъ въ неизвѣстное, точно камешекъ въ озеро, пойдутъ круги въ душѣ—волненіе о Богѣ.

Въ эти часы Богъ для меня—небо ясное, синія дали, вышитый золотомъ осенній лѣсъ, или зимній—храмъ серебряный; рѣки, поля и холмы, звѣзды и цвѣты—все красивое божественно есть, все божественное родственно душѣ. А вспомнишь о людяхъ, встрепенется сердце, какъ птица, во снѣ испуганная, и недоумѣнно смотришь въ жизнь — не сливается во едино красота Божія съ темной, нищей жизнью человѣческой. Свѣтлый Богъ гдѣ-то далеко въ силѣ и гордости своей, люди—тоже отдѣльно въ нудной и прискорбной жизни. Почто преданы дѣти Божіи въ жертву суетѣ и голодны, и унижены, и придавлены къ землѣ, какъ черви въ грязи; зачѣмъ это допущено Богомъ? Какая радость ему видѣть униженіе твореній своихъ? Гдѣ есть люди, кои Бога видятъ и чувствуютъ красоту его? Ослѣплена душа въ человѣкѣ черной нуждой дневной. Сытость числится радостью и богатство—счастіемъ, ищутъ люди свободы грѣха, а свободы отъ грѣха не имѣютъ. И гдѣ

въ нихъ сила отчей любви, гдѣ Божья красота? Живъ Богъ? Гдѣ же—божеское?

Вдругъ взметнется дымомъ нѣкая догадка или намекъ, все собою покроетъ, все опустошитъ, и въ душѣ, какъ въ полѣ зимой, пусто, холодно. Тогда я не смѣлъ дотронуться словами до этой мысли, но хотя она и не вставала предо мной, одѣтая въ слова—силу ея чувствовалъ я и боялся, какъ малый ребенокъ темнаго оврага. Вскочу на ноги, займусь дѣломъ, тороплюсь домой, соберу снасти свои и пойду быстро да пѣсни пою, чтобы оттолкнуть себя въ сторону отъ немощнаго страха своего.

Стали люди смѣяться надо мной,—птицелововъ не уважаютъ въ деревняхъ,—да и Ольга тяжело вздыхаетъ, видимо, и ей зазорнымъ кажется занятіе мое. Тесть мнѣ притчи читаетъ, я помалкиваю, жду осени; кажется мнѣ, что минуетъ меня солдатчина—эту яму я обойду.

Жена снова забеременѣла и съ тѣмъ вмѣстѣ начала грустить.

— Что ты, Ольга?

Сначала отнѣкивалась—ничего, дескать, но однажды обняла меня, заплакала.

— Умру я,—говоритъ,—родами умру!

Зналъ я, что женщины часто этакъ говорятъ, но испугался. Утѣшаю—не слушаетъ.

— Снова ты останешься одинъ,—говоритъ,—нелюбимый никѣмъ. Неуживчивый ты, дерзкій во всемъ—прошу я тебя, ради дѣтей: не гордись, всѣ Богу виноваты, и ты не правъ...

Часто стала она говорить мнѣ подобныя рѣчи, и смутился я отъ жалости къ ней, страха за нее. Съ тестемъ у меня что-то въ родѣ мира вышло, онъ сейчасъ-же воспользовался этимъ по-своему; тутъ, Матвѣй, подпиши, тамъ—не пиши. Предлоги важные — солдатство на носу, второй ребенокъ близко.

А уже рекрута гулять начали, меня зовутъ; отказался—стекла побили.

Насталъ день, поѣхалъ я въ городъ жребій вынимать, жена уже боялась выходить изъ дома. Тесть меня провожалъ и всю дорогу разсказывалъ, какіе онъ труды понесъ, ради меня, и сколько денегъ истратилъ, и какъ хорошо все устроено у него.

— Можетъ, напрасно вы старались,—говорю.

Такъ и вышло; жребій мой оказался изъ послѣднихъ. Титовъ даже не повѣрилъ счастью моему, а потомъ сумрачно засмѣялся.

— Видно, и вправду Богъ-то за тебя!

Я—молчу, а несказанно радъ; для меня это свобода отъ всего, что тяготило душу, а главное—отъ дорогого тестя. Дома—радость Ольгина; плачетъ и смѣется, милая, хвалитъ меня и ласкаетъ, словно я медвѣдя убилъ.

— Слава тебѣ, Господи,—говоритъ,—теперь я спокойно помру!

Посмѣиваюсь я надъ нею, а самому—жутко, ибо чувствую—вѣритъ она въ смерть свою, понимаю, что вѣра эта пагубна, уничтожаетъ она силу жизненную въ человѣкѣ.

Дня черезъ три начались у нея роды. Двое сутокъ мучалась она страшными муками, а на третій скончалась, разрѣшившись мертвенькимъ; скончалась, какъ увѣрила себя, милый мой другъ!

Похоронъ ея не помню, ибо нѣкоторое время и слѣпъ, и глухъ былъ.

Разбудилъ меня Титовъ,—было это на могилѣ Ольгиной. Какъ теперь вижу—стоитъ онъ предо мной, смотритъ въ лицо мнѣ и говоритъ:

— Вотъ, Матвѣй, второй разъ сходимся мы съ тобой около мертвыхъ; здѣсь родилась наша дружба, здѣсь и снова скрѣпнуть бы ей...

Оглядываюсь, какъ будто я впервые на землю попалъ: дождь накрапываетъ, туманъ вокругъ, качаются въ

немъ голыя деревья, плывутъ и прячутся намогильные кресты, все ограблено холодомъ, одѣто тяжкой сыростью, и дышать нечѣмъ, будто дождь и туманъ весь воздухъ пожрали.

Я говорю Титову:

— Что тебѣ надо? Уйди!

— Надо мнѣ, чтобы понялъ ты горе мое. Можетъ быть, и за тебя, за то, что помѣшалъ я тебѣ жить по волѣ твоей, наказалъ меня Господь смертью дочери...

Таетъ земля подъ ногами, обращаясь въ липкую грязь, и, чмокая, присасываетъ ноги мои.

Сгребъ я его, бросилъ на землю, словно куль отрубей, кричу:

— Будь ты проклятъ, окаянный!

И началось для меня время безумное и безсмысленное,—не могу головы своей вверхъ поднять, тоже какъ бы брошенъ на землю гнѣвною рукой, и безъ силъ распростерся на землѣ. Болитъ душа обидой на Бога, взгляну на образа и отойду прочь скорѣе: спорить я хочу, а не каяться. Знаю, что по закону долженъ смиренно покаяніе принесть, долженъ сказать:

— Такъ, Господи! Тяжела рука Твоя, а справедлива, и гнѣвъ Твой великъ, но благостенъ!

А по совѣсти моей — не могу сказать этихъ словъ, стою потерянный между разными мыслями и не нахожу себя.

Подумаю:

— Не за то ли мнѣ этотъ ударъ, что я тайно сомнѣвался въ бытіи Твоемъ?

Пугаетъ меня это, оправдываюсь:

— Вѣдь не въ бытіи, а только въ милосердіи Твоемъ сомнѣвался я, ибо кажется мнѣ, что всѣ люди брошены Тобою безъ помощи и безъ пути!

И все это не то, что тлѣетъ въ душѣ моей, тлѣетъ и нестерпимо жжетъ ее. Спать не могу, ничего не

дѣлаю, по ночамъ тѣни какія-то душатъ меня, Ольгу вижу, жутко мнѣ и нѣтъ силъ жить.

Рѣшилъ удавиться.

Было это ночью, лежалъ я на постели одѣтый и маялся; въ памяти жена стоитъ, ни въ чемъ неповинная; синіе глаза ея тихими огнями теплятся, зовутъ. Въ окна мѣсяцъ смотритъ, на полу свѣтлыя тропы лежатъ—на душѣ еще темнѣе отъ нихъ. Вскочилъ, взялъ веревку отъ птичьей сѣти, вбилъ гвоздь въ матицу, петлю сдѣлалъ и стулъ подставилъ. Захотѣлось мнѣ пиджакъ снять, снялъ, воротъ у рубахи порвалъ и, вдругъ, вижу, на стѣнѣ тайно мелькнуло чье-то маленькое неясное лицо. Едва не закричалъ со страха, но понялъ, что это мое лицо въ кругломъ Ольгиномъ зеркалѣ. Смотрю—видъ безумный и жалостный, волосы встрепаны, щеки провалились, носъ острый, ротъ полуоткрытъ, точно задыхается человѣкъ, а глаза смотрятъ оттуда замученно, съ великой горечью.

Жалко стало мнѣ человѣческаго лица, былой его красоты, сѣлъ я на лавку и заплакалъ надъ собою, какъ ребенокъ обиженный, а послѣ слезъ петля явилась стыднымъ дѣломъ, насмѣшкой надо мной. Обозлился я, сорвалъ ее и швырнулъ въ уголъ. Смерть—тоже загадка, а я разрѣшеніе жизни искалъ.

Что же мнѣ дѣлать? Прошли еще какіе-то дни, показалось мнѣ, что мира я хочу и надо понудить себя къ покаянію, стиснулъ зубы, къ попу пошелъ.

Въ воскресенье, подъ вечеръ, явился я къ нему. Сидитъ онъ съ попадьей за столомъ, чай пьютъ, четверо ребятъ съ ними, на черномъ лицѣ у попа потъ блеститъ, какъ рыбья чешуя. Встрѣтилъ меня благодушно.

— Садись, выпей чайку...

Въ комнатѣ тепло и свѣтло, все въ ней чисто, аккуратно; вспомнилъ я, съ какимъ небреженіемъ попъ этотъ во храмѣ служитъ, и думаю:

— Вотъ гдѣ его храмъ!

Нѣтъ нужнаго смиренія во мнѣ.

— Что, Матвѣй, тоскуешь?—спрашиваетъ попъ.

— Да,—молъ,—тоскую...

— Ага!.. Сорокоустъ заказать надо. Во снѣ не является ли?

— Является,—молъ.

— Непремѣнно—сорокоустъ!

Молчу. Не могу я при попадьѣ говорить, не любилъ я ее очень; широкая она такая была, лицо большое, жирное, дышитъ женщина тяжко и зыблется вся, какъ болото. Деньги въ ростъ давала.

— Молись усердно!—поучаетъ попъ.—И не грусти—это будетъ противъ Господа, Онъ знаетъ, что дѣлаетъ...

Спрашиваю я:

— Знаетъ ли?

— А какъ же? Эй,—говоритъ,—парень, извѣстно мнѣ, что ты къ людямъ гордъ, но—не дерзай перенести гордость твою и на Господень законъ,—сто кратъ тяжеле пораженъ будешь! Ужъ не Ларіонова ли закваска бродитъ въ тебѣ? Покойникъ, по пьяному дѣлу, въ еретичество впадалъ, помни сіе!

Попадья вмѣшалась:

— Его бы, Ларіона-то, въ монастырь надо сослать, да вотъ отецъ больно ужъ добръ, не жаловался на него.

— Неправда это,—говорю, — жаловался, но не за мнѣнія его, а за небреженіе по службѣ, въ чемъ батюшка и самъ виноватъ.

Начался у насъ споръ. Сначала попъ въ дерзости меня упрекалъ, говорилъ слова, извѣстныя мнѣ не хуже его, да еще и перевиралъ ихъ, въ досадѣ на меня, а потомъ и онъ, и попадья просто ругаться стали:

— И ты,—говорятъ,—и твой тесть—оба грабители, церковь обокрали: Мокрый долъ—издавна церковный

покосъ, а вы его оттягали у насъ, вотъ и пристукнулъ васъ Господь...

— Это вѣрно,—говорю,—Мокрый долъ неправильно отнятъ у васъ, а вами—у мужиковъ!

Всталъ, хочу уходить.

— Стой!—кричитъ попъ.—А деньги за сорокоустъ?

— Не надо,—молъ.

И ушелъ, думая:

— Не туда ты, Матвѣй, душу принесъ!

Дня черезъ три померъ ребенокъ мой, Саша; принялъ мышьякъ за сахаръ, полизалъ его и скончался. Это даже и не удивило меня, охладѣлъ я какъ-то ко всему, отупѣлъ.

Надумалъ идти въ городъ. Былъ тамъ протопопъ, благочестивой жизни и весьма ученый—съ раскольниками ревностно состязался о дѣлахъ вѣры и славу прозорливца имѣлъ. Объявилъ тестю, что ухожу, домъ и все, принадлежащее мнѣ, оставляю ему, а онъ пусть дастъ мнѣ за все сто рублей.

— Такъ,—говоритъ,—нельзя! Напиши мнѣ вексель на полгода въ триста рублей.

Написалъ, выправилъ паспортъ, ушелъ. Нарочно пѣшкомъ иду, не уляжется ли дорогой-то смятеніе души. Но хотя каяться иду, а о Богѣ не думаю,—не то боюсь, не то обидно мнѣ,—искривились всѣ мысли мои, расползаются, какъ гнилая дерюга, темны и неясны небеса для меня.

Дошелъ до протопопа съ большимъ трудомъ, не пускаютъ. Какой-то служащій принималъ посѣтителей, молодой и щупленькій красавчикъ, раза четыре онъ меня отводилъ:

— Я,—говоритъ,—секретарь, мнѣ надо три рубля дать.

— Я,—молъ,—тебѣ трехъ копеекъ не дамъ.

— А я тебя не пущу!

— Самъ пройду!

Увидалъ онъ, что не уступлю.

— Идемъ,—говоритъ,—это я шучу, ужъ очень ты смѣшной!

И привелъ меня въ маленькую комнатку, сидитъ тамъ на диванѣ въ углу сѣдой старичокъ въ зеленой рясѣ, кашляетъ, лицо изможденное, глаза строгіе и посажены глубоко подъ лобъ.

— Ну,—думаю,—этотъ мнѣ что-нибудь скажетъ!

— Съ чѣмъ пришелъ?—спрашиваетъ онъ.

— Смутился,—молъ,—душой я, батюшка.

А секретарь этотъ, стоя сзади меня, шепчетъ:

— Говори: ваше преподобіе!

— Велите,—говорю,—уйти служащему, мнѣ при немъ стѣснительно...

Взглянулъ на меня протопопъ, пожевалъ губами, приказываетъ:

— Выдь за дверь, Алексѣй! Ну, говори, что сдѣлалъ?

— Сомнѣваюсь,—молъ,—въ милосердіи Господнемъ.

Онъ руку ко лбу приложилъ, поглядѣлъ на меня и нараспѣвъ шепчетъ:

— Что? Что-о такое, а? Ахъ ты, дубина!

Обижаться мнѣ не время было, да и не обидно,—привычка властей нашихъ ругать людей, они вѣдь не такъ со зла, какъ по глупости.

Говорю ему:

— Послушайте меня, ваше преподобіе!

Да и присѣлъ, было, на стулъ, но замахалъ старичокъ руками, кричитъ:

— Встань! Встань! На колѣни долженъ пасть предо мной, окаянный!

— Зачѣмъ же,—говорю,—на колѣни-то? Ежели я виноватъ, то не передъ вами, а передъ Богомъ!

Онъ—пуще сердится:

— А я кто? Кто я тебѣ? Кто я Богу?

Изъ-за пустяка мнѣ съ нимъ стыдно спорить.

Опустился на колѣни—на вотъ! А онъ, пальцемъ мнѣ грозя, шипитъ:

— Я тебя научу священство уважать!

Пропадаетъ у меня охота бесѣдовать съ нимъ, и, покамѣстъ совсѣмъ не пропала,—началъ я говорить; началъ, да скоро и забылъ про него—первый разъ вслухъ-то говорю мысли мои, удивляюсь словамъ своимъ и весь—какъ въ огнѣ.

Вдругъ, слышу, кричитъ старичокъ:

— Молчи, несчастный!

Я—какъ объ стѣну съ разбѣга ударился. Стоитъ онъ надо мной и шепчетъ, потрясая руками:

— Понимаешь ли ты, безумное животное, слова твои? чувствуешь ли веліе окаянство твое, безобразный? Лжешь, еретикъ, не на покаяніе пришелъ ты, а ради искушенія моего посланъ дьяволомъ!

Вижу я—не гнѣвъ, а страхъ на лицѣ у него. Трясется борода, и руки, простертыя ко мнѣ, мелко дрожатъ.

Я тоже испугался.

— Что вы,—говорю,—ваше преподобіе, я въ Бог вѣрую!

— Лжешь, собака заблудшая!

И началъ онъ мнѣ угрожать гнѣвомъ Божіимъ и местью его,—началъ говорить тихимъ голосомъ; говоритъ и весь вздрагиваетъ, ряса словно ручьями течетъ съ него и дымомъ зеленымъ вьется. Встаетъ Господь предо мною грозенъ и суровъ, ликомъ—теменъ, сердцемъ—гнѣвенъ, милосердіемъ скупъ и жестокостью подобенъ Іеговѣ, Богу древлему.

Я и говорю протопопу:

— Сами вы въ ересь впадаете,—развѣ это христіанскій Богъ? Куда же вы Христа прячете? На что вмѣсто друга и помощника людямъ только судію надъ ними ставите?

Тутъ онъ меня за волосья ухватилъ, дергаетъ и шепчетъ, всхлипывая:

— Проклятый, ты кто такой, кто? Тебя надо въ полицію представить, въ острогъ, въ монастырь, въ Сибирь...

Тогда я опомнился. Ясно, что коли человѣкъ полицію зоветъ Бога своего поддержать, стало быть, ни самъ онъ, ни богъ его никакой силы не имѣютъ, а тѣмъ паче—красоты.

Поднимаюсь съ колѣнъ и говорю:

— Пустите-ко меня...

Отшатнулся старикъ, задыхается:

— Что хочешь дѣлать?

— Уходить хочу! Научиться,—молъ,—мнѣ у васъ нечему, рѣчи ваши мертвы, да и Бога ими умерщвляете вы!

Онъ снова началъ говорить о полиціи, ну мнѣ это все равно: полиція больше того не отниметъ, сколько онъ хотѣлъ.

— Славѣ Божіей,—говорю ему,—служатъ ангелы, а не полиція; но ежели вы иначе вѣруете—поступайте по вѣрѣ вашей.

Наскакиваетъ онъ на меня, зеленый.

— Алексѣй,—кричитъ,—гони его вонъ!

Алексѣй этотъ съ большимъ усердіемъ вытолкалъ меня на улицу.

Вечеръ былъ, часа два бесѣдовалъ я съ протопопомъ. Сумрачно на улицѣ, скверно. Народъ вездѣ гуляетъ, говоръ и смѣхъ—о ту пору праздники были, святки. Иду разслабленно, гляжу на всѣхъ, обидно мнѣ и хочется кричать:

— Эй, народъ! Чему радуешься? Бога у тебя искажаютъ, гляди!

Иду—какъ пьяный, тоска мнѣ, куда идти—не знаю. Къ себѣ, на постоялый,—не хочется; шумъ тамъ и пьянство. Пришелъ куда-то на окраину города, стоятъ

домики маленькіе, желтыми окнами въ поле глядятъ; вѣтеръ снѣгомъ поигрываетъ, заметаетъ ихъ, посвистываетъ. Пить мнѣ хочется, напиться бы пьяному, только—безъ людей. Чужой я всѣмъ и передъ всѣми виноватъ.

— А что,—думаю,—пойду вдоль по полю, куда приду?

Вдругъ изъ воротъ женщина выскочила, въ одномъ платьѣ, едва шалью покрыта; взглянула въ лицо мнѣ, спрашиваетъ:

— Какъ зовутъ?

Понялъ, что гадаетъ она, говорю:

— Не скажу, потому—несчастливъ человѣкъ.

Она смѣется.

— На праздникахъ-то?

Мнѣ веселье не въ пору.

— А что,—спрашиваю,—есть здѣсь близко трактиръ какой-нибудь, посидѣлъ-бы я тамъ, а то—холодно!

Смотритъ она на меня пристально и говоритъ ласково такъ:

— Вонъ тамъ трактиръ, а хочешь — иди ко мнѣ, чаемъ напою!

Не подумалъ и, безъ воли, пошелъ за нею. Вотъ я въ комнатѣ; на стѣнѣ лампа горитъ, въ углу, подъ образами, толстая старуха сидитъ, жуетъ что-то, на столѣ — самоваръ. Уютно, тепло. Усадила меня эта женщина за столъ; молодая, румяная она, грудь высокая. Старуха изъ угла смотритъ на меня и сопитъ. Лицо у нея большое, дряблое и словно безъ глазъ. Неловко мнѣ—зачѣмъ пришелъ? Кто такія?

Спрашиваю молодку:

— Чѣмъ занимаетесь?

— Кружева плетемъ.

Вѣрно; съ полки гроздями коклюшки висятъ.

А она вдругъ задорно улыбнулась и говоритъ прямо въ глаза мнѣ:

— А еще—гуляю я!

Старуха засмѣялась жирновато.

— Экая ты, Танька, безстыдница!

Не скажи старуха этого, я бы не понялъ Татьяниныхъ словъ, а понялъ—сконфузился. Первый разъ въ жизни гулящую дѣвицу столь близко вижу, а, конечно, скверно думаю про нихъ.

Татьяна смѣется.

— Гляди-ко, Петровна, покраснѣлъ онъ!

А меня уже и зло беретъ: вотъ такъ попалъ! Прямо съ покаянія да и влѣзъ въ окаянное!

Говорю дѣвушкѣ:

— Развѣ этакимъ дѣломъ хвастаются?

Она дерзко отвѣчаетъ:

— Я вотъ—хвастаюсь!

Старуха опять сопитъ:

— Эхъ, ты, Татьяна, Татьяна!

А я—не знаю, что сказать и какъ уйти отъ нихъ, на умъ не идетъ! Сижу—молчу. Вѣтеръ въ окна постукиваетъ, самоваръ пищитъ, а Татьяна ужъ и дразнитъ меня:

— Ой, жарко мнѣ!

И кофту свою у ворота разстегнула. Лицо у нея хорошее, и хоть глаза дерзкіе—привлекаютъ они меня. Подала старуха вина на столъ, простого, бутылку да наливки.

— Вотъ, думаю, выпью я рюмку, денегъ дамъ и уйду!

Татьяна бойко спрашиваетъ:

— О чемъ тоскуешь?

Не успѣлъ я удержаться и отвѣтилъ:

— Жена померла.

Тогда, уже тихонько, спросила она:

— Давно ли?

— Пять недѣль только.

Застегнула дѣвица кофточку свою и вся какъ-то

подобралась. Очень это понравилось мнѣ; взглянулъ въ лицо ей молча, а про себя говорю: спасибо! Какъ ни тяжело было мнѣ, а вѣдь молодъ я, и уже привычка къ женщинѣ есть,—два года въ супружествѣ жилъ.

Старуха, задыхаясь, говоритъ:

— Жена умерла--ничего! Ты молодой, а отъ нашей сестры всѣ улицы пестры.

Тогда Татьяна строго приказала ей:

— Иди-ка ты, Петровна, ложись да и спи! Я сама провожу гостя и ворота запру.—А когда старуха ушла, спрашиваетъ меня серьезно и ласково:

— Родные есть у васъ?

— Никого нѣтъ.

— А товарищи?

— И товарищей нѣтъ.

— Что же вы хотите дѣлать?

— А не знаю.

Подумала, встала.

— Вотъ что,—говоритъ,—видно, что вы очень разстроены душой, и одному вамъ идти не совѣтую. Вы на первое слово ко мнѣ зашли, этакъ-то можно туда попасть, что не выдерешься: здѣсь, вѣдь, городъ! Ночуйте-ка у меня, вотъ—постель, ложитесь съ Богомъ! Коли даромъ неловко вамъ, заплатите Петровнѣ, сколько не жаль. А коли я вамъ тяжела, скажите, не стѣсняясь—я уйду...

Понравилась мнѣ и рѣчь ея, и глаза, и не сдержалъ я нѣкоей странной радости, усмѣхнулся, да и говорю:

— Эхъ, протопопъ!

Удивилась Татьяна:

— Какой протопопъ?

Совсѣмъ бѣда мнѣ—опять сконфузился.

— Это,—молъ,—поговорка у меня такая... То есть—не поговорка, а во снѣ иногда протопопа я вижу...

— Ну,—говоритъ,—прощайте!

— Нѣтъ ужъ,—молъ,—пожалуйста, не уходите вы, посидите, если вамъ не трудно, со мной!

Сѣла, улыбается.

— Очень рада; какой же трудъ?

Проситъ меня выпить наливки или чаю, спрашиваетъ, не хочу ли ѣсть. У меня послѣ ея серьезной ласки слезы на глазахъ, радо мое сердце, какъ ранняя птица весеннему солнцу.

— За прямое слово—простите,—говорю,—но хочется мнѣ знать: правду-ль вы сказали про себя, или такъ подразнить хотѣлось вамъ меня?

Нахмурила она брови, отвѣчаетъ:

— Вѣрно. Я—изъ такихъ. А что?

— Первый разъ въ жизни вижу такую дѣвицу, совѣстно мнѣ.

— Чего же вамъ совѣститься? Я вѣдь не голая сижу!

И тихонько ласково смѣется.

— Мнѣ,—молъ,—не за васъ совѣстно, за себя, за глупость мою!

Разсказалъ ей безъ утайки мои мысли насчетъ гулящихъ дѣвицъ.

Слушаетъ она внимательно, спокойно.

— Между нами,—говоритъ,—разныя есть, найдутся и хуже вашихъ словъ. Ужъ очень вы легко людямъ вѣрите!

Странно мнѣ помириться съ тѣмъ, что такая дѣвица—продажная. Снова спрашиваю ее:

— Что же вы это—по нуждѣ?

— Сначала,—говоритъ,—одинъ красавецъ обманулъ, я же на зло ему другого завела, да такъ и заигралась... А теперь, иногда, и изъ-за хлѣба приходится мужчину принять.

Говоритъ просто, и жалости къ себѣ не слышно въ ея словахъ.

— А въ церковь ходите?

Тутъ она вздрогнула, зардѣлась вся.

— Въ церковь,—говоритъ,—дорога никому не заказана.

Понимаю, что задѣлъ я ее, и скорѣй говорю:

— Вы не такъ меня поняли! Я евангеліе знаю и Марію Магдалину помню и грѣшницу, которой фарисеи искушали Христа. Я спросить хотѣлъ, не имѣете ли вы обиды на Бога за жизнь свою, нѣтъ ли сомнѣнія въ добротѣ Его?

Она наморщила бровки, подумала и удивленно спрашиваетъ:

- Не вижу я, при чемъ тутъ Богъ?

— Какъ-же,—молъ,—Онъ нашъ пастырь и отецъ, въ Его властной рукѣ судьба человѣческая!

А она говоритъ:

— Да вѣдь я людямъ зла не дѣлаю, въ чемъ же я виновата? А отъ того, что я себя не чисто держу—кому горе? Только мнѣ!

Чувствую,—говоритъ она что-то добротное, сердечное, а понять не могу.

— За свои грѣхи—я отвѣтчица!—говоритъ она, наклонясь ко мнѣ, и вся улыбается.—Да не кажется мнѣ великъ грѣхъ-то мой... Можетъ, это и нехорошо говорю я, а правду! Въ церковь я люблю ходить; она у насъ недавно построена, свѣтлая такая, очень милая! Пѣвчіе замѣчательно поютъ. Иногда такъ тронутъ сердце, что даже заплачешь. Въ церкви отдыхаешь душой отъ всякой суеты...

Помолчала и добавила:

— Конечно, и другой интересъ есть—мужчины видятъ!

Удивляетъ она до того, что у меня даже потъ на вискахъ выступилъ, не понимаю я, какъ это у нея все плотно и дружно складывается.

— Вы,—спрашиваетъ она,—очень любили жену?

— Очень,—говорю.—И все больше нравится мнѣ ея хорошая простота.

И началъ я разсказывать ей о своемъ душевномъ дѣлѣ — про обиду мою на Бога, за то, что допустилъ Онъ меня до грѣха и несправедливо наказалъ потомъ смертью Ольги. То блѣднѣетъ она и хмурится, то вдругъ загорятся щеки ея румянцемъ и глаза огнемъ, возбуждаетъ это меня.

Первый разъ въ жизни обернулъ я мысль свою о весь кругъ жизни человѣческой, какъ видѣлъ ее, — встала она предо мной нескладная и разрушенная, постыдная, грязью забрызганная, въ злобѣ и немощи своей, въ крикахъ, стонахъ и жалобахъ.

— Гдѣ здѣсь божеское?—говорю.—Люди другъ на другѣ сидятъ, другъ у друга кровь сосутъ, всюду звѣрская свалка за кусокъ—гдѣ тутъ божеское? Гдѣ доброе и любовь, сила и красота? Пусть молодъ я, но я не слѣпъ родился—гдѣ Христосъ, дитя Божіе? кто попралъ цвѣты, посѣянные чистымъ сердцемъ его, кѣмъ украдена мудрость его любви?

И разсказалъ ей о протопопѣ, какъ онъ меня чернымъ богомъ пугалъ, какъ въ помощь богу своему хотѣлъ полицію кричать. Засмѣялась Татьяна, да и мнѣ смѣшонъ сталъ протопопъ, подобный сверчку зеленому; трещитъ сверчокъ, да прыгаетъ, будто дѣло двигаетъ, а, кажись, и самъ не крѣпко вѣритъ въ правду дѣла своего!

А посмѣявшись, затуманилась эта хорошая дѣвица.

— Всего я не поняла, — говоритъ, — а иное даже страшно слушать: о Богѣ дерзко вы думаете!

Я говорю:

— Не видя Бога—жить нельзя!

— Да,—говоритъ она,—да вѣдь вы съ нимъ точно на кулачки драться собрались, развѣ это можно? А что жизнь тяжела людямъ—вѣрно, я тоже иногда думаю—почему? Знаете, что я скажу вамъ? Здѣсь недалеко

монастырь женскій, и въ немъ отшельница, очень мудрая старушка! Хорошо она о Богѣ говоритъ—сходили бы вы къ ней!

— Что-жъ, я пойду! Я теперь вездѣ пойду, по всѣмъ праведникамъ, нужно мнѣ успокоиться!

— А я теперь спать, да и вы ложитесь,—говоритъ она, протянувъ руку мнѣ.

Схватилъ я ее, трясу и отъ души высказываю:

— Спасибо вамъ! Сколько вы мнѣ дали, не знаю я, и какъ это дорого—не цѣню въ сей часъ, но чувствую—хорошъ вы человѣкъ, спасибо вамъ!

— Что вы,—говоритъ,—Богъ съ вами!

Смутилась, покраснѣла.

— Я такъ рада, если легче вамъ!

И вижу я, что, дѣйствительно, рада она. Что я ей? А она—рада тому, что человѣка успокоила немного.

Погасилъ я свѣтъ, легъ и думаю:

— Вотъ, на праздникъ нечаянно попалъ!

Потому что хоть и не легко на сердцѣ, а, все-таки, есть въ немъ что-то новое, хорошее. Вижу Татьянины глаза: то задорные, то серьезные; человѣческаго въ нихъ больше, чѣмъ женскаго; думаю о ней съ чистой радостью, а вѣдь такъ подумать о человѣкѣ—развѣ не праздникъ?

Рѣшилъ, что завтра подарю ей кольцо съ голубымъ камнемъ. А потомъ—забылъ, не купилъ... Тринадцать лѣтъ прошло съ той поры, а вотъ вспомню эту дѣвушку, и всегда жаль, что не купилъ ей кольца.

Утромъ стучитъ она въ дверь.

— Вставать пора!

Встрѣтились съ нею, какъ старые друзья, сѣли пить чай, а она все уговариваетъ, чтобы я къ отшельницѣ сходилъ, слово взяла съ меня. Душевно распрощались, проводила она меня за ворота.

Въ городѣ я, какъ въ степи—одинъ. До монастыря

тридцать три версты было, я сейчасъ же махнулъ туда, а на другой день уже за службой стоялъ.

Вокругъ монахини черной толпой,—словно гора разсыпалась и обломками во храмѣ легла. Монастырь богатый, сестеръ много, и все грузныя такія; лица толстыя, мягкія, бѣлыя, какъ изъ тѣста слѣплены. Попъ служитъ истово, а сокращенно, и тоже хорошо кормленъ, крупный, басистый. Клирошанки на подборъ — красавицы, поютъ дивно. Свѣчи плачутъ бѣлыми слезами, дрожатъ ихъ огни, жалѣючи людей.

— Духъ мой ко храму, ко храму святому Твоему...— покорно возглашаютъ молодые голоса.

А я по привычкѣ повторяю про себя слова богослуженія, оглядываюсь, хочу понять, которая здѣсь отшельница, и нѣтъ во мнѣ благоговѣнія. Понялъ это— смутился... Вѣдь не играть пришелъ, а въ душѣ—пусто. И никакъ не могу собрать себя, все во мнѣ разрознено, мысли одна черезъ другую скачутъ. Вижу нѣсколько изможденныхъ лицъ — древнія полумертвыя старухи, смотрятъ на иконы, шевелятъ губами, а шопота не слышно.

Отстоялъ службу и хожу вокругъ церкви. День ясный, по снѣгу солнце искрами разсыпалось, на деревьяхъ синицы тенькаютъ, иней съ вѣтокъ отряхая. Подошелъ къ оградѣ и гляжу въ глубокія дали земныя; на горѣ стоитъ монастырь, и предъ нимъ размахнулась, раскинулась мать-земля, богато одѣтая въ голубое серебро снѣговъ. Деревеньки пригорюнились; лѣсъ, рѣкою прорѣзанный; дороги лежатъ, какъ ленты потерянныя, и надо всѣмъ—солнце сѣетъ зимніе косые лучи. Тишина, покой, красота...

А черезъ нѣкоторое время былъ я въ келейкѣ матери Февроніи. Вижу: маленькая старушка, глаза безъ бровей, все время слезятся, на лицѣ во всѣхъ его морщинахъ добрая улыбка безсмѣнно дрожитъ. Рѣчь она ведетъ тихо, почти шопотомъ и пѣвуче.

— Не ѣшь,—говоритъ,—молодецъ, яблочко до Спасова дня, погоди, когда Господь миленькій его выроститъ, когда зернышки почернѣютъ въ немъ.

Думаю: къ чему это она?

— Чти,—говоритъ,—отца и матерь твою...

— Нѣтъ,—молъ,—ихъ у меня!

— Молись за упокой ихъ душенекъ...

— А, можетъ, они живы?

Смотритъ она на меня и, отирая слезы съ глазъ, жалостно улыбается. Потомъ опять качаетъ головою и поетъ:

— Господь-отъ нашъ добренькій, до всѣхъ справедливъ, всѣхъ одѣляетъ щедротой своей!

— А я,—молъ,—усомнился въ этомъ...

Смотрю—испугалась она, руки опустила и молчитъ, часто мигая глазами. Собралась съ духомъ — снова тихонько запѣла:

— Помни, что молитва крылата и быстрѣе всѣхъ птицъ, и всегда она достигнетъ до престола Господня! На конѣ въ царство небесное никто не въѣзжалъ...

Понимаю, что Богъ для нея бариномъ стоитъ,—добренькій да миленькій, а закона у старушки нѣтъ для Него. И все она сбивается на притчи, а я не понимаю ихъ, и досадно мнѣ это.

Поклонился ей и ушелъ.

— Вотъ, думаю, разобрали люди Бога по частямъ, каждый по нуждѣ своей,—у одного—добренькій, у другого—страшный, попы Его въ работники наняли себѣ и кадильнымъ дымомъ платятъ Ему за то, что Онъ сытно кормитъ ихъ. Только Ларіонъ необъятнаго Бога имѣлъ.

Монашенки снѣгъ на саняхъ возятъ, проѣхали мимо, хихикаютъ, а мнѣ тяжело и не знаю, что дѣлать. Вышелъ за ворота — тишина. Снѣга блестятъ, инеемъ одѣтыя деревья не шелохнутся, все задумалось. И небо и земля смотрятъ ласково на тихій монастырь. Мнѣ же

боязно, что вотъ я нарушу эту тишину нѣкоторымъ крикомъ.

Къ вечернѣ заблаговѣстили... Славный колоколъ! Мягко и внятно зоветъ, а мнѣ въ церковь идти не хочется. Въ головѣ будто мелкіе гвозди насыпаны.

И какъ-то вдругъ рѣшилъ я: пойду жить въ монастырь, гдѣ уставъ построже, поживу-ка одинъ, въ кельѣ, подумаю, книгъ почитаю... Не соберу ли въ одиночествѣ разрушенную душу мою въ крѣпкую силу?

Черезъ недѣлю въ Савватѣевской пустыни предъ игуменомъ стою,—нравится онъ мнѣ. Человѣкъ благообразный, сѣдоватый и лысый, краснощекъ и крѣпокъ, но лицо серьезное и глаза обѣщающіе.

— Почему, — спрашиваетъ онъ,—сынъ мой, міра бѣжишь?

Объясняю, что разстроенъ душой по случаю смерти жены, а больше ничего не могу сказать, что-то мнѣ мѣшаетъ.

Онъ, бороду пощипывая, зорко смотритъ на меня и снова говоритъ:

— Вкладъ сдѣлать можешь?

— Есть,—молъ,—у меня около ста рублей.

— Давай! Иди въ странноприимную, завтра послѣ обѣдни я еще потолкую съ тобой.

Странниками отецъ Нифонтъ завѣдывалъ, онъ тоже понравился мнѣ.

— У насъ, — говоритъ,—обитель простая, воистину братская, всѣ равно на Бога работаютъ, не какъ въ другихъ мѣстахъ! Есть, положимъ, баринокъ одинъ, да онъ ни къ чему не касается и не мѣшаетъ никому. Здѣсь ты отдыхъ и покой душѣ найдешь, здѣсь обрящешь!

За день я уже осмотрѣлъ обитель. Раньше, видимо, она въ лѣсу стояла, да вырубились, кое-гдѣ предъ воротами и теперь пни торчатъ, а съ боковъ ограды лѣсъ заходитъ, двумя черными крыльями обнимая

голубоглавую церковь и бѣлые корпуса строеній. Напротивъ Синь-озеро во льду лежитъ полумѣсяцемъ,— девять верстъ изъ конца въ конецъ да четыре ширина,— и Заозерье видать: три церкви Кудеярова, золотую главу Николы въ Толоконцевѣ, а по эту сторону, у монастыря, Кудеяровскіе Выселки прикурнули, двадцать три двора. Кругомъ—могучій лѣсъ.

Все—хорошо. Умиленіе тихо пало на душу. Вотъ гдѣ я побесѣдую съ Господомъ, разверну предъ Нимъ сокровенное души моей и со смиренной настойчивостью попрошу указать мнѣ пути къ знанію законовъ Его!

Вечеромъ всенощную стоялъ; служатъ строго по чину, истово, пѣніе, однако, несогласное, хорошихъ голосовъ нѣтъ.

Молюсь я:

— Господи, прости, если дерзко мыслилъ о Тебѣ, не отъ невѣрія это, но отъ любви и жажды, какъ Ты знаешь, Всевѣдущій!

Вдругъ впереди стоявшій монахъ оглянулся на меня и улыбается. Видно, громко прошепталъ я покаянныя слова мои! Улыбается онъ—и сколь прекрасное лицо вижу я!.. Даже опустилъ голову и зажмурился— ни до той поры, ни послѣ такого красавца не видалъ. Подвинулся впередъ, всталъ рядомъ съ нимъ и заглядываю въ его дивное лицо—бѣлое, словно кипѣнь, въ черной бородѣ съ рѣдкой просѣдью. Глаза у него большіе, влажно-матовые, гордые, строенъ онъ и высокъ. Носъ немного загнутъ, словно у кобчика, и во всей фигурѣ видно нѣчто благородное. Такъ онъ поразилъ меня, что даже во снѣ той ночью видѣлъ я его.

Рано утромъ разбудилъ меня Нифонтъ.

— Назначено,—говоритъ,—тебѣ послушаніе отцомъ игуменомъ; иди въ пекарню, вотъ сей смиренный монашекъ отведетъ тебя, онъ же начальство твое! На-ко тебѣ одежу казенную!

Одѣваюсь я въ монастырское, нарядъ оказался впору,

но все ношеное и грязное, а у сапога подметка отстала.

Гляжу на своего начальника: широкоплечъ, неуклюжъ, лобъ и щеки въ бородавкахъ и угряхъ, изъ нихъ кустики сѣрыхъ волосъ растутъ, и все лицо какъ бы овечьей шерстью закидано. Былъ бы онъ смѣшноватъ—но лобъ его огромный глубокими морщинами покрытъ, губы сурово сжаты, маленькіе глаза угрюмы.

— А ты живѣе!—приказываетъ онъ.

Голосъ грубый, но надорванный, точно колоколъ съ трещиной.

Нифонтъ, улыбаясь, говоритъ:

— Зовутъ его—братъ Миха! Съ Богомъ!

Вышли на дворъ, темно; Миха запнулся за что-то—по матерному ругается. Потомъ спрашиваетъ:

— Тѣсто мѣсить умѣешь?

— Видѣлъ,—говорю,—какъ бабы мѣсятъ.

Ворчитъ:

— Бабы! Вамъ все бабы, вездѣ бабы! Черезъ нихъ міръ проклятъ, надо помнить!

— Богородица,—молъ,—женщина была.

— Ну?

— И много есть святыхъ угодницъ.

— Поговори! Къ чорту въ адъ и угодишь!

Однако, думаю, это серьезный человѣкъ.

Пришли въ пекарню, зажегъ онъ огонь. Стоятъ два большихъ чана, мѣшками покрыты, и длинный ларь; лежитъ кулье ржаной муки, пшеничная въ мѣшкахъ. Сорно и грязно, всюду паутина и сѣрая пыль осѣла. Сорвалъ Миха съ одного чана мѣшки, бросилъ на полъ, командуетъ:

— Учись! Вотъ—подбойка! Пузыри—видишь? Значитъ—готова, взошла!

Взялъ куль муки, какъ трехлѣтняго ребенка, взвалилъ на край чана, вспоролъ ножомъ, кричитъ, какъ на пожарѣ:

— Лей воды четыре ведра! Мѣси!

И уже весь бѣлый, какъ дерево въ иней. Сбросилъ я рясу, засучилъ рукава.

Онъ говоритъ:

— Это—никуда! Снимай штаны... Ногами!

— Я,—молъ,—въ банѣ давно не былъ...

— А тебя объ этомъ спрашиваютъ?

— Какъ же грязными-то ногами?

Какъ онъ заоретъ:

— Ты мнѣ подъ началъ данъ, али я тебѣ?

Ротъ у него большой, зубы крупные, руки длинныя, и онъ ими неласково махаетъ.

— Ну, думаю, песъ съ тобой!

Вытеръ ноги мокрой тряпкой, залѣзъ въ чанъ, топчусь, а начальникъ мой катается по пекарнѣ и рычитъ:

— Я те согну, матушкинъ сынокъ!.. Я те научу смиренномудрію!

Вымѣсилъ я одинъ чанъ—другой готовъ; этотъ замѣсилъ—пшеничное поспѣло; его уже руками надо было мѣсить. Крѣпокъ былъ я парень, а къ работѣ не привыкъ: мука мнѣ налѣзла и въ носъ, и въ ротъ, и въ уши, и въ глаза, оглохъ, ничего не вижу, потомъ обливаюсь, а онъ въ тѣсто капаетъ.

— Тряпки,—говорю,—нѣтъ ли, потъ вытирать?

Сердится Миха:

— Бархатныя полотенца заведемъ для тебя. Двѣсти тридцать два года обитель стояла—все твоихъ порядковъ ждала!

Мнѣ смѣшно.

— Да вѣдь я,—молъ,—не для себя! Люди хлѣбъ-то будутъ ѣсть!

Подошелъ онъ ко мнѣ, ощетинился, какъ ежъ, и дрожитъ весь и мычитъ:

— Мѣшкомъ отирайся, коли брезгливъ! А о дерзости твоей я игумену доложу!

Удивляетъ меня этотъ человѣкъ до того, что я и

обижаться не могу. Работаетъ онъ, не покладая рукъ, мѣшки-пятерики, какъ подушки, въ рукахъ у него, весь мукой обсыпался, урчитъ, ругается и все подгоняетъ меня:

— Живѣй возись!

Стараюсь такъ, что голова кружится.

Трудно дались мнѣ первые дни послушанія. Пекарня подъ трапезной была въ подвалѣ, потолокъ въ ней сводчатый, низкій, окно—одно только и наглухо закрыто; воздуха мало, туманомъ густымъ мучная пыль стоитъ, мечется въ ней Миха, какъ медвѣдь на цѣпи, мутно сверкаетъ огонь въ печи—кошмаръ, а не работа! И все время только двое насъ, рѣдко кого накажутъ послушаніемъ, велятъ намъ помогать. За службы въ церковь некогда ходить. Миха каждый день поучаетъ меня—словно крѣпкой веревкой туго вяжетъ; горитъ онъ весь, дымится злобой противъ міра, а я дышу его рѣчами и уже весь изнутри густо сажей покрытъ.

— Люди для тебя кончились,—говоритъ,—они тамъ въ міру грѣхъ плодятъ, а ты отъ міра отошелъ. А если тѣломъ откачнулся его—долженъ и мыслью уйти, забыть о немъ. Станешь о людяхъ думать, не минуя вспомнишь женщину, ею же міръ повергнутъ во тьму грѣха и навѣки связанъ!

Я, бывало, едва ротъ открою, а онъ уже кричитъ:

— Молчи! Слушай опытнаго внимательно, старшаго тебя съ уваженіемъ! Знаю я: ты все о Богородицѣ бормочешь! Но потому и принялъ Христосъ крестную смерть, что женщиной былъ рожденъ, а не свято и чисто съ небесъ сошелъ, да и во дни жизни своей мирволилъ имъ, паскудамъ этимъ, бабёнкамъ. Ему бы самарянку-то въ колодезь кинуть, а не разговаривать съ ней, а распутницу эту камнемъ въ лобъ,—вотъ, глядишь, и спасенъ міръ!

— Вѣдь это же не церковная мысль!

— И еще говорю—молчи! Что ты знаешь церковное,

не-церковное? Церковь вся въ рукахъ бѣлаго духовенства, въ плѣну блудниковъ, щеголей; они, вонъ, сами въ шелковыхъ рясахъ ходятъ, на манеръ бабьихъ юбокъ! Еретики они поголовно, имъ кадрили плясать, а не уставы писать! Развѣ женатый мужикъ можетъ чисто мыслить о Господнихъ дѣлахъ? Не въ силѣ онъ—ибо продолжаетъ велій грѣхъ прелюбодѣянія, за него же люди изгнаны Господомъ изъ садовъ райскихъ! Тѣмъ грѣхомъ всѣ мы презрѣнно брошены во скорбь вѣчную и осуждены на скрежетъ зубовный и на судороги дьявольскія, и ослѣплены, да не видимъ лица Божія вовѣки и вѣкъ вѣка! Священство,—кое само сѣть грѣха плететъ, рождая дѣтей отъ женщины,—укрѣпляетъ этимъ міръ на стезѣ гибели и, чтобы оправдать отступничество свое отъ закона, изолгало всѣ законы!

Все тѣснѣе сдвигаетъ человѣкъ этотъ вокругъ меня камни стѣнъ, опускаетъ онъ сводъ зданія на голову мою, тѣсно мнѣ и тяжело въ пыли его словъ.

— Какъ же,—молъ,—Господь сказалъ: плодитесь, множьтесь?

Даже посинѣлъ мой наставникъ, ногами топаетъ, реветъ:

— Сказалъ, сказалъ!.. А ты знаешь, какъ онъ сказалъ, ты, дуракъ? Сказалъ онъ: плодитесь, множьтесь и населяйте землю, предаю васъ во власть дьявола и будь вы прокляты нынѣ и присно и вовѣки вѣковъ—вотъ, что онъ сказалъ! А блудники проклятіе Божіе обратили въ законъ Его! Понялъ мерзость и ложь?

Обрушится онъ на меня, подобно горѣ, и задавитъ; потемнѣетъ все вокругъ меня. Вѣрить не могу я, но и опровергнуть изувѣрство его не въ силахъ—растерялся я подъ напоромъ страсти его. Приведу ему текстъ изъ писанія, а онъ мнѣ—три, и обезоружитъ мысль мою. Писаніе — пёстрый лугъ цвѣтовъ; хочешь красныхъ—есть красные, бѣлыхъ хочешь—и они цвѣтутъ. Убито

молчу предъ нимъ, а онъ торжествуетъ, горятъ его глаза, какъ у волка. И все время вертимся мы въ работѣ; я мѣшу, онъ хлѣбы раскатываетъ, въ печь сажаетъ; испекутся—вынимать ихъ начнетъ, а я на полки кладу, руки себѣ обжигая. Тѣстомъ я оклеенъ, мукой посыпанъ, слѣпъ и глухъ, плохо понимаю отъ усталости.

Приходятъ къ намъ разные монахи, говорятъ о чемъ-то намеками, смѣются; Миха злобно лаетъ на всѣхъ, гонитъ вонъ изъ пекарни, а я—какъ вареный: и угрюмъ сталъ, и тяжко мнѣ съ Михаиломъ, не люблю я его, боюсь.

Нѣсколько разъ онъ спрашивалъ меня:

— Голыхъ бабъ видишь во снѣ?

— Нѣтъ,—молъ,—никогда.

— И врешь ты! Зачѣмъ врешь?

Сердится, зубы оскалилъ, кулакомъ мнѣ грозитъ, кричитъ:

— Лжецъ и пакостникъ!

Я только удивляюсь ему. Какія тамъ бабы голыя? Человѣкъ съ трехъ утра до десяти часовъ вечера работаетъ, ляжешь спать, такъ кости ноютъ, подобно нищимъ зимой, а онъ—бабы!

Однажды пошелъ я въ кладовую за дрожжами,—тутъ же въ подвалѣ противъ пекарни темная кладовая была,—вижу, дверь не заперта, и фонарь тамъ горитъ. Открылъ дверь, а Миха ползаетъ на животѣ по полу и рычитъ:

— Отжени, молю Тя, Господи! Отжени... Освободи.

Я, конечно, тотчасъ же ушелъ, но не догадался, въ чемъ дѣло.

Ненавистно говорилъ онъ о женщинахъ, и всегда похабно, называя все женское грубо, по-мужичьи, плевался при этомъ, а пальцы скрючивалъ и водилъ ими по воздуху, какъ бы мысленно рвалъ и щипалъ женское тѣло. Нестерпимо мнѣ слышать это, задыхаюсь.

Вспомню жену свою и счастливыя слезы наши въ первую ночь супружества, смущенное и тихое удивленіе другъ передъ другомъ, великую радость...

— Развѣ это не Твой сладкій даръ человѣку, Господи?

Вспомню доброе сердце Татьяны, простоту ея, обидно мнѣ за женщину до слезъ. Думаю:

— Когда игуменъ позоветъ меня для разговора, все ему скажу!

А онъ не зоветъ. Дни идутъ, какъ слѣпые лѣсомъ по тѣсной тропѣ, натыкаясь другъ на друга, а игуменъ не зоветъ меня. Темно мнѣ.

Въ то время—въ двадцать два года отъ роду—первые сѣдые волосы явились у меня.

Хочется съ прекраснымъ монахомъ поговорить, но вижу я его рѣдко и мелькомъ—проплыветъ гдѣ-нибудь гордое лицо его, и повлечется вслѣдъ за нимъ тоска моя невидимой тѣнью.

Спрашивалъ я Михайлу про него.

— Ага-а!..—кричитъ Миха.—Этотъ? Да, этотъ праведной жизни скотъ, какъ же! За игру въ карты изъ военныхъ выгнанъ, за скандалы съ бабами изъ духовной академіи! Ученый, да-а! Изъ офицеровъ въ академію попалъ! Въ Чудовомъ монастырѣ всѣхъ монаховъ обыгралъ, сюда явился—семь съ половиной тысячъ вкладъ сдѣлалъ, землю пожертвовалъ, и этимъ великъ почетъ себѣ купилъ, да! Здѣсь тоже въ карты играетъ—игуменъ, келарь, казначей, да онъ съ ними. Дѣвка къ нему ѣздитъ... О, сволочи! Кепья-то у него отдѣльная, ну, онъ тамъ и живетъ, какъ ему хочется! О, великая пакость!

Не вѣрилъ я этому, не могъ.

Какъ-то разъ прошу келаря, отца Исидора, допустить меня до игумена для бесѣды.

— О чемъ бесѣда?

— О вѣрѣ,—молъ.

— Что такое—о вѣрѣ?

— Разные вопросы имѣю.

Смотритъ на меня сверху внизъ; былъ онъ на голову выше меня, худой, костлявый, глаза умные, насмѣшливые, носъ кривой и длинная острая борода.

— Прямо говори—плоть одолѣваетъ?

Далась имъ эта плоть!

Не охота мнѣ, но, все-таки, сказалъ я ему кратко нѣкоторыя сомнѣнія мои. Нахмурился, улыбается.

— Противъ этого, сынъ мой, молитва—средство, молитвою да излѣчишь недугъ души твоей! Но, во вниманіе къ трудолюбію твоему, а также по необычности просьбы твоей, я игумену доложу. Ожидай!

Слово „необычность“ удивило меня, почувствовалъ я въ немъ пустоту, враждебную мнѣ.

И вотъ зовутъ меня къ отцу игумену, смотритъ онъ зорко, какъ я поклоны бью, и властно говоритъ:

— Передалъ мнѣ отецъ Исидоръ желаніе твое состязаться о вѣрѣ со мной...

— Я,—молъ,—не спорить хочу...

— А не перебивай рѣчь старшаго! Всякое разсужденіе двоихъ объ одномъ предметѣ есть уже споръ, и всякій вопросъ—соблазнъ мысли,—если, конечно, предметъ не касается ежедневной жизни братской, дѣла текущаго! Здѣсь у насъ рабочее содружество, трудимся мы для поддержанія плоти, дабы временно пребывающая въ ней душа могла воспарять ко Господу, молясь и предстательствуя милости Его о грѣхахъ міра. У насъ суть не училище мудрствованія, а работа; и не мудрость нужна намъ, но простота души. Споры твои съ братомъ Михайлой извѣстны мнѣ, одобрить ихъ не могу. Дерзость мысли твоей умѣряй, дабы не впасть во искушеніе, ибо разнузданная и не связанная вѣрою мысль есть острѣйшее оружіе дьявола. Разумъ—отъ плоти, а сія—отъ дьявола, сила же души—частицы духа Божьяго; откровеніе даруется праведному черезъ

созерцаніе. Братъ Михайла, начальникъ твой, суровый монахъ, но истинный подвижникъ и братъ, всѣми здѣсь любимый за труды свои. Налагается мною на тебя эпитимія — по окончаніи дневного труда твоего будешь ты въ лѣвомъ придѣлѣ предъ распятіемъ акаѳистъ Іисусу читать трижды въ ночь, и десять ночей. Засимъ, назначаются тебѣ также бесѣды со схимонахомъ Мардаріемъ,—время будетъ указано и число оныхъ. Ты вѣдь въ экономіи приказчикомъ былъ? Иди съ миромъ, я о тебѣ подумаю! Родныхъ, кажись, не имѣешь въ міру? Ступай, я помолюсь о тебѣ! Надѣйся на лучшее!

Воротился я къ себѣ въ пекарню, сталъ эту рѣчь взвѣшивать въ умѣ—легко вѣсить!

Можетъ, разумъ и заблуждается въ исканіяхъ своихъ, но бараномъ жить едва ли достойно и праведно для человѣка. Созерцаніе же молитвенное я въ ту пору понималъ, какъ углубленіе въ нѣдра духа моего, гдѣ всѣ корни заложены и откуда мысль стремится расти кверху, подобно дереву плодовому. Враждебнаго себѣ и непонятнаго въ душѣ моей я ничего не находилъ, а чувствовалъ непонятное въ Богѣ и враждебное въ мірѣ, значитъ, внѣ себя. А что братія Михайлу любитъ—это прямая неправда была; я хотя въ сторонѣ отъ всѣхъ стоялъ, въ разговоры не вмѣшивался, но,—ко всему присматриваясь,—видѣлъ, что и рясофорные, и послушники презираютъ Михайлу, боятся его и брезгуютъ имъ.

Вижу также, что обитель хозяйственно поставлена: лѣсомъ торгуетъ, земли въ аренду мужикамъ сдаетъ, рыбную ловлю на озерѣ; мельницу имѣетъ, огороды, большой плодовый садъ; яблоки, ягоды, капусту продаетъ. На конюшняхъ восемнадцать лошадей, братіи болѣе полуста, и всѣ народъ крѣпкій, рабочій, стариковъ не много,—для парада, для богомольцевъ едва хватаетъ. Монахи и вино пьютъ, и съ женщинами усердно путаются; кои помоложе, тѣ на Выселки ночами бѣгаютъ, къ старшимъ женщины ходятъ въ кельи,

якобы полы мыть; ну, конечно, богомолками тоже пользуются. Но все это дѣло не мое, и осуждать я не могу, грѣха въ этомъ не вижу, но ложь противна. Послушниковъ много, послушанія тяжелыя, и не держится народъ—бѣжитъ. При мнѣ, за два года жизни въ обители, одиннадцать человѣкъ сбѣжало; съ мѣсяцъ-два проживутъ и—давай Богъ ноги! Трудно!

Конечно, и для богомольцевъ приманки имѣлись: вериги схимонаха Іосафа, уже усопшаго, отъ ломоты въ колѣняхъ помогали; скуфейка его, будучи на голову возложена, отъ боли головной исцѣляла; въ лѣсу ключъ былъ очень студеный,—его вода, если облиться ею, противъ всѣхъ болѣзней дѣйствовала. Образъ Успенія Божьей Матери ради вѣрующихъ чудеса творилъ; схимонахъ Мардарій прорицалъ будущее и утѣшалъ горе людское. Все было, какъ слѣдуетъ, и весной, въ маѣ, народъ валомъ къ намъ валилъ.

Послѣ разговора съ игуменомъ и мнѣ захотѣлось въ другой монастырь идти, гдѣ бы побѣднѣе, попроще и не такъ много работы; гдѣ монахи ближе къ дѣлу своему,—познанію грѣховъ міра,—стоятъ, но захлестнули меня разныя событія.

Сошелся я вдругъ съ однимъ послушникомъ, Гришей,—въ конторѣ монастырской занимался онъ. Замѣчалъ я его давно: ходитъ между братіей всегда поспѣшно и безшумно юноша въ дымчатыхъ очкахъ, незамѣтное лицо, сутуловатый; ходитъ наклоня голову, какъ бы не желая видѣть ничего иного, кромѣ пути своего.

На другой день послѣ разговора моего съ игуменомъ, явился этотъ Гриша въ пекарню,—Михайла на докладъ къ отцу казначею пошелъ,—явился, тихо поздоровался, спрашиваетъ:

— Были, братецъ, у игумена?

— Былъ.

— Бесѣдовали?

— Нѣтъ.

— Прогналъ?

— За что?

Поправилъ онъ очки, смутился, говоритъ:

— Простите, Христа ради!

— А васъ развѣ прогонялъ?

Киваетъ головой утвердительно.

Присѣлъ на ларь, согнулся весь, сухо покашливаетъ, стучитъ пятками по стѣнкѣ ларя, а я ему разсказываю рѣчи игумена. И вдругъ онъ вскочилъ на ноги, выпрямился весь, какъ пружина, и заговорилъ звонко, горячо:

— Почему же называютъ это мѣсто—мѣстомъ спасенія души, если и здѣсь все на деньгахъ построено, для денегъ живемъ, какъ и въ міру? Я сюда отъ торговли бѣжалъ, отъ грѣха торговли, а она здѣсь противъ меня,—куда бѣгу теперь?

Дрожитъ весь и спѣшно разсказываетъ про себя: сынъ купца, булочника, коммерческое училище кончилъ и былъ уже приставленъ отцомъ къ торговлѣ.

— Пустяками какими-нибудь,—говоритъ,—я бы сталъ торговать, а хлѣбомъ—стыдно и неловко! Хлѣбъ есть необходимое всѣмъ, нельзя забирать его въ однѣ руки, чтобъ выжимать барышъ изъ нужды людской! Отецъ сломилъ бы меня, да его самого жадность сломила. Была у меня сестра, гимназистка, веселая, бойкая, со студентами знакомилась, книжки читала, и вдругъ отецъ говоритъ ей: „брось, учиться, Лизавета, я тебѣ жениха нашелъ“. Плачетъ она, бьется, кричитъ: „Не хочу“! а онъ ее—за косу, и довелъ до того, что покорилась сестренка ему. Женихъ—сынъ богатѣйшаго чайнаго торговца; косой, огромный парень, грубіянъ, и все кичится богатствомъ своимъ. Лиза противъ его, какъ мышь противъ собаки; противенъ онъ ей! А отецъ говоритъ: „дура, у него торговля во многихъ городахъ по Волгѣ!“ Ну, и обвѣнчали ее, а во время

параднаго обѣда вышла она въ свою комнату и выстрѣлила изъ пистолета въ грудь себѣ. Я еще живой засталъ ее, говоритъ мнѣ: „Прощай, Гриша, очень хочется жить, а нельзя—страшно, не могу, не могу!“

Помню, говорилъ онъ быстро-быстро, какъ бы убѣгая отъ прошлаго, а я слушаю и гляжу въ печь. Чело ея предо мной—словно нѣкое древнее и слѣпое лицо, черная пасть полна злыхъ языковъ ликующаго пламени, жуетъ она, дрова свистятъ, шипятъ. Вижу въ огнѣ Гришину сестру и озлобленно думаю: чего ради насилуютъ и губятъ люди другъ друга?

И сыплются, какъ осенніе сухіе листья, частыя Гришины слова:

—... Отецъ обезумѣлъ, топаетъ ногами, кричитъ: „опозорила родителя, погубила душу“! И только послѣ похоронъ, какъ увидалъ, что вся Казань пришла провожать Лизу, и вѣнками гробъ осыпали, опамятовался онъ.—„Если, говоритъ, весь народъ за нее всталъ, значитъ, подлецъ я передъ дочерью!“

Плачетъ Гриша, вытираетъ свои очки, а руки у него трясутся.

— А у меня еще до этой бѣды мечта была уйти въ монастырь, тутъ я говорю отцу: отпустите меня!— Онъ и ругался, и билъ меня, но я твердо сказалъ: не буду торговать, отпустите! Будучи напуганъ Лизой, далъ онъ мнѣ свободу и—вотъ, за четыре года въ третьей обители живу, а вездѣ торговля, нѣтъ душѣ моей мѣста! Землею и словомъ Божіимъ торгуютъ, медомъ и чудесами... Не могу видѣть этого!

Разбудила его исторія душу мою, мало думалъ я, живя въ монастырѣ, утомилъ меня трудъ, задремали мятежныя мысли—и вдругъ все снова вспыхнуло.

Спрашиваю Гришу:

— Гдѣ же нашъ Господь? Нѣтъ вокругъ насъ ничего, кромѣ своевольной и безумной глупости человѣ-

ческой, кромѣ мелкаго плутовства, великія несчастія порождающаго,—гдѣ же Богъ?

Но тутъ явился Михайла и разогналъ насъ.

Съ того дня началъ Гриша часто бѣгать ко мнѣ, я ему свои мысли говорю, а онъ ужасается и совѣтуетъ смиреніе. Говорю я:

— Зачѣмъ столько горя людямъ?

— За грѣхи,—отвѣчаетъ.—И все у него отъ руки Божіей—голодъ, пожары, несчастныя смерти, гибельные разливы рѣкъ—все!

— Развѣ,—молъ,—Богъ есть сѣятель несчастій на землѣ?

— Вспомни Іова, безумный!—шепчетъ онъ мнѣ.

— Іовъ,—говорю,—меня не касается! Я на его мѣстѣ сказалъ бы Господу: не пугай, но отвѣть ясно—гдѣ пути къ Тебѣ? Ибо азъ есмь сынъ силы Твоея и созданъ Тобою по подобію Твоему,—не унижай себя, отталкивая дитя Твое!

Плачетъ, бывало, Гришуха отъ глупыхъ дерзостей моихъ, обнимаетъ меня.

— Милый братъ мой,—шепчетъ,—боюсь я за тебя до ужаса! Рѣчи и сужденія твои отъ дьявола!

— Въ дьявола не вѣрую—коли Богъ всесиленъ...

Онъ еще больше взволнуется; чистый былъ и нѣжный человѣкъ, полюбилъ я его.

Я тогда эпитимію отбывалъ. Кончу работать—иду въ церковь. Братъ Никодимъ откроетъ двери мнѣ и запретъ меня, наполнивъ тишину храма гулкимъ шумомъ желѣза. Подожду я у двери, покуда не ляжетъ этотъ гулъ на каменныя плиты пола, подойду тихонько къ распятію и сяду на полу предъ нимъ—нѣтъ у меня силы стоять, кости и тѣло болятъ отъ работы, и акаѳистъ читать не хочется мнѣ. Сижу, обнявъ колѣни, и смотрю вокругъ сонными глазами, думая о Гришѣ, о себѣ. Лѣто было тогда, ночи жаркія, а здѣсь—прохладный сумракъ, кое-гдѣ лампады мелькаютъ, пере-

мигиваются; синеватые огоньки тянутся кверху, словно хотятъ взлетѣть въ куполъ и выше—въ небо, къ лѣтнимъ звѣздамъ. Слышенъ тихій трескъ свѣтиленъ, звучитъ онъ разно, сквозь дрёму мнѣ кажется, что во храмѣ кто-то невидимо живетъ, тайно бесѣдуя робкимъ мельканіемъ лампадъ. Въ теплой тишинѣ и тьмѣ вдумчиво колеблются лики святыхъ, словно и предъ ними встало что-то нерѣшенное. Призрачныя тѣни, тихо коснувшись лица моего, овѣваютъ сладкимъ дыханіемъ масла и кипариса, и ладана. Золото и мѣдь стали мягче и скромнѣе, серебро блеститъ тепло и ласково, и все таетъ, плавится, сливаясь въ широкій потокъ великой о чемъ-то мечты. Храмъ, какъ густое душистое облако, колеблется и плыветъ въ тихомъ шопотѣ неясной мнѣ молитвы. Закружусь я въ хороводѣ тѣней, и подниметъ меня съ пола ласковый сонъ.

А передъ тѣмъ, какъ ударитъ къ заутрени, подойдетъ ко мнѣ молчаливый братъ Никодимъ, разбудитъ, тихонько коснувшись головы, и скажетъ:

— Иди съ Богомъ!

— Прости,—молъ,—меня, я опять заснулъ!

Иду и шатаюсь на ногахъ, а Никодимъ, поддерживая меня, чуть-слышно говоритъ:

— Богъ тебя проститъ, кормилецъ мой!

Былъ Никодимъ незамѣтный старичокъ, ото всѣхъ прятавшій лицо свое, и всякаго человѣка онъ называлъ „кормилецъ“.

Однажды спросилъ я его:

— Ты, Никодимушка, по обѣту молчишь?

— Нѣтъ,—говоритъ,—такъ, просто.

И вздохнулъ:

— Кабы зналъ, что сказать—говорилъ-бы!

— А отчего изъ міра ушелъ?

— Оттого и ушелъ.

Начнешь его дальше спрашивать—не отвѣчаетъ

иногда взглянетъ въ лицо тебѣ виноватыми глазами и тихонько скажетъ:

— Не знаю я, кормилецъ!

Бывало, подумаешь:

— Можетъ, этотъ человѣкъ тоже отвѣтовъ искалъ...

И захочется бѣжать изъ монастыря.

А тутъ явился еще одинъ сударь,—вдругъ, точно мячъ черезъ ограду перескочилъ,—крѣпкій такой попрыгунъ, бойкій, маленькій. Глаза круглые, какъ у совы, носъ горбомъ, кудри свѣтлыя, бородка пушистая, зубы блестятъ въ постоянной улыбкѣ. Веселитъ всѣхъ монаховъ шутками, про женщинъ похабно разсказываетъ, по ночамъ водитъ ихъ въ обитель, водки безъ мѣры достаетъ и во всемъ удивительно ловокъ.

Посмотрѣлъ я на него и говорю:

— Ты чего въ монастырѣ ищешь?

— Я? Жратвы!

— Хлѣбъ работой добываютъ!

— Это,—говоритъ,—на мужиковъ Богомъ возложено, а я—мѣщанинъ, да еще въ казенной палатѣ два года служилъ, такъ что въ родѣ начальства числю себя!

Я и этого забавника началъ раскрывать—надо мнѣ видѣть всѣ пружины, какія разными людями двигаютъ. Какъ привыкъ я къ работѣ моей, Михайла лѣниться сталъ, все убѣгаетъ куда-то, а мнѣ хоть и трудно одному, но пріятнѣе; народъ въ пекарню свободно ходитъ, бесѣдуемъ.

Чаще всего сходились мы трое: Гриша, я и веселый Серафимъ. Гриша волнуется, машетъ руками на меня, Серафимъ свиститъ, потряхивая кудрями, улыбается.

Какъ-то разъ спросилъ я его:

— Серафимъ, а ты, бродяга, въ Господа вѣруешь?

— Потомъ,—говоритъ,—скажу, подожди лѣтъ тридцать. Ударитъ мнѣ подъ шестьдесятъ, я навѣрное буду знать, вѣрую ли, и какъ, а сейчасъ я этого не понимаю; врать же—охоты нѣтъ!

И начнетъ разсказывать про море. Говорилъ онъ о немъ, какъ о великомъ чудѣ, удивительными словами, тихо и громко, со страхомъ и любовью, горитъ весь отъ радости и становится подобенъ звѣздѣ. Слушаемъ мы его, молчимъ, и даже грустно отъ разсказовъ его объ этой величавой живой красотѣ.

— Море,—жгуче говорилъ онъ,—синее око земли, устремленное въ дали небесъ, созерцаетъ оно надмірныя пространства, и во влагѣ его, живой и чуткой какъ душа, отражаются игры звѣздъ—тайный бѣгъ свѣтилъ. И если долго смотрѣть на волненіе моря, то и небеса кажутся отдаленнымъ океаномъ, звѣзды же—золотые острова въ немъ.

Гриша, блѣдный, слушаетъ его, и, улыбаясь тихой, какъ бы лунной, улыбкой, печально шепчетъ:

— И предъ лицомъ сихъ тайнъ и красотъ мы—только торгуемъ! Ничего болѣе... О, Господи!

Или начинаетъ Серафимъ о Кавказѣ говорить—представитъ намъ страну мрачную и прекрасную, мѣсто, сказкѣ подобное, гдѣ адъ и рай обнялись, помирились и красуются братски-равные, гордые величіемъ своимъ.

— Видѣть Кавказъ,—внушаетъ Серафимъ,—значитъ видѣть истинное лицо земли, на коемъ—не противорѣча—сливаются въ одну улыбку и снѣжная чистота души ребенка, и гордая усмѣшка мудрости дьявольской. Кавказъ—проба силъ человѣка: слабый духъ подавляется тамъ и трепещетъ въ страхѣ предъ силами земли, сильный же, насыщаясь еще бо̀льшей крѣпостью, становится высокъ и остръ, подобно горѣ, возносящей алмазную вершину свою во глубину небесныхъ пустынь, а вершина эта—престолъ молній.

Вздыхаетъ Гриша и тихо спрашиваетъ:

— Кто укажетъ душѣ путь ея? Къ міру или прочь отъ него идти надо? Что признать и что отринуть?

Серафимъ разсѣянно и свѣтло усмѣхается.

— Не убавится и не прибудетъ силы солнца отъ того, какъ ты, Гришуха, въ небо поглядишь; не безпокойся объ этомъ, милый!

Понимаю я Серафима—и нѣтъ. Спрашиваю съ досадой:

— Ну, а люди какъ, по-твоему? Къ чему они?

Пожимаетъ онъ плечами, улыбается.

— Что же—люди? Люди, какъ травы, всѣ разные. Для слѣпого и солнце черно. Кто самъ себѣ не радъ, тотъ и Богу врагъ. А, впрочемъ, молоды люди—трехъ лѣтъ Ивана по отчеству звать рано!

Прибаутокъ у него, какъ у Савелки—полонъ ротъ былъ, сыпалъ онъ ими, какъ яблоня цвѣтами. Какъ только поставишь ему серьезный вопросъ, онъ сейчасъ же набросаетъ на него словъ своихъ, какъ травъ на гробъ младенца. Задѣваетъ меня его уклончивость, сержусь, а онъ, чортъ, хохочетъ.

Бывало, въ досадѣ скажешь ему:

— Зря ты шляешься, лѣнтяй! Даромъ чужой хлѣбъ ѣшь!

— У насъ,—говоритъ,—кто ѣстъ свой хлѣбъ, тотъ и голоденъ. Вонъ мужики весь вѣкъ хлѣбъ сѣютъ, а ѣсть его не смѣютъ. А что я работать не люблю—вѣрно! Но вѣдь я вижу: отъ работы устанешь, но богатъ не станешь, а кто много спитъ, слава Богу,—сытъ! Ты бы, Матвѣй, принималъ вора за брата, вѣдь и тобой чужое взято!

Поспоришь съ нимъ, да и засмѣешься. Простъ онъ былъ и этимъ привлекалъ, никакъ не притворялся, а прямо говорилъ:

— Я насѣкомое малое и вредъ людямъ не великъ приношу тѣмъ, что кусокъ хлѣба попрошу да съѣмъ.

Вижу я, у этого человѣка Савелкинъ строй души—и удивляюсь: какъ могутъ подобные люди сохранять среди кипѣнія жизни ясность духа своего и веселіе ума?

Серафимъ противъ Гриши, какъ ясный день весны противъ вечера осени, а сошлись они другъ съ другомъ ближе, чѣмъ со мной. Это было немножко обидно мнѣ. Вскорѣ и ушли они вмѣстѣ, Гриша рѣшилъ въ Олонецкъ идти, а Серафимъ говоритъ:

— Провожу его, отдохну тамъ съ недѣлю, да опять на Кавказъ! И тебѣ, Матвѣй, съ нами бы шагать — въ движеніи скорѣе найдешь, что тебѣ надо. Или потеряешь, и то—хорошо! Изъ земли Бога не выкопать!

Но я съ ними не могъ идти—въ ту пору на бесѣды къ Мардарію ходилъ, и очень любопытенъ былъ для меня схимникъ.

Съ великой грустью проводилъ я ихъ,—тихій вечеръ мой и веселый день!

Схимонахъ Мардарій жилъ въ землянкѣ у церковной стѣны сзади алтаря; въ старину эта яма тайникомъ была—монастырскія сокровища отъ разбойниковъ прятали въ ней, и прямо изъ алтаря былъ въ нее подземный ходъ. Разобрали надъ этой ямой каменный сводъ, покрыли ее толстыми досками и поставили надъ нею легкую келейку съ окошкомъ въ потолкѣ. А въ полу сдѣлана была рѣшетка, огражденная перилами, сквозь ее богомольцы разглядывали схимника. Въ углу кельи—подъемная дверь, и лѣстница винтомъ опускалась внизъ къ Мардарію,—у сходящаго по ней кружилась голова. Яма—глубокая, двѣнадцать ступенекъ до дна, свѣта въ ней только одинъ лучъ, да и тотъ не доходилъ до пола, таялъ, расплываясь въ сырой тьмѣ подземнаго жилища.

Долго и пристально надо смотрѣть сквозь рѣшетку, покуда увидишь въ глубинѣ темноты нѣчто темнѣе ея, какъ бы камень большой или бугоръ земли—это и есть схимникъ, недвижимъ сидитъ.

Спустишься къ нему, охватитъ тебя тепловатой пахучей сыростью, и первыя минуты не видишь ничего. Потомъ выплыветъ во тьмѣ аналой и черный гробъ, а

въ немъ согбенно помѣстился маленькій старичокъ въ темномъ саванѣ съ бѣлыми крестами, черепами, тростью и копьемъ,—все это смято и поломано на изсохшемъ тѣлѣ его. Въ углу спряталась желѣзная круглая печка, отъ нея, какъ толстый червь, труба вверхъ ползетъ, а на кирпичѣ стѣнъ плѣсень наросла зеленой чешуей. Лучъ свѣта вонзился во тьму, какъ мечъ бѣлый, и проржавѣлъ и разсыпался въ ней.

На примятыхъ стружкахъ беззвучно, словно тѣнь, качается схимникъ, руки у него на колѣняхъ лежатъ, перебирая четки, голова на грудь опущена, спина выгнута, подобно коромыслу.

Помню, пришелъ я къ нему, опустился на колѣни и молчу. И онъ тоже долго молчалъ, и все вокругъ было насыщено мертвымъ молчаніемъ. Лица его не видно мнѣ, только темный конецъ остраго носа вижу.

Шепчетъ онъ чуть слышно:

— Ну...

А я не могу говорить, охватила меня и давитъ жалость къ человѣку, живымъ во гробъ положенному.

Подождавъ, онъ снова спрашиваетъ:

— Что же... говори...

И повернулъ ко мнѣ свое лицо—темное оно, а глазъ я не вижу на немъ, только бѣлыя брови, бородка, да усы, какъ плѣсень на жуткомъ, стертомъ тьмою и неподвижномъ лицѣ. Слышу шелестъ его голоса:

— Ты самъ споришь... Зачѣмъ же спорить... Богу надо покорно служить. Что съ Нимъ спорить, съ Богомъ-то. Бога надо просто любить.

— Я,—молъ,—люблю Его.

— Ну, вотъ. Онъ тебя наказываетъ, а ты будто не видишь, и говори—слава Тебѣ, Господи, слава Тебѣ! И всегда это говори. Больше ничего.

Видимо, трудно ему отъ слабости или разучился онъ говорить,—слова его чуть живы, и голосъ подобенъ трепету крыльевъ умирающей птицы.

Не могу я ни о чемъ спросить старика, жалко мнѣ нарушить покой его ожиданія смерти и боюсь я, какъ бы не спугнуть чего-то... Стою не шевелясь. Сверху звонъ колокольный просачивается, колеблетъ волосы на головѣ моей, и нестерпимо хочется мнѣ, поднявъ голову, въ небеса взглянуть, но тьма тяжко сгибаетъ выю мнѣ,—не шевелюсь.

— Ты помолись-ка,—говоритъ онъ мнѣ.—И я помолюсь за тебя.

Замеръ онъ. Тихо. И струится жуткій страхъ по кожѣ моей, обливая грудь снѣжнымъ холодомъ.

А черезъ нѣкоторое время шепчетъ онъ:

— Ты еще тутъ?

— Да.

— Не вижу я. Ну, иди съ Богомъ! Ты—не спорь.

Ушелъ я тихонько. Какъ поднялся на землю и вздохнулъ чистымъ воздухомъ, опьянѣлъ отъ радости, голова закружилась. Сырой весь, какъ въ погребѣ былъ. А онъ, Мардарій, четвертый годъ тамъ сидитъ!

Пять бесѣдъ назначено было мнѣ, но я все молчалъ. Не могу. Спущусь къ нему, прислушается онъ и нездѣшнимъ голосомъ спроситъ:

— Пришелъ. Вчерашній ли?

— Да, это я.

Тутъ онъ начинаетъ шептать съ перерывами:

— Ты Бога не обижай... Чего тебѣ надо?.. Ничего не надо... Кусочекъ хлѣбца развѣ. А Бога обижать грѣхъ. Это ужъ отъ бѣса. Бѣси — они всяко ногу подставляютъ. Знаю я ихъ. Обижены они, бѣси-то. Злые. Обижены, оттого и злы. Вотъ и не надо обижаться, а то уподобишься бѣсу. Тебя обидятъ, а ты имъ скажи: спаси васъ Христосъ! И уйди прочь. Ну ихъ! Тлѣнность они всѣ. Главное-то—твое. Душу-то не отнимутъ. Спрячь ее, и не отнимутъ.

Сѣетъ онъ потихоньку слова свои, осыпаются они на меня, какъ пепелъ дальняго пожара, и не нужны

мнѣ, и не трогаютъ души. Какъ будто черный сонъ вижу, непонятный и тягостно-скучный.

— Молчишь ты,—раздумчиво говоритъ онъ,—это хорошо. Пусть ихъ какъ хотятъ, а ты молчи. Другіе ходятъ ко мнѣ, тѣ — говорятъ. Многое говорятъ. Нельзя понять, о чемъ они. Про женщинъ какихъ-то. А мнѣ что? Про все говорятъ—а про что про все? Непонятно. Ты же знай молчи. Я бы тоже не говорилъ, да игуменъ тутъ—утѣшай, велитъ,—надо утѣшать! Ну, ладно. А самъ я очень бы молчалъ. Ну ихъ всѣхъ къ Богу! У меня все отнято. Молитва только осталась. Что тебя мучаютъ — ты не замѣчай. Бѣси мучаютъ. Мучили и меня тоже. Братъ родной. Билъ. А то жена. Мышьякомъ меня травила. Былъ я для нея какъ мышь, видно. Обокрали всего. Сказали—будто я деревню-то поджегъ. Въ огонь бросить хотѣли. И въ тюрьмѣ сидѣлъ. Все было. Судили — еще сидѣлъ. Богъ съ ними! Я всѣхъ простилъ. Не виноватъ — а простилъ. Это — для себя. Лежала на мнѣ гора обидъ. Дышать не могъ. А какъ простилъ, — ничего! Нѣтъ горы. Бѣси обидѣлись и отошли. Вотъ и ты—прости всѣмъ... Мнѣ — ничего не надо. И тебѣ то же будетъ.

На четвертой бесѣдѣ проситъ онъ меня:

— Принеси-ка ты мнѣ хлѣбца корочку. Я бы пососалъ? Немощенъ я—прости ты меня, Христа ради!

Жалко мнѣ его стало до боли въ сердцѣ. Слушаю бредъ его и думаю:

— Зачѣмъ это надо, о, Господи? Зачѣмъ же?

А онъ шелеститъ изсохшимъ языкомъ:

— Кости у меня болятъ. Ноютъ день и ночь. Корочку-то пососу—легче будетъ, можетъ. А то зудятъ кости, мѣшаютъ. Молитвѣ-то мѣшаютъ онѣ. Надо вѣдь молиться всѣ минуты. И во снѣ надо. А то сейчасъ и напомнитъ бѣсъ. Имя твое напомнитъ, и гдѣ ты жилъ, все. Онъ вотъ тутъ на печкѣ сидитъ. Ему—ничего, что иной разъ горячая она, красная. Онъ—привыкъ. Ся-

детъ сѣренькій противъ меня и сидитъ. Я его закрещу, да ужъ и не гляжу на него. Надоѣлъ онъ. Ну его. А то по стѣнѣ ползаетъ, въ родѣ паука. Ино тряпицей сѣрой болтается въ воздухѣ. Онъ—разно можетъ, мой-то. Скучно со старикомъ. А приставили—надо стеречь. Тоже и ему не сладко, со старикомъ-то. Я ужъ и не обижаюсь на него. И бѣсъ подневоленъ. Привыкъ я къ нему. Ну тебя, говорю, надоѣлъ ты! И не гляжу. Онъ—ничего, не озорникъ. Только все напоминаетъ, какъ меня звали.

Поднялъ старичокъ голову и довольно громко сказалъ:

— А звали-то меня Михайло Петровъ Вяхиревъ!

И снова осѣлъ весь въ гробъ свой, шепчетъ:

— Таки толкнулъ бѣсъ... Ахъ ты, бѣсъ! Ты здѣсь, братъ? Иди-ко съ Господомъ!

Плакать я готовъ былъ въ тотъ день со зла... Ну, зачѣмъ старикъ этотъ? Какая красота въ подвигѣ его? Ничего не понимаю! Весь день и долго спустя вспомню я про него—какъ будто и меня дразнитъ нѣкій бѣсъ, насмѣшливыя рожи строя.

Когда послѣдній разъ пошелъ я къ нему, то набилъ карманы мягкимъ хлѣбомъ—съ досадой и злостью на людей понесъ этотъ хлѣбъ. И когда отдалъ ему—онъ зашепталъ:

— Ого-го! Теплый. Ого-го-го...

Возится во гробѣ, стружки подъ нимъ скрипятъ, прячетъ хлѣбъ и все шепчетъ:

— Ого-го...

И тьма, и плѣсень стѣнъ—все вокругъ шевелится, повторяя тихимъ стономъ шопотъ схимника:

— О-о-о.

Четыре раза въ недѣлю пищу онъ принималъ; конечно, голодно было ему.

Въ тотъ послѣдній разъ онъ ужъ ничего не гово-

рилъ со мной, а только чмокалъ, посасывая хлѣбъ,— видимо зубовъ у него совсѣмъ уже не было.

Постоявъ нѣсколько времени, говорю ему:

— Ну, прости меня, Христа ради, отецъ Мардарій, ухожу я и больше не приду! Спасибо мое прими!

— Да, да,—торопливо отвѣчаетъ онъ,—спасибо тебѣ, спасибо! Ты монахамъ-то не говори. Про хлѣбъ-то. Отнимутъ еще. Они завистливы, монахи-то. Ихъ вѣдь бѣси тоже знаютъ. Бѣси все знаютъ. Ты молчи!

Послѣ этого вскорѣ захворалъ и померъ онъ. Хоронили торжественно — владыка изъ города со священствомъ пріѣзжалъ и соборне литургію служилъ. Потомъ слышалъ я, что надъ могилою старичка по ночамъ синій огонекъ самъ собою загорается.

Сколь жалостно все это. И сколь постыдно людямъ.

Вскорѣ послѣ этого жизнь моя круто повернулась.

Еще при Гришѣ былъ со мною подлый случай: вхожу я однажды въ кладовую, а Михайла на мѣшкахъ лежитъ и онановымъ грѣхомъ занимается. Невыразимо противно стало мнѣ; вспомнилъ я пакости, кои онъ про женщинъ говорилъ, вспомнилъ ненависть его, плюнулъ, выскочилъ въ пекарню, дрожу весь со зла, и стыдно мнѣ, и горестно. Онъ за мной... Палъ на колѣни, умоляетъ меня, чтобы я молчалъ, рычитъ:

— Вѣдь и тебя она смущаетъ по ночамъ, знаю я. Сильна власть дьявола...

— Врешь,—говорю,—и пойди ты ко всѣмъ чертямъ! сгинь! Вѣдь ты—хлѣбъ печешь, собака!

Ругаюсь, не могу удержаться. Если бы онъ женщинъ не пачкалъ грязными словами своими, такъ песъ съ нимъ!

А онъ все ползаетъ, проситъ, чтобы я молчалъ.

— Да развѣ,—говорю,—объ этомъ скажешь? Вѣдь стыдно же! Но работать съ тобой не хочу! И ты скажи, чтобы перевели меня на другое послушаніе...

На томъ я и всталъ.

О ту пору люди-то все еще не были живы и видны для меня, и старался я только объ одномъ—себя бы въ сторону отодвинуть.

Михайла захворалъ и легъ въ лѣчебницу, работаю я за старшаго, дали мнѣ въ подмогу двухъ помощниковъ; прошло недѣли три и вдругъ зоветъ меня келарь и говоритъ, что Михайла выздоровѣлъ, но работать со мной не желаетъ изъ-за моего строптиваго характера, и потому назначенъ я, пока-что, въ лѣсъ пни корчевать. Это считалось наказаніемъ.

— За что?—спрашиваю.

И вдругъ въ контору входитъ красавецъ-монахъ, отецъ Антоній, становится скромно къ сторонкѣ и слушаетъ.

Келарь же объясняетъ мнѣ:

— А именно за строптивость характера твоего и за дерзостныя сужденія о братіи; это въ твои годы и въ положеніи твоемъ глупо, нетерпимо и должно быть наказано! Вотъ отецъ настоятель, по добросердечію своему, говорилъ, что надо тебя въ контору перевести, на болѣе легкое послушаніе, а выходитъ—вонъ оно что...

Говорилъ онъ долго, гнусаво и безчувственно; вижу я, что не по совѣсти, а по должности путаетъ человѣкъ слова одно съ другимъ. А отецъ Антоній, прислонясь къ лежанкѣ, смотритъ на меня и, поглаживая бороду, улыбается прекрасными глазами, словно поддразниваетъ меня чѣмъ-то. Захотѣлось мнѣ показать ему мой характеръ, и говорю я келарю:

— Возвышенія—не ищу, униженія—не желаю принять, ибо—не заслужилъ, какъ вы знаете это, но хочу справедливости!

Покраснѣлъ келарь, посохомъ стучитъ.

— Цыцъ, дерзновенный!

Отецъ Антоній наклонился къ уху его и что-то сказалъ:

— Сіе — невозможно!—говоритъ келарь.—Долженъ онъ принять кару безъ ропота!

Пожалъ Антоній плечами и обратился ко мнѣ,—голосъ у него басовитый, теплый:

— Подчинись, Матвѣй!

Побѣдилъ онъ меня двумя словами и ласковымъ взглядомъ своимъ. Положивъ келарю земной поклонъ, поклонился я и ему, а потомъ спрашиваю келаря—когда мнѣ идти въ лѣсъ?

— Черезъ три дня,—говоритъ,—а эти три дня ты во узилищѣ посидишь! Такъ-то!

Не будь тутъ Антонія, я бы навѣрное кости келарю переломалъ. Но его слова были приняты мною за нѣкій намекъ на возможность приблизиться къ нему, а ради этого я тогда готовъ былъ руку себѣ отрубить и—на все.

И повели меня въ карцеръ—въ ямку подъ конторой; ни встать тамъ, ни лечь, только сидѣть можно. На полу солома брошена, мокра отъ сырости. Тихо, какъ на могилѣ, даже мышей нѣтъ, и такая тьма, что руки тонутъ въ ней: протянешь руку предъ лицомъ и—нѣтъ ея.

Сижу—молчу. И все во мнѣ молчитъ, какъ свинцомъ облито, тяжелъ я, подобно камню, и холоденъ, словно ледъ. Сжалъ зубы, будто этимъ хотѣлъ мысли свои сдержать, а онѣ разгораются, какъ угли, жгутъ меня. Кусаться радъ бы, да некого кусать. Схватился руками за волосы свои, качаю себя, какъ языкъ колокола, и внутренно кричу, реву, бѣснуюсь.

— Гдѣ же правда Твоя, Господи? Не ею ли играютъ беззаконники, не ее ли попираютъ сильные въ злобномъ опьяненіи властью своей? Кто я предъ Тобой? Беззаконію жертва или стражъ красоты и правды Твоея?

Вспоминаю укладъ жизни монастырской—неприглядно и глумливо встаетъ она предо мной. Почему монахи—слуги Божіи? чѣмъ они святѣе мірянъ? Знаю

я тяжелую мужицкую жизнь въ деревняхъ: холодно, сурово живутъ мужики! Далеко они отъ Бога: пьютъ, дерутся, воруютъ и всяко грѣшатъ, но вѣдь имъ невѣдомы пути Его и двигаться къ правдѣ нѣтъ силъ, нѣтъ времени у нихъ,—каждый привязанъ къ землѣ своей и прикованъ къ дому своему крѣпкой цѣпью страха передъ голодомъ; что спросить съ нихъ? А здѣсь люди свободно и сыто живутъ; здѣсь открыты предъ ними мудрыя книги,—а кто изъ нихъ Богу служитъ? Только слабые и безкровные, въ родѣ Гриши, остальнымъ же Богъ—только защита во грѣхѣ и источникъ лжи.

Вспоминаю злую жадность монаховъ до женщины и всѣ пакости плоти ихъ, коя и скотомъ не брезгаетъ; лѣнь ихъ и обжорство, и ссоры при дѣлежѣ братской кружки, когда они злобно каркаютъ другъ на друга, словно вороны на кладбищѣ. Разсказывалъ мнѣ Гриша, что какъ ни много работаютъ мужики на монастырь этотъ, а долги ихъ все растутъ и растутъ.

О себѣ думаю: вотъ уже давно я маюсь здѣсь, а что пріобрѣлъ душѣ? Только раны и ссадины. Чѣмъ обогатилъ разумъ? Только знаніемъ пакости всякой и отвращеніемъ къ человѣкамъ.

А вокругъ—тишина. Даже звонъ колокольный не доходитъ ко мнѣ, нечѣмъ время мѣрить, нѣтъ для меня ни дня, ни ночи,—кто же смѣетъ свѣтъ солнца у человѣка отнимать?

Промозглая темнота давитъ меня, сгораетъ въ ней душа моя, не освѣщая мнѣ путей, и плавится, таетъ дорогая сердцу вѣра въ справедливость, во всевѣдѣніе Божіе. Но какъ яркая звѣзда сверкаетъ предо мной лицо отца Антонія, и всѣ мысли, всѣ чувства мои—около него, какъ бабочки ночныя вокругъ огня. Съ нимъ бесѣдую, ему творю жалобы, его спрашиваю и вижу во тьмѣ два луча ласковыхъ глазъ. Дорогоньки были мнѣ эти три дня: вышелъ я изъ ямы—глаза слѣпнутъ,

голова—какъ чужая, ноги дрожатъ. А братія смѣется:

— Что, удостоился баньки духовной?

Вечеромъ игуменъ позвалъ меня, поставилъ на колѣни и долго рѣчь говорилъ.

— Сказано: зубы грѣшника сокрушу и выю его согну долу...

Молчу, держу сердце въ рукѣ. Умиротворяющій Антоній предо мной стоитъ и запечатываетъ злые уста мои ласковымъ взглядомъ.

И вдругъ—смягчился игуменъ.

— Тебя, дуракъ, цѣнятъ,—говоритъ,—о тебѣ думаютъ, ревность твою къ работѣ замѣтили, разуму твоему хотятъ воздать должное. И вотъ нынѣ я предлагаю тебѣ даже на выборъ два послушанія: хочешь ли ты въ конторѣ сидѣть, или—въ келейники къ отцу Антонію?

Точно теплой водой облилъ онъ меня, задохнулся я отъ радости и едва выговорилъ:

— Благословите въ келейники...

Сморщилъ онъ лицо, задумался, пытливо смотритъ на меня.

— Ежели,—говоритъ,—въ контору идешь, я сложу съ тебя корчеванье, а въ келейники—прибавлю работы въ лѣсу.

— Благословите въ келейники...

Онъ строго спрашиваетъ:

— Почему, глупый? Вѣдь въ конторѣ легче и почетнѣе!

Стою на своемъ.

Склонилъ онъ голову, подумалъ.

— Благословляю, — говоритъ. — Чудной ты парень, однако, надо слѣдить за тобою... Кто знаетъ, какимъ огнемъ сгоришь, кто это знаетъ? Иди съ миромъ!

Пошелъ я въ лѣсъ.

Весна была тогда, апрѣль холодный.

Работа трудная, лѣсъ—вѣковой, коренье рѣдькой глубоко ушло, боковое—толстое,—роешь-роешь, рубишь-

рубишь—начнешь пень лошадью тянуть, старается она во всю силу, но только сбрую рветъ. Уже къ полудню кости трещатъ, и лошадь моя дрожитъ и въ мылѣ вся, глядитъ на меня круглымъ глазомъ и словно хочетъ сказать:

— Не могу, братъ, трудно!

Поглажу ее, похлопаю по шеѣ.

— Вижу!—молъ. И снова рыть, да рубить, а лошадь смотритъ, встряхивая шкурой и качая головой. Лошади—умныя; я полагаю, что безсмыслiе дѣяній человѣческихъ имъ видимо.

Въ это время была у меня встрѣча съ Михайлой; чуть-чуть она худо не кончилась для насъ. Иду я однажды послѣ трапезы полуденной на работу, уже въ лѣсъ вошелъ, вдругъ догоняетъ онъ меня, въ рукахъ—палка, лицо озвѣрѣвшее, зубы оскалилъ, сопитъ, какъ медвѣдь... Что такое?

Остановился, жду. А онъ, ни слова не говоря, какъ размахнется палкой на меня. Я во-время согнулся, да въ животъ ему головой; сшибъ съ ногъ, сѣлъ на груди, палку вырвалъ, спрашиваю:

— Ты что это? За что?

Онъ возится подо мной, хрипитъ:

— Уходи прочь изъ обители...

— Почему?

— Не могу тебя видѣть, убью... Уходи!

Глаза у него красные и слезы выступаютъ изъ нихъ, тоже будто красныя, а на губахъ пѣна кипитъ. Рветъ онъ мнѣ одежду, щиплетъ тѣло, царапается, все хочетъ лицо достать. Я его тиснулъ легонько, слѣзъ съ грудей, и говорю:

— На тебѣ же чинъ монашескій лежитъ, а ты, скотъ, такую злобу носишь въ себѣ! И—за что?

Сидитъ онъ въ грязи и настойчиво требуетъ:

— Уйди! Не губи мою душу...

Ничего не понимаю! Потомъ—догадался, спрашиваю его тихонько:

— Можетъ ты, Миха, думаешь, что я сказалъ кому-нибудь о печальномъ порокѣ твоемъ? Напрасно; никому я не говорилъ, ей-ей!

Всталъ онъ, пошатнулся, обнялъ дерево, глядитъ на меня изъ-за ствола дикими глазами и рычитъ:

— Пусть бы ты всему міру сказалъ — легче мнѣ! Предъ людьми покаюсь, и они простятъ, а ты, сволочь, презираешь всѣхъ,—не хочу быть обязанъ тебѣ, гордецъ ты и еретикъ! Сгинь, да не введешь меня въ кровавый грѣхъ!

— Ну, ужъ это,—молъ,—ты самъ уходи, коли тебѣ надо, я—не уйду, такъ и знай!

А онъ снова бросился на меня и упали мы оба въ грязь, выпачкались, какъ лягушки. Оказался я много сильнѣе его, всталъ, а онъ лежитъ, плачетъ несчастный.

— Слушай, Михайла,—говорю.—Я уйду немного погодя, а теперь — не могу! Не изъ упрямства это, а нужда у меня, надо мнѣ здѣсь быть!

— Иди къ дьяволу, отцу твоему!—стонетъ онъ и зубами скрипитъ.

Отошелъ я отъ него, а черезъ мало дней велѣно было ему ѣхать въ городъ на подворье монастырское, и больше не видалъ я его.

Кончилъ я послушаніе и вотъ—стою одѣтъ во все новое у Антонія. Съ перваго дня до послѣдняго помню эту полосу жизни, всю, до слова, какъ будто она и внутри выжжена, и на кожѣ моей вырѣзана.

Водитъ онъ меня по кельѣ своей и спокойно, подробно, учитъ—какъ, когда и чѣмъ долженъ я служить ему. Одна комната вся шкафами уставлена и они полны свѣтскихъ и духовныхъ книгъ.

— Это,—говоритъ онъ,—молельня моя!

Посреди комнаты столъ большой, у окна кресло мягкое, съ одной стороны стола—диванъ, дорогимъ

ковромъ покрытый, а передъ столомъ стулъ съ высокой спинкой, кожею тисненой обитъ. Другая комната спальня его: кровать широкая, шкафъ съ рясами и бѣльемъ, умывальникъ съ большимъ зеркаломъ, много щеточекъ, гребеночекъ, пузырьковъ разноцвѣтныхъ, а въ стѣнахъ третьей комнаты,—неприглядной и пустой,—два потайные шкафа вдѣланы: въ одномъ вина стоятъ и закуски, въ другомъ чайная посуда, печенье, варенье и всякія сладости.

Кончили мы этотъ обзоръ, вывелъ онъ меня въ библіотеку и говоритъ:

— Садись! Вотъ, какъ я живу. Не по-монашески, а?

— Да,—молъ,—не по уставу.

— Вотъ ты,—говоритъ,—осуждаешь все, будешь и меня осуждать.

И улыбается, точно съ колокольни, высокомѣрно. Очень я его любилъ за красоту лица, но улыбка эта не понравилась мнѣ.

— Осуждать васъ буду ли—не знаю,—молъ,—а понять непремѣнно хочу!

Онъ засмѣялся тихо, басовито и обидно.

— Ты, вѣдь, незаконнорожденный?

— Да.

— Есть въ тебѣ,—говоритъ,—хорошая кровь!

— Что такое хорошая кровь?—спрашиваю.

Смѣется и внятно отвѣчаетъ:

— Хорошая кровь—вещество, изъ коего образуется гордая душа!

День ясный, въ окно солнце смотритъ, и сидитъ Антоній весь въ его лучахъ. Вдругъ одна неожиданная мною мысль подняла голову, какъ змѣя, и ужалила сердце мое—взныло я весь, словно обожженный, вскочилъ со стула, смотрю на монаха. Онъ тоже привсталъ; вижу—беретъ со стола ножъ, играетъ имъ и спрашиваетъ:

— Что съ тобой?

Спрашиваю я его:

— Не вы ли мой отецъ?

Испортилось лицо у него, стало неподвижно-синеватое, словно изо льда изсѣчено; полуприкрылъ онъ глаза, и погасли они. Тихо говоритъ:

— Едва ли! Гдѣ родился? Когда? Сколько лѣтъ? Кто мать?

И когда разсказалъ я ему, какъ бросили на землю меня, улыбнулся онъ, положилъ ножъ на столъ.

— Въ то время и въ тѣхъ мѣстахъ не бывалъ я,— говоритъ.

Стало мнѣ неловко, тяжело: будто милостыню попросилъ я, и—не подали.

— Ну, а если бы, — спрашиваетъ,—былъ я твой отецъ—что тогда?

— Ничего,—говорю.

— И я такъ же думаю. Мы съ тобою живемъ, гдѣ нѣтъ отцовъ и дѣтей по плоти, но только по духу. А съ другой стороны всѣ мы на землѣ подкидыши, и, значитъ, братья по несчастью, именуемому—жизнь! Человѣкъ есть случайность на землѣ, знаешь ли ты это?

По глазамъ его вижу—смѣется онъ надо мной. Смущенъ и подавленъ я непонятнымъ мнѣ вопросомъ моимъ, хочется мнѣ какъ-то оправдать его или забыть. Но спрашиваю еще хуже:

— А зачѣмъ это вы взяли въ руку ножъ?

Посмотрѣлъ на меня Антоній и тихонько смѣется,

— Смѣлый ты вопросникъ! — говоритъ. — Взялъ и взялъ, а зачѣмъ—не знаю! Люблю его, красивъ очень.

И подалъ ножъ мнѣ. Ножъ кривой и острый, по стали золотомъ узоръ положенъ, рукоять серебряная, и красный камень врѣзанъ въ нее.

— Арабскій ножъ,—объясняетъ мнѣ онъ.—Я имъ книги разрѣзаю, а на ночь подъ подушку себѣ кладу. Есть про меня слухъ, что богатъ я, а люди вокругъ бѣдно живутъ, келья же моя въ сторонѣ стоитъ.

Отъ ножа и отъ руки Антонія исходитъ нѣкій пряный густой запахъ,—пьянитъ онъ меня, и кружится моя голова.

— Поговоримъ далѣе, — продолжаетъ Антоній вечернимъ, темнымъ и мягкимъ басомъ своимъ.—Знаешь ты, что женщина бываетъ у меня?

— Слышалъ.

— Неправда, что она сестра мнѣ. Я съ нею сплю.

Спрашиваю я его:

— Чего ради вы говорите все это мнѣ?

— А чтобы ты удивился сразу—и пересталъ удивляться навсегда! Ты книги свѣтскія любишь?

— Не читалъ.

Взялъ онъ изъ шкафа маленькую книжку въ красной кожѣ, подалъ мнѣ и приказалъ:

— Иди, ставь самоваръ и читай вотъ это!

Развернулъ я книжку, а на первой страницѣ картинка: женщина выше колѣнъ оголенная и мужчина предъ нею тоже оголяется.

— Я,—говорю,—этого читать не буду.

Тогда онъ подвинулся ко мнѣ и строго говоритъ:

— А если твой наставникъ духовный приказываетъ тебѣ? Ты знаешь, зачѣмъ это нужно?.. Иди!

Въ пристройкѣ, гдѣ онъ далъ мнѣ мѣсто, сѣлъ я на кровать свою и застылъ въ страхѣ и тоскѣ. Чувствую себя какъ бы отравленнымъ, ослабъ весь и дрожу. Не знаю, что думать; не могу понять, откуда явилась эта мысль, что онъ—отецъ мой; чужая мнѣ мысль, ненужная. Вспоминаю его слова о душѣ—душа изъ крови возникаетъ; о человѣкѣ—что случайность онъ на землѣ. Все это явное еретичество! Вижу его искаженное лицо при вопросѣ моемъ. Развернулъ книгу, разсказывается въ ней о какомъ-то французскомъ кавалерѣ, о дамахъ... Зачѣмъ это мнѣ?

Звонитъ онъ, зоветъ. Прихожу—встрѣчаетъ ласково.

— Что же самоваръ?

— Зачѣмъ вы мнѣ дали книгу эту?

— Чтобы ты зналъ, каковъ есть грѣхъ!

Обрадовался я; показалось мнѣ, что понялъ намѣреніе его—испытать онъ хочетъ меня. Низко поклонясь, ушелъ, живо вскипятилъ самоваръ, внесъ въ комнату, а уже Антоній все приготовилъ для чая своей рукой, и, когда я хотѣлъ уйти, сказалъ:

— Останься, будешь чай пить со мной...

Благодаренъ я ему, ибо нестерпимо хочется мнѣ понять что-нибудь.

— Разскажи мнѣ,—говоритъ,—какъ ты жилъ, и зачѣмъ пришелъ сюда?

И сталъ я разсказывать о себѣ, не скрывая ни одного тайнаго помысла, ни единой мысли, памятной мнѣ; онъ же, полуприкрывъ глаза, слушаетъ меня такъ внимательно, что даже чай не пьетъ. Сзади его въ окно вечеръ смотритъ, на красномъ небѣ черные сучья деревьевъ чертятъ свою повѣсть, а я свою говорю, и смотрю на бѣлые пальцы рукъ Антонія, сложенныхъ на груди. А когда я кончилъ—налилъ онъ мнѣ рюмку темнаго и сладкаго вина.

— Пей! Я,—говоритъ,—тебя еще тогда замѣтилъ, какъ ты въ церкви молился вслухъ. Не помогаетъ монастырь?

— Нѣтъ. Вотъ на васъ имѣю крѣпкую надежду, помогите мнѣ! Вы—ученый человѣкъ, вамъ все должно было извѣстно.

Онъ тихо говоритъ, не глядя на меня:

— Мнѣ одно извѣстно: на гору идешь—до вершины иди; падаешь—падай до дна пропасти. Но самъ я этому закону не слѣдую, ибо—я лѣнивъ. Ничтоженъ человѣкъ, Матвѣй, и непонятно это, почему онъ ничтоженъ. Ибо жизнь прекрасна и міръ обольстителенъ! Сколько удовольствій дано, а ничтоженъ человѣкъ! Почему? Сія загадка не разгадана мной... И даже не хочу думать о ней...

Ударили къ вечернѣ, вздрогнулъ онъ и говоритъ мнѣ:

— Съ Богомъ, иди! Усталъ я, и за службу надо.

Будь я умнѣе—въ тотъ же день и надо бы мнѣ уйти отъ него: сохранился бы онъ для меня, какъ хорошее воспоминаніе. Но не понялъ я смысла его словъ.

Пришелъ къ себѣ, легъ—подъ бокомъ книжка эта оказалась. Засвѣтилъ огонь, началъ читать изъ благодарности къ наставнику. Читаю, что нѣкій кавалеръ все мужей обманываетъ, по ночамъ лазитъ въ окна къ женамъ ихъ; мужья ловятъ его, хотятъ шпагами приколоть, а онъ бѣгаетъ. И все это очень скучно и непонятно мнѣ. То-есть, я, конечно, понимаю—балуется молодой человѣкъ, но не вижу, зачѣмъ объ этомъ написано, и не соображу, почему долженъ я читать подобное пустословіе?

И снова думаю: отчего я вдругъ заподозрилъ, что Антоній—отецъ мнѣ? Разъѣдаетъ эта мысль душу мою, какъ ржа желѣзо. Потомъ заснулъ я. Во снѣ чувствую толкаютъ меня; вскочилъ, а онъ стоитъ надо мной.

— Я,—говоритъ,—звонилъ-звонилъ!

— Простите,—молъ,—Христа ради, очень тяжело работалъ я!

— Знаю.

А „Богъ проститъ"—не сказалъ.

— Я,—говоритъ,—иду къ отцу игумену, приготовь мнѣ все, какъ указано. Ага! Ты книгу эту читалъ? Жаль, что началъ; это не для тебя, ты правъ былъ! Тебѣ другое нужно.

Готовлю я постель: бѣлье тонкое, одѣяло мягкое, все богато и не видано мной, все пропитано душистымъ приторнымъ запахомъ.

Началъ я жить въ этомъ пьяномъ туманѣ, какъ во снѣ,—ничего, кромѣ Антонія, не вижу, но онъ самъ для меня—весь въ тѣни и двоится въ ней. Говоритъ ласково, а глаза—насмѣшливы. Имя Божіе рѣдко произ-

носитъ, — вмѣсто „Богъ“, говоритъ „духъ“, вмѣсто „дьяволъ“—„природа“, но для меня смыслъ словами не мѣняется. Монаховъ и обряды церковные полегоньку вышучиваетъ.

Много онъ пилъ вина, но не бывало, чтобы шатался на ногахъ,—только лобъ у него становится блѣдно-синеватъ, да глаза надъ прозрачными щеками разгораются темнымъ огнемъ, а красныя губы потемнѣютъ и высохнутъ. Часто, бывало, придетъ онъ отъ игумена около полуночи и позднѣе, разбудитъ меня, велитъ подать вина. Сидитъ, пьетъ и глубокимъ своимъ голосомъ говоритъ непрерывно и долго,—иной разъ вплоть до заутрени.

Трудно мнѣ было понимать рѣчи его, и многое позабылъ я, но, помню, сначала пугали онѣ меня, какъ будто раскрывали нѣкую пропасть и толкали въ нее съ лица земли все сущее.

Иногда отъ такихъ его рѣчей становилось мнѣ пусто и жутко, и готовъ я былъ спросить его:

— А вы не дьяволъ будете?

Черный онъ, говорилъ властно, а когда выпивалъ, то глаза его становились еще болѣе двойственны, западая подъ лобъ. Блѣдное лицо подергивалось улыбкой; пальцы, тонкіе и длинные, все время быстро щиплютъ черную до-синя бороду, сгибаются, разгибаются, и вѣетъ отъ него холодомъ. Боязно.

Но, какъ сказано, во дьявола не вѣрилъ я, да и зналъ по писанію, что дьяволъ силенъ гордостью своей; онъ—всегда борется, страсть у него есть и умѣнье соблазнять людей, а отецъ-то Антоній ничѣмъ не соблазняетъ меня. Жизнь одѣвалъ онъ въ сѣрое, показывалъ мнѣ ее безсмысленной; люди для него—стадо бѣшеныхъ свиней, съ разной быстротой бѣгущихъ къ пропасти.

— Вы,—молъ,—говорили, что жизнь-то прекрасна!

— Да, если она признаетъ меня, она прекрасна,— отвѣчаетъ онъ и усмѣхается.

Только эта усмѣшка и оставалась у меня отъ его рѣчей. Точно онъ на все изъ-за угла смотрѣлъ, кѣмъ-то изгнанный отовсюду, и даже не очень обижаясь, что изгнали. Остра и догадлива была его мысль, гибка, какъ змѣя, но безсильна покорить меня,—не вѣрилъ я ей, хотя иной разъ восхищался ловкостью ея, высокими прыжками разума человѣческаго.

Впрочемъ, порою,—хоть и рѣдко,—сердился онъ.

— Я,—кричитъ,—дворянинъ, потомокъ великаго рода людей; дѣды и прадѣды мои Русь строили, историческія лица, а этотъ хамъ обрываетъ слова мои, этотъ вшивый хамъ, а?!.. Прекрасное — погибаетъ, остаются только черви, и среди нихъ одинъ человѣкъ знаменитой фамиліи!

Такія рѣчи неинтересны были мнѣ—я, можетъ, и самъ тоже знаменитѣйшей фамиліи, да вѣдь не въ прадѣдѣ сила, а въ правдѣ, и вчера—уже не воротится, тогда какъ завтра—навѣрное—будетъ!

А то сидитъ въ креслѣ своемъ, безъ крови на лицѣ, и разсказываетъ:

— Опять, Матвѣй, обыграли меня эти монахи. Что есть монахъ? Человѣкъ, который хочетъ спрятать отъ людей мерзость свою, боясь силы ея. Или же человѣкъ, удрученный слабостью своей и въ страхѣ бѣгущій міра, дабы міръ не пожралъ его. Это суть лучшіе монахи, интереснѣйшіе, всѣ же другіе—просто безпріютные люди, прахъ земли, мертворожденныя дѣти ея.

— А вы,—говорю,—кто среди нихъ?

Можетъ быть, я его десять разъ и больше такъ вотъ въ упоръ спрашивалъ, но онъ отвѣчалъ мнѣ всегда въ такомъ родѣ:

— А ты—случайный человѣкъ и здѣсь, и вездѣ, и всегда!

И Богъ его былъ для меня тайной. Старался я до-

просить его о Богѣ, когда онъ трезвый былъ, но онъ, усмѣхаясь, отвѣчалъ мнѣ знакомыми словами писанія,— Богъ же для меня былъ выше писанія. Тогда сталъ я спрашивать у пьянаго, какъ онъ видитъ Бога?

Но и пьяный Антоній крѣпокъ былъ.

— А хитеръ ты, Матвѣй! — говоритъ. — Хитеръ и упрямъ! Жаль мнѣ тебя!

И я тоже сталъ жалѣть его, ибо видѣлъ я его одиночество, цѣнилъ обиліе всякихъ мыслей въ немъ, и жалко было, что зря пропадаютъ онѣ въ кельѣ.

Но, жалѣя, все упорнѣе насѣдаю на него, и однажды онъ нехотя сказалъ:

— Но я, какъ и ты, Матвѣй,—не вижу Бога!

— Я,—молъ,—хоть не вижу, но чувствую, и не о бытіи Его спрашиваю, а какъ понять законы, по коимъ строится Имъ жизнь?

— Законы,—говоритъ,—въ Номоканонѣ смотри! А если чувствуешь Бога, то—поздравляю тебя!

Налилъ стаканъ вина мнѣ, чокнулся со мной и выпилъ; вижу я, что хотя лицо у него серьезное, какъ у мертваго, но глаза красиваго барина смѣются надо мной.

То, что онъ баринъ, стало покрывать собою мое влеченіе къ нему, ибо онъ уже нѣсколько разъ такъ развертывалъ барство, что кровно обижалъ меня.

Пьяненькій любилъ онъ про женщинъ говорить.

— Природа, дескать, беретъ насъ въ злой и тяжкій плѣнъ черезъ женщину, сладчайшую приманку свою, и не будь плотскаго влеченія, кое поглощаетъ собою лучшія силы духа человѣческаго,—можетъ, человѣкъ и безсмертія достигъ бы!

Но такъ какъ братъ Миха гораздо гуще объ этомъ дѣлѣ говорилъ, то я уже былъ насыщенъ отвращеніемъ къ такимъ мыслямъ; притомъ же Михайла отрицалъ женщину со злобой, поносилъ ее яростно, а отецъ Антоній разсуждалъ безчувственно и скучно.

— Помнишь, — говоритъ, — я тебѣ книжку давалъ? Читая ее, долженъ былъ ты видѣть, сколь женщина хитра и лжива, и развратна въ существѣ своемъ!

Странно и противно слышать, когда человѣкъ, рожденный женщиной и соками ея вспоенный, грязнитъ, попираетъ мать свою, отрицая за нею все, кромѣ похоти; низводитъ ее, родимую, до скотины безсмысленной.

Однажды я сказалъ ему нѣчто въ этомъ смыслѣ, только—глаже, не столь прямо. Освирѣпѣлъ онъ, закричалъ:

— Идіотъ! Развѣ я о матери говорю!

— Всякая,—молъ,—женщина есть мать.

— Иная,—кричитъ,—только распутница всю жизнь!

— Нѣкоторые люди горбаты живутъ, но для всѣхъ горбъ не законъ.

— Ступай вонъ, дуракъ!

Офицеръ-то не померъ въ немъ.

Нѣсколько разъ сшибался я съ нимъ голова въ голову, спрашивая о Господѣ; стали меня злить увертливые смѣшки его, и какъ-то въ ночь пустилъ я себя на него со всей силой.

Характеръ у меня скверный сдѣлался тогда; большую тоску я испытывалъ, хожу вокругъ Антонія, какъ голодный около чулана запертаго,—хлѣбомъ пахнетъ за дверью,—и отъ этого звѣрѣть я сталъ, а въ ту ночь сильно онъ разжегъ недомолвками своими.

Взялъ я ножъ со стола и говорю:

— Разскажите мнѣ все, какъ думаете, а то вотъ—полосну себя по горлу, скандалъ сдѣлаю вамъ!

Встревожился онъ, цапнулъ меня за руку, вырвалъ ножъ и засуетился, не похоже на себя.

— Нужно,—говоритъ,—наказать тебя за это, но фанатику и наказаніе не впрокъ!

А потомъ говоритъ, точно гвозди въ голову мнѣ бьетъ:

— Я тебѣ вотъ что скажу: существуетъ только

человѣкъ; все же прочее—есть мнѣніе. Богъ же твой—сонъ твоей души. Знать ты можешь только себя, да и то не навѣрное.

Покачиваютъ слова его, какъ вѣтромъ, и опустошаютъ меня. Говорилъ онъ долго, понятно и нѣтъ, и чувствую я: нѣтъ въ этомъ человѣкѣ ни скорби, ни радости, ни страха, ни обиды и гордости. Точно старый кладбищенскій попъ панихиду поетъ надъ могилой: всѣ слова хорошо знаетъ, но души его не трогаютъ они. Сначала-то страшной показалась мнѣ его рѣчь, но потомъ догадался я, что неподвижны сомнѣнія его, ибо мертвы они...

Май, окно открыто... ночь въ саду тепло цвѣтами дышитъ... яблони—какъ дѣвушки къ причастію идутъ, голубыя въ серебрѣ луны. Сторожъ часы бьетъ и кричитъ въ тишинѣ мѣдь, обиженная ударами, а человѣкъ предо мной сидитъ съ ледянымъ лицомъ и спокойно плететъ безкровную рѣчь; вьются сѣрыя, какъ пепелъ, слова, обидно и грустно мнѣ—вижу фольгу, вмѣсто золота.

— Уходи!—говоритъ мнѣ Антоній.

Вышелъ я въ садъ, а къ заутрени ударили; пошелъ въ церковь, выбралъ темный уголокъ, стою и думаю:

— Да и зачѣмъ полумертвому Богъ?

Сходится братія,—словно лунный свѣтъ изломалъ на куски тьму ночи и съ тихимъ шорохомъ прячутся они во храмѣ.

Съ той поры началось что-то, непонятное мнѣ: говоритъ со мной Антоній бариномъ, сухо, хмурится и къ себѣ не зоветъ. Книги, которыя далъ мнѣ читать, всѣ отобралъ. Одна изъ книгъ была русская исторія—очень удивляла она меня, но дочитать ее не успѣлъ я. Соображаю, чѣмъ бы я могъ обидѣть барина моего,—не вижу.

А начало его рѣчи осѣло въ памяти моей и тихонько живетъ тамъ поверхъ всего, ничему не мѣшая.

— Богъ есть сонъ твоей души, — повторяю я про себя, но спорить съ этимъ нужды не чувствую,—легкая мысль.

Вскорѣ явилась и дама его: было это поздно ночью. Слышу, звонитъ Антоній и кричитъ:

— Живо, самоваръ!

А когда я подалъ самоваръ, вижу, сидитъ на диванѣ женщина въ розовомъ широкомъ платьѣ, бѣлокурые волосы по плечамъ распущены; маленькая, точно кукла, лицо тоже розовое, глаза голубые; скромной и грустной показалась мнѣ она.

Ставлю я посуду на столъ, Антоній торопитъ:

— Скорѣй возись, скорѣй!

— Ишь ты,—думаю,—воспылалъ!

Дѣло это любовное понравилось мнѣ; то-есть пріятно было видѣть Антонія хоть на любовь—дѣло не весьма мудрое — способнымъ. Самъ-то я въ ту пору холоденъ къ этому былъ, да и монашеское распутство отвращало въ сторону, ну, а отецъ Антоній какой-же монахъ?.. Женщина его по-своему красива, свѣженькая такая, словно новая игрушка.

Наутро прихожу комнаты убирать, его нѣтъ, къ игумену пошелъ, а она сидитъ на диванѣ съ книжкой въ рукахъ, ноги поджавъ, нечесаная, полуодѣтая. Спросила, какъ зовутъ,—сказалъ; давно-ли въ монастырѣ,—сказалъ.

— Не скучно?

— Нѣтъ,—молъ.

— Странно, если правда!

— Почему,—говорю,—не правда?

— Такой ты молодой, красивый!

— А развѣ монастырь—для уродовъ?

Засмѣялась она и голую ногу одну спустила съ дивана. Разглядываетъ меня и немножко неладно ведетъ себя: руки голыми до плечъ показываетъ, платье на груди не застегнуто.

— Это ты напрасно дѣлаешь,—думаю:—наготу надо для милаго беречь!

А она, дурочка, спрашиваетъ:

— Неужели тебя женщины не смущаютъ?

— Я,—молъ,—ихъ не вижу, да и чѣмъ же онѣ могутъ смущать?

— Какъ—чѣмъ?—и хохочетъ.—Какъ это—чѣмъ?

А въ двери Антоній стоитъ и сердито спрашиваетъ:

— Что такое, Зоя? А?

— Ахъ,—кричитъ она,—онъ такой забавный, этотъ!

И защебетала, защебетала, разсказывая, какой я забавный. Но Антоній, не слушая ее, сурово приказываетъ мнѣ:

— Ступай, разбери тамъ кульки и ящики, потомъ нужно часть игумену снести!

Еще за обѣдомъ въ тотъ день оба они довольно выпили, а вечеромъ послѣ чаю женщина эта ужъ совсѣмъ пьяная была, да и Антоній, видимо, опьянѣлъ больше, чѣмъ всегда. Гоняетъ меня изъ угла въ уголъ—то подай, это принеси, вино согрѣй да остуди. Бѣгаю, какъ лакей въ трактирѣ, а они все меньше стѣсняются со мной,—барышнѣ-то жарко, и она понемногу раздѣвается, а баринъ вдругъ спрашиваетъ меня:

— Матвѣй, она красивая?

— Ничего,—молъ.

— Нѣтъ, ты погляди хорошенько!

А она хохочетъ, пьяненькая.

Я хочу уйти, но Антоній свирѣпо кричитъ:

— Куда? Стой! Зойка, покажись ему голая...

Думалъ я, что ослышался, но она сорвала съ себя какой-то халатикъ и встала на ноги, покачиваясь. Смотрю на Антонія; онъ—на меня... Сердце мое нехорошо стучитъ, и барина этого нѣсколько жаль: свинство какъ будто не къ лицу ему, и за женщину стыдно.

И вотъ онъ кричитъ:

— Ступай вонъ, ты, хамъ!

Я ему откликнулся:

— Ты самъ.

Вскочилъ онъ, бутылки со стола повалились, посуда дребезжитъ, и что-то полилось торопливо, печальнымъ ручьемъ. Вышелъ я въ садъ, легъ. Ноетъ сердце мое, какъ простуженная кость. Тихо, и слышу я крики Антонія:

— Вонъ!

А женщина визгливо отвѣчаетъ:

— Не смѣй, дуракъ!

Потомъ лошадей на дворѣ запрягали, и онѣ, недовольно фыркая, гулко били копытами о сухую землю. Хлопали двери, шуршали колеса коляски, и скрипѣли ворота ограды. Ходилъ по саду Антоній и негромко взывалъ:

— Матвѣй! Ты гдѣ?

Вотъ его высокое тѣло въ черномъ двигается между яблонями, хватаясь руками за вѣтви, осыпаетъ на землю пахучій снѣгъ цвѣтовъ и бормочетъ:

— Ду-уракъ... эй!

И тащится, вьется по землѣ густая тяжелая тѣнь за нимъ.

Пролежалъ я въ саду до утра, а утромъ явился къ отцу Исидору.

— Отдайте-ко паспортъ мой, ухожу я!

Удивился, даже подпрыгнулъ.

— Почему? Куда?

— По землѣ, но не знаю—куда,—говорю.

Онъ допрашиваетъ.

— Я,—молъ,—ничего не буду объяснять.

Вышелъ изъ кельи его, сѣлъ около нея на скамью подъ старой сосной,—нарочно тутъ сѣлъ, ибо на этой скамьѣ выгоняемые и уходившіе изъ обители какъ бы для объявленія торчали. Ходитъ мимо братія, косится на меня, иные отплевываются: забылъ я сказать, что

былъ пущенъ слухъ, якобы Антоній-то въ любовники взялъ меня; послушники мнѣ завидовали, а монаси барину моему,—ну, и клеветали на обоихъ.

Ходитъ братія, поговариваетъ:

— Ага, выгнали и этого, слава тебѣ, Господи!

Отецъ Асафъ, хитренькій и злобненькій старичокъ, шпіонъ игумена, должность Христа ради юродиваго исполнявшій въ обители, началъ поносить меня гнуснѣйшими словами, такъ что я даже сказалъ ему:

— Уйди, старикъ, а то я тебя за ухо возьму и самъ прочь отведу!

Онъ, хотя и блаженъ мужъ былъ, но слова мои понялъ.

Потребовалъ меня глава обители и ласково говоритъ:

— Намекалъ я тебѣ, Матвѣй, сыне мой, что было бы лучше, если-бъ ты въ контору пошелъ, и се—былъ я правъ! И тако всегда старшіе! Развѣ, при строптивости твоей, можно выдержать тебѣ послушаніе келейника? Вотъ ты скверно изругалъ почтеннаго отца Антонія...

— Это онъ вамъ сказалъ?

— А кто же? Ты еще не говорилъ.

— А сказалъ онъ, какъ показывалъ мнѣ голую женщину?

Отецъ игуменъ со благочестивымъ страхомъ перекрестилъ меня и говоритъ, махая руками:

— Что ты, что ты, Господь съ тобой! Какая женщина? Это, не иначе, видѣніе твое, плотью, дьяволомъ искушаемой, созданное! Ай-ай-ай! Ты подумалъ бы—откуда въ мужскомъ-то монастырѣ женщина?

Захотѣлось мнѣ успокоить его.

— А кто же,—говорю,—портвейнъ, сыръ да икру вчера вамъ привезъ?

Еще больше удивляется онъ:

— Что ты, спаси тебя Христосъ! Какъ это выдумалъ столь неподобное?

Противно. И можно съ ума сойти.

Около полудня переѣхалъ я черезъ озеро, сѣлъ на берегу, смотрю на монастырь, гдѣ слишкомъ два года трудовую лямку теръ.

Размахнулъ лѣсъ зеленыя крылья и показываетъ обитель на груди своей. На пышной зелени ярко вытканы зубчатыя бѣлыя стѣны, синія главы старой церкви, золотой куполъ новаго храма, полосы красныхъ крышъ; лучисто и призывно горятъ кресты, а надъ ними—голубой колоколъ небесъ, звонитъ радостнымъ гомономъ весны, и солнце ликуетъ побѣды свои.

Въ этой красотѣ, волнующей душу восторгомъ живымъ, спрятались черные люди въ длинныхъ одеждахъ и гніютъ тамъ, проживая пустые дни, безъ любви, безъ радостей, въ безсмысленномъ трудѣ и въ грязи.

Жалко мнѣ стало всѣхъ и себя тоже—едва не заплакалъ. Всталъ и пошелъ.

Дышитъ ароматами, поетъ вся земля и все живое ея; солнце роститъ цвѣты на поляхъ, поднимаются они къ небу, кланяясь солнцу; молодая зелень деревьевъ шепчетъ и колышется; птицы щебечутъ, любовь вездѣ горитъ—тучна земля и пьяна силою своей!

Встрѣчу мужика—поздороваюсь, а онъ мнѣ едва головой кивнетъ; бабу встрѣчу—сторонится. А мнѣ охота говорить съ людьми, и говорилъ бы я съ ними ласково.

Первую ночь свободы моей въ лѣсу ночевалъ; долго лежалъ, глядя въ небо, пѣлъ тихонько—и заснулъ. Утромъ рано проснулся отъ холода и снова иду, какъ на крыльяхъ, встрѣчу всей жизни. Каждый шагъ все дальше тянетъ и готовъ бѣгомъ бѣжать вдаль.

А народъ при встрѣчѣ косится на меня: обрыдла, противна и враждебна мужикамъ черная одежда за-

хребетниковъ. А снять мнѣ ее нельзя: паспортъ мой просроченъ, но игуменъ надпись сдѣлалъ на немъ, удостовѣрилъ, что я послушникъ Савватѣевской обители и ушелъ для посѣщенія святыхъ мѣстъ.

И вотъ, направился я по симъ мѣстамъ, вмѣстѣ съ тѣмъ самымъ бродячимъ народомъ, который и нашу обитель сотнями наполнялъ по праздникамъ. Братія относилась къ нему безучастно или враждебно—дескать, дармоѣды—и старалась обобрать у нихъ всѣ пятаки, загоняла на монастырскія работы и, всячески выжимая сокъ изъ этихъ людей, пренебрегала ими. Я же, занятый своимъ дѣломъ, мало встрѣчался съ пришлыми людьми, да и не искалъ встрѣчъ, считая себя человѣкомъ особеннымъ въ намѣреніяхъ своихъ и внутренно ставя образъ свой превыше всѣхъ.

Впижу: по всѣмъ дорогамъ и тропамъ тянутся, качаясь, сѣрыя фигуры съ котомками за спиной, съ посохами въ рукахъ; идутъ не торопясь, но споро, низко наклоня головы; идутъ кроткіе, задумчивые и довѣрчиво открытые сердцемъ. Стекаются въ одно мѣсто, посмотрятъ, молча помолятся, поработаютъ; есть какой-нибудь праведникъ,—поговорятъ съ нимъ тихонько о чемъ-то, и снова растекутся по дорогамъ, печально шагая до другого мѣста.

Идутъ, идутъ старые и молодые, женщины и дѣти, словно всѣхъ одинъ голосъ позвалъ, и чувствую я въ этомъ прохожденіи земли насквозь по всѣмъ ея путямъ нѣкую силу,—захватываетъ она меня, тревожитъ, словно обѣщаетъ что-то открыть душѣ. Странно мнѣ это безпокойное и покорное хожденіе послѣ неподвижной жизни моей.

Какъ будто сама земля отрываетъ человѣка отъ груди своей и, отталкивая, повелительно внушаетъ ему:

— Иди, спроси, узнай!

Послушно и осторожно ходитъ человѣкъ; ищетъ, смотритъ, чутко прислушивается и снова идетъ, идетъ.

Гудитъ подъ ногами искателей вся земля и толкаетъ ихъ дальше—черезъ рѣки, горы, лѣса и моря,—еще дальше, всюду, гдѣ уединенно обители стоятъ, обѣщая чудеса; всюду, гдѣ дышитъ надежда на что-то иное, чѣмъ эта горькая, трудная, тѣсная жизнь.

Поразило меня тихое смятеніе одинокихъ душъ и очеловѣчило; началъ я вникать—чего ищутъ люди? И стало мнѣ казаться все вокругъ потревоженнымъ и пошатнувшимся, какъ самъ я.

Многіе, какъ и я, ищутъ Бога, и не знаютъ уже, куда идти; и разсѣяли всю душу на путяхъ исканій своихъ, и уже ходятъ только потому, что не имѣютъ силъ остановить себя; носятся, какъ перья луковицъ по вѣтру, легкіе и безполезные.

Эти—лѣни своей побороть не могутъ и носятъ ее на плечахъ своихъ, унижаясь и живя ложью; тѣ же—охвачены желаніемъ все видѣть, но нѣтъ у нихъ силъ что-либо полюбить.

Вижу еще много пустого народа и грязныхъ жуликовъ, безстыдныхъ дармоѣдовъ, жадныхъ, какъ вши—много вижу—но все это только пыль позади толпы людей, охваченныхъ тревогой богоисканія.

И неудержимо влечетъ она меня за собой.

А вокругъ ея, словно чайки надъ рѣкой, крикливо и жадно мечутся разнообразно окрыленные человѣки, поражая меня уродствомъ своимъ.

Однажды на Бѣлоозерѣ вижу человѣчка среднихъ лѣтъ, весьма бойкаго; должно быть, зажиточенъ, одѣтъ чисто.

Расположился въ тѣни подъ деревьями, около него тряпки, банка мази какой-то, тазъ мѣдный,—и покрикиваетъ онъ, этотъ человѣкъ:

— Православные! У кого ноги до язвъ натружены—подходи: вылѣчу! Даромъ лѣчу, по обѣту, принятому на себя, ради Господа моего!

Храмовой праздникъ въ Бѣлоозерѣ былъ, богомолы

со всѣхъ сторонъ дождемъ идутъ; подходятъ къ нему, садятся, развязываютъ онучи, онъ имъ ноги моетъ, смазываетъ раны, поучаетъ:

— Эхъ, братъ, а и неразуменъ ты! У тебя лапоть не по ногѣ великъ—развѣ можно въ такомъ ходить!

Человѣкъ въ большомъ лаптѣ тихо отвѣчаетъ:

— Мнѣ и этотъ Христа ради подали!

— Тотъ, кто подалъ—онъ Богу угодилъ, а что ты въ такомъ лаптѣ шелъ, это глупость твоя, но не подвигъ, и Господомъ не зачтется тебѣ!

— Вотъ,—думаю,—хорошо знаетъ человѣкъ Божьи обороты!

Подходитъ къ нему женщина, прихрамывая.

— Ай, молодка! — кричитъ онъ.—Это не мозоль у тебя, а, пожалуй, французская болѣзнь! Это, православные, заразная болѣзнь, цѣлыя семьи погибаютъ отъ нея, прилипчива она!

Бабенка сконфузилась, встала, идетъ прочь, опустивъ глаза, а онъ зазываетъ:

— Подходи, православные, во имя святаго Кирилла!

Подходятъ люди, разуваются, покряхтывая, онъ имъ моетъ ноги, а они говорятъ ему:

— Спаси тебя Христосъ!

Но вижу я, что его благообразное лицо судороги подергиваютъ, и ловкія руки человѣка трясутся. Скоро онъ прикрылъ лавочку благочестія своего, быстро убѣжавъ куда-то.

На ночь отвелъ меня монашекъ въ сарай, вижу—и этотъ человѣкъ тамъ же; легъ я рядомъ съ нимъ и началъ тихій разговоръ:

— Что это вы, почтенный, вмѣстѣ съ черными людьми ночуете? Судя по одеждѣ вашей, мѣсто ваше —въ гостинницѣ.

— А мною, — отвѣчаетъ, — обѣтъ такой данъ: быть среди послѣднихъ — послѣднимъ на три мѣсяца цѣлыхъ! Желаю подвигъ богомольческій совершить

вполнѣ,—пусть вмѣстѣ со всѣми и вошь меня ѣстъ! Еще то ли я дѣлаю! Я, вотъ, ранъ видѣть не могу, тошнитъ меня, а—сколь ни противно—каждый день ноги странникамъ мою! Трудна служба Господу, велика надежда на милость Его!

Потерялъ я охоту разговаривать съ нимъ, притворился, будто заснулъ, лежу и думаю:

— Не тучна его жертва Богу своему!

Зашуршало сѣно подъ сосѣдомъ, всталъ онъ осторожно на колѣни и молится, сначала безмолвно, а потомъ, слышу я шопотъ:

— Ты же, святителю Кирилле, предстань Господу за грѣшника, да уврачуетъ Господь язвы и вереды мои, яко же и я врачую язвы людей! Господи Всевидящій, оцѣни труды мои и помилуй меня! Жизнь моя—въ рукѣ Твоей; знаю—неистовъ быша азъ во страстѣхъ, но уже довольно наказанъ Тобою; не отринь, яко пса, и да не отженутъ мя люди Твои, молю Тя, и да исправится молитва моя, яко кадило предъ Тобою!

Тутъ—человѣкъ Бога съ лѣкаремъ спуталъ,—нестерпимо противно мнѣ. Зажалъ уши пальцами.

А когда отмолился онъ, то вынулъ изъ сумы своей ѣду и долго чавкалъ, подобно борову.

Множество я видѣлъ такихъ людей. Ночами они ползаютъ передъ Богомъ своимъ, а днемъ безжалостно ходятъ по грудямъ людей. Низвели они Бога на должность укрывателя мерзостей своихъ, подкупаютъ Его и торгуются съ Нимъ:

— Не забудь, Господи, сколько далъ я Тебѣ!

Слѣпые рабы жадности своей, возносятъ они ее выше себя, поклоняются безобразному идолу темной и трусливой души своей и молятся ему:

— Господи! да не яростію Твоею обличиши мене, ниже гнѣвомъ Твоимъ накажеши мене!

Ходятъ, ходятъ по землѣ, какъ шпіоны Бога своего и судьи людей; зорко видятъ всѣ нарушенія правилъ

церковныхъ; суетятся и мечутся, обличаютъ и жалуются:

— Гаснетъ вѣра въ людяхъ, увы намъ!

Одинъ мужчина особенно смѣшилъ меня ревностью своей—шли мы съ нимъ изъ Переяславля въ Ростовъ, и всю дорогу онъ кричалъ на меня:

— Гдѣ святой уставъ Ѳедора Студита?

Человѣкъ онъ былъ сытый, здоровый, чернобородъ и румянъ, деньжонки имѣлъ и на ночлегахъ съ бабами путался.

— Я,— говоритъ,— видя разрушеніе закона и развратъ людской, душевнаго покоя лишился; дѣло мое—кирпичный заводъ—бросилъ на руки сыновьямъ, и вотъ уже четыре года хожу, наблюдая вездѣ: ужасъ обуреваетъ душу мнѣ! Завелись мыши въ ризницѣ духовной, и распадаются подъ зубами ихъ крѣпкія ризы закона,—озлобляется народъ противъ церкви, отпадаетъ отъ груди ея въ мерзостныя ереси и секты,—а что противъ этого дѣлаетъ церковь, Бога ради воинствующая? Пріумножаетъ имущество и раститъ враговъ! Церковь должна жить въ нищетѣ, яко бѣдный Лазарь, дабы народишко-то видѣлъ, что воистину священна есть нищета, заповѣданная Христомъ; видѣлъ бы онъ это и не рыпался, не лѣзъ бы на чужое-то имущество! Какая иная задача у церкви? Держи народишко въ крѣпкой уздѣ—эко!

Мыслей своихъ законники эти, видя непрочность закона, скрывать не умѣютъ и безстыдно выдаютъ тайное свое.

На Святыхъ Горахъ купецъ одинъ—знаменитый путешественникъ, описывающій хожденія свои по святымъ мѣстамъ въ духовныхъ журналахъ—проповѣдывалъ народу страннему смиреніе, терпѣніе и кротость.

Горячо говорилъ, даже до слёзъ. И умоляетъ, и грозитъ, народъ же слушаетъ его молча, опустивъ головы.

Ввязался я въ рѣчь его, спрашиваю:

— А ежели явное беззаконіе—тоже терпѣть его?

— Терпи, милый! — кричитъ онъ. — Обязательно терпи! Самъ Исусъ Христосъ терпѣлъ, насъ и нашего спасенія ради!

— А какъ же,—молъ,—мученики и отцы церкви, Ивану Златоусту подобные,—не стѣснялись они, но обличали даже царей?

Ошалѣлъ онъ, просто неестественно загорѣлся, ногами топаетъ на меня.

— Что болтаешь, смутьянъ! Кого обличали-то? Язычниковъ!

— Развѣ,—молъ,—царица-то Евдоксія—язычница? А Иванъ Грозный?

— Не про то рѣчь! — кричитъ онъ и машетъ руками, какъ доброволецъ на пожарѣ.—Не о царяхъ говори, а о народѣ! Народъ—главное! Суемудрствуетъ онъ, страха въ немъ нѣтъ! Звѣрь онъ, церковь укрощать его должна—вотъ ея дѣло!

Но хотя и просто говорили они, а не понималъ я въ то время этой заботы о народѣ, хотя ясно чувствовалъ въ ней нѣкій страхъ; не понималъ, ибо, духовно слѣпъ, народа не видѣлъ.

Послѣ спора съ этимъ писателемъ, подошло ко мнѣ нѣсколько человѣкъ и говорятъ, какъ бы ничего добраго не ожидая отъ меня:

— Есть тутъ одинъ паренекъ,—не желаешь ли съ нимъ потолковать?

И во время вечерни устроили мнѣ на озерѣ въ лѣсу собесѣдованіе съ нѣкіимъ юношей. Былъ онъ темный какой-то, словно молніей опаленный; волосы коротко острижены, сухи и жестки; лицо—однѣ кости, и между ними жарко горятъ каріе глаза: кашляетъ парень непрерывно и весь трепещетъ. Смотритъ онъ на меня явно-враждебно и, задыхаясь, говоритъ:

— Сказали мнѣ про тебя люди сіи, что отрицаешь ты терпѣніе и кротость. Чего ради, объясни?

Не помню, что я тогда говорилъ и какъ спорилъ съ нимъ; помню только его измученное лицо и умирающій голосъ, когда онъ кричалъ мнѣ:

— Не для сей жизни мы, но — для будущей! Небо наша родина, ты это слышалъ?

Выдвинулся противъ него солдатъ хромой, потерявшій ногу въ текинской войнѣ, и говоритъ сурово:

— Мое слово, православные люди, таково: гдѣ меньше страха, тамъ и больше правды!

И, обращаясь къ юношѣ, сказалъ:

- Коли тебѣ страшно передъ смертью — это твое дѣло, но другихъ—не пугай! Мы и безъ тебя напуганы довольно! А ты, рыжеватый, говори!

Онъ скоро исчезъ, юноша этотъ, а народъ же—человѣкъ съ полсотни—остался, слушаютъ меня. Не знаю, чѣмъ я могъ въ ту пору вниманіе къ себѣ привлечь, но было мнѣ пріятно, что слушаютъ меня, и говорилъ я долго, въ сумракѣ среди высокихъ сосенъ и серьезныхъ людей.

И тогда, помню, слились для меня всѣ лица въ одно большое грустное лицо; задумчиво оно и упрямо показалось мнѣ, на словахъ—нѣмотно, но въ тайныхъ мысляхъ—дерзко, и въ сотнѣ глазъ его,—видѣлъ я,— неугасимо горитъ огонь, какъ бы родной душѣ моей.

Но потомъ стерлось это единое лицо многихъ изъ памяти моей, и только долгое время спустя понялъ я, что именно сосредоточенная на одной мысли воля народа возбуждаетъ въ хранителяхъ закона заботы о немъ и страхъ предъ нимъ. Пусть еще не народилась эта мысль и неуловима она, но уже оплодотворенъ духъ сомнѣніемъ въ незыблемости враждебнаго закона—вотъ откуда тревога законниковъ! Видятъ они этотъ упрямо спрашивающій взглядъ; видятъ — ходитъ народъ по землѣ тихъ и нѣмъ,—и уже чувствуютъ незримые лучи

мысли его, понимаютъ, что тайный огонь безмолвныхъ думъ превращаетъ въ пепелъ законы ихъ, и что возможенъ,—возможенъ!—иной законъ!

Чувствуютъ они это тонко, какъ воры сторожкое движеніе просыпающагося хозяина, домъ котораго грабили въ ночи, и знаютъ они, что, если народъ откроетъ глаза, перевернется жизнь вверхъ лицомъ къ небесамъ.

Нѣтъ Бога у людей, пока они живутъ разсѣянно и во враждѣ. Да и зачѣмъ онъ, Богъ живой, сытому? Сытый ищетъ только оправданія полноты желудка своего въ общемъ голодѣ людей.

Смѣшна и жалка его жизнь, одинокая и отовсюду окруженная вѣяніемъ ужасовъ.

Какъ-то разъ замѣчаю я: наблюдаетъ за мною нѣкій старичокъ—сѣденькій, маленькій и чистый, какъ голая кость. Глаза у него углубленные, словно чего-то устрашились; сухъ онъ весь, но крѣпокъ, подобно козленку, и быстръ на ногахъ. Всегда онъ жмется къ людямъ, всегда залѣзаетъ въ толпу,—бочкомъ живетъ,—и заглядываетъ въ лица людей, точно ищетъ знакомаго. Хочется ему чего-то отъ меня, а не смѣетъ спросить, и жалка мнѣ стала эта робость его.

Иду я въ Лубны, къ Аѳанасію-сидящему, а онъ, бѣлой палочкой шагъ размѣривая, безшумно стелется по дорогѣ вслѣдъ за мной.

Спрашиваю:

— Давно странствуешь, дѣдушка?

Обрадовался онъ, вскинулъ голову, хихикаетъ.

— Девять лѣтъ ужъ, милый, девять лѣтъ!

— Али,—молъ,—великъ грѣхъ несешь?

— Гдѣ,—говоритъ,—вѣсъ-мѣра грѣху установлена? Одинъ Господь знаетъ мои грѣхи!

— А все-таки, что надѣлалъ?

Смѣюсь я, и онъ улыбается.

— Да, будто, ничего! Жилъ вообще, какъ всѣ. Сибирскій я, изъ-подъ Тобольска, ямщикомъ въ моло-

дости былъ, а послѣ дворъ постоялый держалъ, трактиръ тоже... лавка была...

— Ограбилъ, что ли, кого?

Испугался дѣдъ.

— Зачѣмъ? Отъ этого Богъ спасъ... что ты!

— Я,—молъ,—шучу. Вижу—идетъ маленькій человѣкъ, думаю—куда ему большой грѣхъ сдѣлать!

Пріосанился старичокъ, тряхнулъ головкой.

— Душа-то, чай, у всѣхъ одной величины,— говоритъ,—и одинаково дьяволу любезна! А скажи мнѣ, какъ ты о смерти думаешь? Вотъ ты на ночлегѣ говорилъ все: „жизнь, жизнь", а какъ же, а гдѣ же смерть?

— Тутъ,—молъ,—гдѣ-нибудь!

Погрозилъ онъ мнѣ пальцемъ смѣшно таково и говоритъ:

— То-то и есть! Всегда она тутъ, да!

— Ну, такъ что?

— А—то!

И, поднимаясь на цыпочки, почти шепчетъ мнѣ въ ухо:

— Она—всесильна, вѣдь! Самъ Исусъ Христосъ не избѣгъ. Пронеси, говоритъ, мимо чашу эту, а Отецъ небесный и Его—не пронесъ, не могъ, однако! Сказано: смертушка придетъ—и солнышко умретъ, да!

Разговорился мой старичокъ, словно ручей съ горы побѣжалъ:

— Надо всѣмъ она вѣетъ, а человѣкъ въ родѣ какъ по жердочкѣ надъ пропастью идетъ; она крыломъ махъ! — и человѣка нѣтъ нигдѣ! О, Господи! „Силою Твоею да укрѣпится міръ", — а какъ ему укрѣпиться, ежели смерть поставлена превыше всего? Ты и разумомъ смѣлъ, и книгъ много съѣлъ, а живешь пока цѣлъ, да!

Смѣется онъ, а на глазахъ у него—слезы!

Что я ему объясню? Никогда я о смерти не думалъ, да и теперь мнѣ некогда.

А онъ подпрыгиваетъ, заглядывая мнѣ въ лицо

побѣлѣвшими глазами, бороденка у него трясется, лѣвую руку за пазуху спряталъ, и все оглядывается, словно ждетъ, что смерть изъ-за куста схватитъ за руку его, да и метнетъ во адъ. И я тоже удивленно поглядываю на него.

Вокругъ—жизнь кипитъ: земля покрыта изумрудной пѣной травъ, невидимо жаворонки поютъ, и все растетъ къ солнцу въ разноцвѣтныхъ яркихъ крикахъ радости.

— Какъ,—молъ,—ты дошелъ до такихъ мыслей? — спрашиваю я попутчика.—Хворалъ, что ли, сильно?

— Нѣтъ,—говоритъ, — я до сорока семи лѣтъ спокойно и довольно жилъ! А тутъ у меня жена померла, и сноха удавилась,—обѣ въ одинъ годъ пропали!

— А ты не самъ ли,—молъ,—сноху-то въ петлю загналъ?

— Нѣтъ,—говоритъ,—это она отъ распутства! Я ее не трогалъ, нѣтъ! Да ежели бы и жилъ я съ ней—это вдовому прощается: я—не попъ, а она—не чужая мнѣ! А я и при женѣ, какъ вдовый жилъ: четыре года хворала жена-то у меня, съ печи не слѣзая; умерла—такъ я даже перекрестился... слава Богу — свободенъ! Еще разъ жениться хотѣлъ, и вдругъ задумался: живу — хорошо, всѣмъ доволенъ, а надо умирать; это зачѣмъ же? Смутился! Сдалъ все сыну и—пошелъ вотъ! На ходу-то, думаю, не такъ замѣтно, что къ могилѣ идешь,—пестро все, мелькаетъ и какъ-будто въ сторону манитъ отъ кладбища. Однако—все равно!

Спрашиваю я его:

— Тяжело тебѣ, дѣдъ?

— Ой, милый, такъ-то ли страшно—и сказать не могу! Днемъ стараюсь на людяхъ держаться,—все какъ-будто и загородишься ими, смерть—слѣпа, авось не разглядитъ меня или ошибется, другого возьметъ! А вотъ ночью, когда всякій остается ничѣмъ не скрытъ, жутко безо сна лежать! Такъ тебѣ и кажется — вѣетъ надъ тобою черная рука, касается груди, ищетъ—тутъ ли ты?

Играетъ сердцемъ, какъ кошка мышью, а оно боится, а оно трепыхается... ой! Приподнимешься, огляне шься—вокругъ люди лежатъ, а встануть ли—неизвѣстно! Это бываетъ, она и гуртомъ беретъ: у насъ въ селѣ цѣлое семейство—мужъ, жена и двѣ дѣвоньки—въ банѣ отъ угара померли!

Губы у него трясутся, будто онъ улыбается, а изъ глазъ мелкія слезы текутъ.

— Еще кабы въ одночасье скончаться, али—во снѣ, а какъ нападетъ болѣзнь, да и начнетъ понемножку грызть!

Сморщился онъ, съёжился, сталъ на плѣсень похожъ; бѣжитъ, подпрыгиваетъ, глаза погасли, и тихонько бормочетъ, не то мнѣ, не то себѣ:

— Господи! Хоть бы комарикомъ пожить на землѣ! Не убій, Господи! Хоть бы клопикомъ, али малымъ паучкомъ!

— Эхъ ты, жалость!—думаю.

А на привалѣ, на людяхъ, — ожилъ и сейчасъ же опять о своей хозяйкѣ—о смерти—заговорилъ, бойко таково. Убѣждаетъ людей: умрете, дескать, исчезнете въ неизвѣстный вамъ день, въ невѣдомый часъ,—можетъ быть, черезъ три версты отъ этого мѣста громомъ васъ убьетъ.

На иныхъ—тоску наводитъ; другіе—сердятся, ругаютъ его, а одна бабочка молодая замѣтила:

— Туга мошна, вотъ и смерть тошна!

И такъ зло сказала она это, что замѣтилъ я ее, а старичокъ, смерти преданный, осѣкся.

Всю дорогу до Лубенъ утѣшалъ онъ меня и, воистину, до смерти надоѣлъ! Много видѣлъ я такихъ, кои отъ смерти бѣгаютъ, глупо играя въ прятки съ ней. Удрученные страхомъ и среди молодыхъ есть — эти еще гаже стариковъ, и всѣ они, конечно, безбожники. Въ душѣ у нихъ, какъ въ печной трубѣ, черно, и всегда тамъ страхъ посвистываетъ,—даже и въ тихую

погоду свиститъ. Мысли ихъ подобны старымъ богомолкамъ: топчутся по землѣ, идутъ, не зная куда, попираютъ слѣпо живое на пути, имя Божіе помнятъ, но любви къ Нему не имѣютъ и ничего не могутъ хотѣть. Только развѣ одно ихъ занимаетъ: внушить бы свой страхъ людямъ, чтобы люди приняли и приласкали ихъ, нищихъ.

Но они подходятъ къ людямъ не за тѣмъ, что жаждутъ вкусить меда, а чтобы излить въ чужую душу гнилой ядъ тлѣнія своего. Самолюбы они и великіе безстыдники въ ничтожествѣ своемъ; подобны они тѣмъ нищимъ уродамъ, кои во время крестныхъ ходовъ по краямъ дорогъ сидятъ, обнажая предъ людьми раны и язвы, и уродства свои, чтобы, возбудивъ жалость, мѣдную копейку получить.

Ходятъ они, пытаются всюду посѣять темныя сѣмена смятенія, стонутъ и желаютъ услышать отвѣтный стонъ, а вокругъ ихъ вздымается могучій валъ, валъ скромныхъ богоискателей, и разноцвѣтно пылаетъ горе человѣческое.

Вотъ хоть бы молодка эта, хохлушка, что замѣтила старику насчетъ тугой мошны. Молчитъ она, зубы сжаты, темное отъ загара лицо ея сердито, и въ глазахъ острый гнѣвъ. Спросишь ее о чемъ-нибудь — отвѣчаетъ рѣзко, точно ножомъ ткнетъ.

— Ты бы, милая,—говорю,—не чуралась меня, а сказала бы горе-то... Можетъ, легче будетъ тебѣ!

— Что вы хотите отъ меня?

— Да ничего не хочу, не бойся!

Вспыхнула она:

— Я и не боюсь, а противно мнѣ!

— Чѣмъ же я противенъ?

— А что пристаете? Я народъ покричу!

И такъ она всѣхъ брыкаетъ,—старыхъ, молодыхъ, и женщинъ тоже.

— Ты мнѣ не нужна,—говорю,—а нужно мнѣ горе твое, хочу я знать все, чѣмъ люди мучаются.

Сбоку поглядѣла на меня и отвѣчаетъ:

— До другихъ идите! Всѣ бѣдуютъ, будь они прокляты!

— За что же проклинать?

— А такъ я хочу!

Кажется она мнѣ похожей на кликушу.

— За кого же ты молиться идешь?—говорю.

Усмѣхнулась она всѣмъ лицомъ, пошла тише и говоритъ, какъ будто не мнѣ:

— Прошлой весной мужъ на Днѣпръ ушелъ, дрова сплавлять, и пропалъ! Можетъ—утонулъ, можетъ—другую жену нашелъ, кто знаетъ? Свекоръ и свекровь люди бѣдные, злые. Двое дѣтокъ у меня—мальчикъ да дѣвочка,—чѣмъ мнѣ ихъ кормить? Я же работала, переломиться готова была, а нѣтъ работы, да и что баба можетъ выработать? Свекоръ ругаетъ: „ты намъ съ дѣтьми твоими камень на шею, объѣла ты насъ, опила!“ А свекровь уговариваетъ: „ты же молодая, иди по монастырямъ, монахи до бабъ жадные, много денегъ наберешь“. Не могу я терпѣть голода дѣтокъ,—вотъ, хожу! Утопить ихъ, что ли? Вотъ и хожу!

Говоритъ, какъ во снѣ, сквозь зубы, невнятно, а глаза у нея кричатъ болью материнской.

— Сыночку уже четвертый годъ. Осипомъ зовутъ, а дочь Ганкой. Била я ихъ, когда они хлѣба просили, била! Я мѣсяцъ хожу—четыре рубля набрала. Монахи—жадные. Честно—больше заработала бы! О, дьяволы, дьяволы! Какою водой отмою себя?

Надо что-нибудь сказать ей, я и говорю:

— Ради дѣтей—Богъ тебя проститъ!

Какъ она взвоетъ!

— А что мнѣ въ томъ? Не виновата я Богу! Не проститъ—не надо; проститъ—сама не забуду, да! Въ аду—не хуже! Тамъ дѣтей не будетъ со мной!

- Эхъ,—думаю,—напрасно я ее растравилъ!

А она уже и остановиться не можетъ.

— Да и нѣтъ его, Бога для бѣдныхъ, нѣтъ! Когда мы за Зеленый Клинъ, на Амуръ рѣку, собирались,— какъ молебны служили и просили, и плакали о помощи,—помогъ Онъ намъ? Маялись тамъ три года, и, которые не погибли отъ лихорадки—воротились нищіе. И батька мой померъ, а матери по дорогѣ туда колесомъ ногу сломало, браты оба въ Сибири потерялись...

И лицо у нея окаменѣло. Хотя и суровая она, а такая серьезная, красивая, глаза темные, волосы густые. Всю ночь до утра говорили мы съ ней, сидя на опушкѣ лѣса сзади желѣзнодорожной будки, и вижу я,—все сердце у человѣка выгорѣло, даже и плакать не можетъ; только когда дѣтскіе годы свои вспоминала, то улыбнулась неохотно раза-два, и глаза ея мягче стали.

Думаю подъ рѣчь ея:

— Зарѣжетъ она, убьетъ кого-нибудь! Или жестокой блудницей станетъ—нѣтъ ей оборота никуда!

— Бога не вижу и людей не люблю! — говоритъ. Какіе это люди, если другъ-другу помочь не могутъ? Люди! Противъ сильнаго — овцы, противъ слабаго — волки! Но и волки стаями живутъ, а люди—всѣ врозь и другъ-другу враги! Ой, много я видѣла и вижу, погибнуть бы всѣмъ! Родятъ дѣтокъ, а растить не могутъ—хорошо это? Я вотъ—била своихъ, когда они хлѣба просили, била!

А наутро пошла она въ сторону отъ меня—продавать свое тѣло монахамъ—и, уходя, молвила злобно:

— Что же ты,—вмѣстѣ спали и сильнѣе ты меня, что же не попользовался даровымъ-то мясцомъ? Эхъ, ты!

Точно по щекамъ хлещетъ!

Я говорю ей:

— Напрасно ты обидѣла меня!

Потупилась она, а потомъ сказала:

— Хочется обидѣть человѣка, хочется даже и не виноватаго! Вонъ ты молодой еще, а высохъ весь, и уже сѣдые виски, — понимаю, что и ты горе носишь... А мнѣ—все равно! Никого уже не жалко. Прощай!

Ушла.

За шесть лѣтъ странствованій моихъ много видѣлъ я людей, озлобленныхъ горемъ: тлѣетъ въ нихъ неугасимая ненависть ко всему, и кромѣ зла—ничего не могутъ они видѣть. Видятъ злое и, словно въ жаркой банѣ, парятся въ немъ; какъ пьяницы вино—пьютъ желчь и хохочутъ, торжествуютъ.

— Наша правда: всюду зло, вездѣ несчастіе, нѣтъ мѣста человѣку внѣ его!

Впадаютъ въ дикое отчаяніе и, воспаленные имъ, развратничаютъ и всячески грязнятъ землю, какъ бы мстя ей за то, что родила она ихъ и должны они, рабы слабости своей, до дня смерти ползать безсильно по дорогамъ земли.

Возносятъ они горе до высоты Бога своего и поклоняются ему, не желая видѣть ничего, кромѣ язвъ своихъ, и не слышать иного, кромѣ стоновъ отчаянія.

Жалко ихъ, ибо они уже какъ безумные, но и противно душѣ съ ними, когда видишь, что во всякое лицо готовы они метнуть желчный свой плевокъ и солнце поганили бы плевками, если-бъ могли.

Другіе же задавлены горемъ, запуганы имъ, молчатъ, прячутся жизни, маленькіе и робкіе, но не могутъ укрыться и служатъ глиной въ рукѣ сильнаго—ими онъ замазываетъ щели въ стѣнахъ старой крѣпости своей.

Много лицъ и словъ врѣзалось въ память мою, великія слезы пролиты были предо мной, и не разъ бывалъ я оглушенъ страшнымъ смѣхомъ отчаянія; всѣ яды отвѣданы мною, пилъ я воды сотенъ рѣкъ. И не однажды самъ проливалъ горькія слезы безсилія.

Встала жизнь передо мной, какъ страшный бредъ и сонъ, какъ снѣжный вихрь тревожныхъ словъ и горячій дождь слезъ, неустанный крикъ отчаянія и мучительная судорога всей земли, болящей недоступнымъ разуму и сердцу моему стремленіемъ.

Стонетъ душа моя:

— Не то!

Мутно текутъ потоки горя по всѣмъ дорогамъ земли, и съ великимъ ужасомъ вижу я, что нѣтъ мѣста Богу въ этомъ хаосѣ разобщенія всѣхъ со всѣми; негдѣ проявиться силѣ Его, не на что опереться стопамъ,— изъѣденная червями горя и страха, злобы и отчаянія, жадности и безстыдства—разсыпается жизнь во прахъ, разрушаются люди, отъединенные другъ отъ друга и обезсиленные одиночествомъ.

Спрашиваю:

— Неужели Ты, дѣйствительно,—только сонъ души человѣческой и надежда, созданная отчаяніемъ въ темный часъ безсилія?

Вижу: у каждаго свой Богъ, и каждый Богъ не многимъ выше и красивѣе слуги и носителя своего. Давитъ это меня. Не Бога ищетъ человѣкъ, а забвенія скорби своей. Вытѣсняетъ горе отовсюду человѣка, и уходитъ онъ отъ себя самого, хочетъ избѣжать дѣянія, боится участія своего въ жизни и все ищетъ тихій уголъ, гдѣ бы скрыть себя. И уже чувствую въ людяхъ не святую тревогу богоисканія, но лишь страхъ предъ лицомъ жизни; не стремленіе къ радости о Господѣ, а заботу, какъ избыть печаль свою.

Кричитъ душа моя:

— Не то!

Бывало, видишь человѣка: онъ серьезно задумался, и хорошо, чисто горятъ его глаза... Встрѣтишь его разъ и два—все тотъ же, а на третій или четвертый разъ, смотришь—онъ озлобленъ или пьянъ, и уже не скроменъ, а нахаленъ, грубъ, богохульствуетъ.

И не понимаешь, отчего разорился человѣкъ, обо

что разбилъ себя? Всѣ какъ бы слѣпы и легко спотыкаются на пути; рѣдко слышишь живое одухотворенное слово; слишкомъ часто люди говорятъ по привычкѣ чужія слова, не понимая ни пользы, ни вреда мысли, заключенной въ нихъ.

Подбираютъ рѣчи блаженныхъ монаховъ, прорицанія отшельниковъ и схимниковъ, дѣлятся ими другъ съ другомъ, какъ дѣти черепками битой посуды въ играхъ своихъ. Наконецъ, вижу не людей, а обломки жизни разрушенной, — грязная пыль человѣческая носится по землѣ, и сметаетъ ее разными вѣтрами къ папертямъ церквей.

Безчисленно кружится народъ около мощей, чудотворныхъ иконъ, купается въ источникахъ — и всюду ищетъ только самозабвенія.

Подавляли меня крестные ходы,—чудотворныя иконы еще въ дѣтствѣ погибли для меня, жизнь въ монастырѣ окончательно разбила ихъ. Гляжу, бывало, какъ люди огромнымъ сѣрымъ червемъ ползутъ въ пыли дорожной, гонимые невѣдомой мнѣ силой, и возбужденно кричатъ другъ-другу:

— Прибавь шагу! Шагу!

А надъ ними, пригибая головы ихъ къ землѣ, плыветъ желтой птицей икона, и кажется, что тяжесть ея непомѣрно велика для всѣхъ.

Въ пыль и грязь, подъ ноги толпы, комьями падаютъ кликуши, бьются, какъ рыбы; слышенъ дикій визгъ—льются люди черезъ трепетное тѣло, топчутъ, пинаютъ его и кричатъ образу Матери Бога:

— Радуйся, Пресвятая!

Лица у всѣхъ искаженныя, одичалыя отъ напряженія, мокрыя отъ пота, черныя отъ грязи,—и весь этотъ ходъ толпы, безрадостное пѣніе усталыхъ голосовъ, глухой топотъ ногъ—обижаетъ землю, омрачаетъ небеса.

А по краямъ дороги, подъ деревьями. какъ двѣ

пестрыя ленты, тянутся нищіе: сидятъ и лежатъ больные, увѣчные, покрытые гнойными язвами, безрукіе, безногіе, слѣпые... Извиваются по землѣ истощенныя тѣла; дрожатъ въ воздухѣ уродливыя руки и ноги, простираясь къ людямъ, чтобы разбудить ихъ жалость. Стонутъ, воютъ нищіе, горятъ на солнцѣ ихъ раны; просятъ они и требуютъ именемъ Божіимъ копейки себѣ; много лицъ безъ глазъ, на иныхъ глаза горятъ какъ угли; неустанно грызетъ боль тѣла и кости, они подобны страшнымъ цвѣтамъ.

Видишь нѣкое гоненіе людей и враждебна мнѣ сила, коя влачитъ ихъ въ пыли и грязи,—куда?

— Не то!

Былъ въ дивномъ городѣ Кіевѣ, поражался красотою и величіемъ древняго гнѣзда русскаго.

Пробовалъ бесѣдовать съ однимъ монахомъ, — считался онъ умницей.

Говорю ему: такъ,—молъ,—и такъ, не могу понять законовъ, по которымъ строится жизнь людей.

— Кто таковъ?

— Крестьянинъ.

— Грамотенъ?

— Немного.

— Не по башкѣ шапка—грамота для васъ!—строго говоритъ онъ.

Вижу,—дѣйствительно,—умникъ.

— Штундистъ?—спрашиваетъ онъ.

— Нѣтъ.

— Ага! Духоборъ?

— Почему?

— По мыслямъ.

Лицо у него розоватое, какъ ветчина, а глаза маленькіе.

— Ежели,—говоритъ,—Бога ищешь ты, то, конечно, затѣмъ, чтобы низвергнуть его!

И грозитъ мнѣ пальцемъ:

— Знаю я васъ! А, вотъ, не желаешь ли прочитать сто разъ „Вѣрую“? Вотъ, прочитай-ко! И всѣ глупости твои исчезнутъ, яко дымъ. А вообще васъ бы, еретиковъ, въ Абиссинію надо ссылать, въ Африку, ко эѳіопамъ, да! Тамъ бы вы живо отъ жары передохли!

Спрашиваю я его:

— А вы были тамъ, въ Абиссиніи этой?

— Былъ,—говоритъ.

— А вотъ не издохли?

Разсердился монахъ.

Встрѣтилъ я надъ Днѣпромъ человѣка: сидитъ онъ на берегу противъ Лавры и камешки въ воду бросаетъ; лѣтъ пятьдесятъ ему, бородатый, лысый, лицо морщинами исчерчено, голова большая; я въ то время по глазамъ уже видѣлъ серьезныхъ людей,—подошелъ къ нему, сѣлъ рядомъ.

Вечеръ былъ. Торопливо катитъ воды свои мутный Днѣпръ, а за нимъ вся гора расцвѣла храмами: трепещетъ на солнцѣ кичливое золото церковныхъ главъ, сіяютъ кресты, даже стекла оконъ, какъ драгоцѣнные камни горятъ,—кажется, что земля разверзла нѣдра и съ гордой щедростью показываетъ солнцу сокровища свои.

А человѣкъ рядомъ со мною говоритъ негромко и печально:

— Закрыть бы всю Лавру стекломъ, монаховъ выгнать вонъ, и никого не пускать туда,—нѣтъ уже людей, достойныхъ ходить среди этой красоты!

Словно сказка, кѣмъ-то мудрымъ и великимъ разсказанная, застыла тамъ за рѣкой; прибѣгаютъ издалека волны Днѣпра и радостно плещутъ, видя ее, но не гаснетъ въ удивленномъ пѣніи рѣки тихій голосъ человѣка.

— Какъ сильно было начато, какъ могуче строено!

Какъ старый сонъ, вспоминаю я князя Владиміра.

Антонія, Ѳеодосія, богатырей русскихъ—и жалко мнѣ чего-то.

Громко и радостно звонятъ многочисленные колокола на томъ берегу, но слышнѣе для меня грустныя думы о жизни.

— Не помнимъ мы никто родства своего. Я, вотъ, пошелъ истинной вѣры поискать, а теперь думаю: гдѣ человѣкъ? Не вижу человѣка. Казаки, крестьяне, чиновники, попы, купцы,—а просто человѣка, не причастнаго къ ежедневнымъ и обыкновеннымъ дѣламъ—не нахожу. Каждый кому-нибудь служитъ, каждому кто-нибудь приказываетъ. Надъ начальникомъ еще начальникъ, и уходитъ все это изъ глазъ въ недостижимую высоту. А тамъ скрытъ Богъ.

Ночь идетъ; посинѣла вода въ рѣкѣ, и кресты на церквахъ потеряли лучи. Человѣкъ бросаетъ въ рѣку камешки, а я уже не вижу круговъ отъ нихъ.

— Въ третьемъ году, — говоритъ онъ,—у насъ въ Макопѣ бунтъ былъ по случаю чумы на скотѣ. Вызваны были драгуны противъ насъ, и христіане убивали христіанъ. Изъ-за скота! Много народу погублено было. Задумался я, какой же вѣры мы, русскіе, если изъ-за воловъ смерти другъ-друга предаемъ, когда Богомъ нашимъ сказано: не убій?

Уплываетъ Лавра во тьму, точно въ гору уходитъ, какъ видѣніе. Шаритъ казакъ руками по землѣ вокругъ себя—ищетъ камней, находитъ и мечетъ ихъ въ рѣку. Звенитъ вода.

— Такъ-то, человѣче!—говоритъ казакъ, опустивъ голову.—Господень законъ—духовное млеко, а до насъ доходитъ только сыворотка. Сказано: „чистіи сердцемъ Бога узрятъ“—а развѣ оно, сердце твое, можетъ чисто быть, если ты не своей волей живешь? А коли нѣтъ у тебя свободной воли, стало быть, нѣтъ и вѣры истинной, а только одна выдумка.

Всталъ онъ, отряхнулся, посмотрѣлъ вокругъ, коренастый такой.

— Не свободны мы для Бога, вотъ что, думаю я!

Приподнялъ картузъ и пошелъ, а я остался, какъ пришитъ къ землѣ. Хочу овладѣть словами казака—не умѣю, а чувствую—есть въ нихъ правда.

Ласкаетъ меня южная темная ночь, а я думаю:

— Неужели только въ тоскѣ красота души человѣческой? Гдѣ тотъ стержень, вокругъ котораго вьется вихрь человѣковъ? Гдѣ смыслъ суеты этой?

Къ зимѣ я всегда старался продвинуться на югъ, гдѣ потеплѣй, а если меня на сѣверѣ снѣгъ и холодъ заставалъ, тогда я ходилъ по монастырямъ. Сначала, конечно, косятся монахи, но покажешь себя въ работѣ—и они станутъ ласковѣе,—пріятно имъ, когда человѣкъ хорошо работаетъ, а денегъ не беретъ. Ноги отдыхаютъ, а руки да голова работаютъ. Вспоминаешь все, что видѣлъ за лѣто, хочешь выжать изъ этого бремени чистую пищу душѣ,—взвѣшиваешь, разбираешь, хочешь понять, что къ чему, и запутаешься, бывало, во всемъ этомъ до слезъ.

Чувствую, пресытился я стонами и скорбью земли, и блекнетъ дерзость духа моего; становлюсь я угрюмъ, молчаливъ, растетъ во мнѣ озлобленіе на все и на всѣхъ. Временами охватывало меня темное уныніе: по недѣлямъ жилъ я, какъ сонный или слѣпой,—ничего не хочется, ничего не вижу. Сталъ думать: а не бросить ли мнѣ это хожденіе, да и жить, какъ всѣ, не загадывая загадокъ себѣ, смирно подчиняясь не мною установленному? День для меня теменъ, какъ и ночь, и одинокъ я на землѣ, словно мѣсяцъ въ небѣ, а освѣтить ничего не могу. Иной разъ какъ будто отойдешь въ сторону отъ себя и видишь: вотъ стоитъ на распутьи здоровый парень и всѣмъ онъ чужой, ничто ему не нравится, никому онъ не вѣритъ. Зачѣмъ онъ живетъ? Почему онъ отколотъ отъ міра?

И охладѣла душа...

Заходилъ я также въ женскіе монастыри—на недѣлю, на двѣ—и въ одномъ изъ нихъ, на Волгѣ, порубилъ себѣ ногу топоромъ, когда кололъ дрова. Лѣчитъ меня мать Феоктиста, добрая такая старушка; монастырекъ небольшой, но богатый; сестры все такія сытыя, важныя. Злятъ онѣ меня слащавостью своей, паточными улыбочками, жирными зобами.

Стою однажды за всенощной и слышу—клирошанка одна дивно поетъ. Дѣвица высокая, лицо разгорѣлось, глаза черные, строгіе, губы яркія, голосъ большой и смѣлый,—поетъ она, точно спрашиваетъ, и чудится мнѣ въ этомъ голосѣ злая слеза.

Подживала нога у меня, собирался я уходить, и уже могъ работать. Вотъ, однажды, чищу дорожки, отгребая снѣгъ, идетъ эта клирошанка, тихо идетъ и—какъ застывшая. Въ правой рукѣ, ко груди прижатой, четки, лѣвая плетью вдоль тѣла повисла; губы закушены, брови нахмурены, лицо блѣдное. Поклонился я ей, дернула головой кверху и взглянула на меня такъ, словно я ей великое зло однажды сдѣлалъ.

Раззадорила она этимъ меня, да и не уважалъ я этихъ молодыхъ монахинь.

— Что,—говорю,—дѣвица, не легко, видно, жить?

Пріостановилась она, вспыхнула.

— Какъ ты сказалъ?—говоритъ.

— Трудно,—молъ,—себя одолѣть?

А она мнѣ на это вдругъ и скажи, тихонько и со злобой:

— У, дьяволъ!

И быстро ушла, черная, какъ обрывокъ тучи въ вѣтреный день.

Объяснить, зачѣмъ я это ей сказалъ, не умѣю: въ ту пору все чаще вспыхивали у меня такія мысли,—вспыхнетъ да и вылетитъ искрой въ глазъ кому-нибудь. Казалось мнѣ, что всѣ люди лгутъ, притворяются.

Черезъ нѣкоторое время на другой дорожкѣ снова вижу ее. И еще больше взяло меня зло: чего она тутъ закуталась въ черное, отъ чего прячется? Поравнялась она со мной, а я и говорю:

— Хочешь бѣжать отсюда?

Вздрогнула дѣвица, голову вскинула, вытянулась вся, какъ стрѣла; я думалъ она, закричитъ.

Но идетъ мимо, и слышу я неожиданный отвѣтъ:

— Вечеромъ скажу.

Меня оторопь взяла; подумалъ бы, что ослышался, да она хоть и тихо сказала, но какъ въ колоколъ ударила. И хотя смѣшно мнѣ, а смутился я, но потомъ успокоилъ себя, подумавъ, что озорничаетъ эта дерзкая.

Когда я разрубилъ ногу, отвели меня въ гостинницу, положили въ маленькой комнаткѣ подъ лѣстницей, да такъ и остался я въ ней жить.

Вечеромъ того дня лежу я на койкѣ и думаю, что надо мнѣ кончить бродяжью жизнь,—пойду въ какой-нибудь городъ и буду работать въ хлѣбопекарнѣ. О дѣвицѣ не хотѣлось думать.

Вдругъ тихонько стучатъ... Вскочилъ, отперъ—монахиня-старушка кланяется и говоритъ:

— Пожалуйте!

Понялъ — куда; ничего не спрашиваю, иду и грожусь:

— Вотъ какъ? Такъ я-жъ тебѣ, милая, душу-то встряхну!

Переходами да коридорами дошли мы до мѣста, открыла старуха дверь, толкнула меня впередъ, и шепчетъ:

— Я потомъ провожу...

Вспыхнула спичка, въ темнотѣ освѣтила знакомое лицо, слышу голосъ:

— Заприте дверь.

Заперъ. Нащупалъ печь, прислонился къ ней, спрашиваю:

— Огня—не будетъ?

Хихикнула дѣвица тихонько.

— Какого огня?—говоритъ.

— Ахъ ты,—думаю,—дрянь!

И молчу. Дѣвицу едва вижу, — во тьмѣ она, какъ темная туча ночью на облачномъ небѣ.

— Что же вы молчите? — спрашиваетъ она. Голосъ хозяйскій.

— Видно, богатая,—соображаю, и говорю:

— За вами слово!

— Вы это серьезно говорили, чтобы бѣжать?

Подумалъ я, какъ язвительнѣе отвѣтить, сей и, не сразу, спокойно отвѣчаю, подлецъ:

— Нѣтъ,—молъ,—я это благочестіе ваше пыталъ.

Снова она спичку зажгла, вспыхнуло ея лицо, черные глаза смотрятъ дерзко. Жутко немного стало мнѣ. Присмотрѣлся къ темнотѣ, увидалъ, что стоитъ она, высокая и черная, среди комнаты и—странно прямо стоитъ.

— Благочестіе мое, — шепчетъ горячо, — пытать не зачѣмъ, не для этого вы сюда позваны, а коли не понимаете—уходите вонъ...

Грубъ ея шопотъ, и не баловство слышу я въ немъ, а что-то серьезное. Въ стѣнѣ предо мною окно, какъ бы во глубину ночи ходъ прорубленъ,—непріятно видѣть его. Нехорошо мнѣ, чувствую, что въ чемъ-то ошибся, и все больше жутко, даже и ноги дрожатъ у меня. А она говоритъ:

— Бѣжать мнѣ некуда, я сюда дядей насильно отдана... жить здѣсь нѣтъ у меня терпѣнія, удавлюсь...

И замолчала, какъ въ яму сорвалась.

Совсѣмъ потерялся я, а она подвигается все ближе ко мнѣ и дышитъ тяжко.

— Чего же вы хотите?—говорю.

Вотъ она вплоть подошла; рука ея у меня на плечѣ—

дрожитъ рука, и я тоже вздрагиваю, гнутся колѣни и тьма въ горло мнѣ лѣзетъ, душить меня.

— Можетъ, кликуша?—думаю.

А она начала уже всхлипывать и шепчетъ, горячо дышитъ мнѣ въ лицо:

— Родила я сыночка — отняли его у меня, а меня загнали сюда и не могу я здѣсь быть! Они говорятъ— померъ ребеночекъ мой; дядя-то съ теткой говорятъ, опекуны мои. Можетъ, они убили, подкинули его, ты подумай-ко, добрый ты мой! Мнѣ еще два года во власти у нихъ быть до законнаго возраста, а здѣсь я не могу!

Такъ ее всю сподымя и бьетъ; чувствую я — виноватъ предъ ней, жалко ее, но и боязно, похожа она на полоумную, вѣрю ей и нѣтъ.

А она шепчетъ, захлебываясь:

— Ребеночка хочу... Какъ беременна-то буду, выгонятъ меня! Нужно мнѣ младенца; если первый померъ— другого хочу родить, и ужъ не позволю отнять его, ограбить душу мою! Милости и помощи прошу я, добрый человѣкъ: помоги силой твоей, вороти мнѣ отнятое у меня... Повѣрь, Христа ради,—мать я, а не блудница, не грѣха хочу, а сына; не забавы—рожденія!

Былъ я какъ во снѣ. Повѣрилъ ей,—нельзя не повѣрить, коли женщина такъ встаетъ за право свое, что призываетъ незнакомаго ей и прямо говоритъ:

— Запрещаютъ мнѣ человѣка родить—помоги!

И вспомнилъ я невѣдомую мнѣ мать мою: можетъ, и она вотъ такъ же силой своей женской брошена была во власть отца моего? Обнялъ я ее, говорю:

— Прости меня, скверно я подумалъ о тебѣ... Ради Божьей Матери—прости!

Но когда, въ самозабвеніи оба, совершили мы съ нею святое брачное таинство, снова смутила меня лукавая мысль.

— А какъ обманула она и не съ первымъ со мною это творитъ?

Разсказываетъ она мнѣ жизнь свою: дочь слесаря, дядя у нея помощникъ машиниста, пьяный и суровый человѣкъ. Лѣтомъ онъ на пароходѣ, зимою въ затонѣ, а ей негдѣ жить. Отецъ съ матерью потонули во время пожара на самолетскомъ пароходѣ; тринадцати лѣтъ осталась сиротой, а въ семнадцать родила отъ какого-то барченка. Льется ея тихій голосъ въ душу мнѣ, рука ея теплая на шеѣ у меня, голова на плечѣ моемъ лежитъ; слушаю я, а сердце сосетъ подлый червякъ—сомнѣваюсь.

Забыли мы, что женщина Христа родила и на Голгоѳу покорно проводила его; забыли, что она мать всѣхъ святыхъ и прекрасныхъ людей прошлаго—и въ подлой жадности нашей потеряли цѣну женщинѣ, обращаемъ ее въ утѣху для себя, да въ домашнее животное для работы; оттого она и не родитъ больше спасителей жизни, а только уродцевъ сѣетъ въ ней, плодя слабость нашу.

Разсказываетъ про монастырь, слышу: не одна она насильно въ немъ живетъ. И вдругъ говоритъ, ласкаясь ко мнѣ:

— У меня здѣсь подружка—хорошая дѣвица, чистая, богатой семьи... ой, какъ трудно ей, зналъ бы ты! Вотъ и ей бы тоже забеременѣть: когда ее выгонятъ за это—она бы къ матери крестной ушла.

— Господи!—думаю я.—Вотъ несчастныя...

И еще разъ хрустнула вѣра моя во всевѣдѣніе Божіе и въ справедливость законовъ,—развѣ можно такъ ставить человѣка ради торжества закона?

А Христина тихонько шепчетъ на ухо мнѣ:

— Кабы ты и съ нею такъ же могъ...

Убила она меня этими словами, хоть ноги ей цѣлуй! Ибо—понимаю я, что такъ можетъ сказать только женщина чистая, цѣну материнства чувствующая. Со-

знался я въ сомнѣніяхъ своихъ предъ нею; оттолкнула она меня и тихонько заплакала во тьмѣ, а я уже и утѣшать ее не смѣю.

— Думаешь, не стыдно мнѣ было позвать тебя?— говоритъ она, упрекая.—Этакой красивой и здоровой— легко мнѣ у мужчины ласку, какъ милостыню, просить? Почему я подошла къ тебѣ? Вижу, человѣкъ строгій, глаза серьезные, говоритъ мало и къ молодымъ монахинямъ не лѣзетъ. На вискахъ у тебя волосъ сѣдой. А еще, не знаю почему, показался ты мнѣ добрымъ, хорошимъ. И когда ты мнѣ злобно такъ первое слово сказалъ — плакала я; ошиблась, думаю. А потомъ, все-таки, рѣшила, Господи, благослови!—и позвала.

— Прости меня,—говорю.

Поцѣловала.

— Богъ проститъ!

Тутъ старушка стучитъ въ дверь, шепчетъ:

— Расходитесь, къ заутрени ударятъ сейчасъ.

И, когда провожала меня переходами, говоритъ:

— Вы бы дали рубликъ мнѣ!

Едва я не зашибъ ее.

Дѣнъ пять прожилъ я съ Христей, а больше невозможно было: стали клирошанки и послушницы сильно приставать, да и хотѣлось мнѣ побыть одному, одумать этотъ случай. Какъ можно запрещать женщинѣ родить дѣтей, если такова воля ея и если дѣти всегда были, есть и будутъ началомъ новой жизни, носителями новыхъ силъ?

Было и еще одно, чего долженъ я былъ избѣжать; показала мнѣ Христя подругу свою: тоненькая дѣвочка, бѣлокурая и голубоглазая, похожа на Ольгу мою. Личико чистое, и съ великой грустью смотритъ она на все. Потянуло меня къ ней, а Христя все уговариваетъ. Для меня же тутъ дѣло иначе стояло: вѣдь Христина не дѣвушка, а Юлія невинна, стало быть, и мужъ ея долженъ быть таковъ. И не имѣлъ я вѣры въ себя,

не зналъ, кто я такой; съ Христей это мнѣ не мѣшало, а съ той—могло помѣшать; почему—не знаю, но могло.

Простился я съ Христей; всплакнула она немного, просила писать ей, хотѣла извѣстить, когда забеременѣетъ и тайный адресокъ дала. Вскорѣ послѣ разлуки написалъ я ей—отвѣтила хорошимъ письмомъ; еще написалъ—молчитъ. И уже года черезъ полтора, въ Задоньѣ, получилъ я ея письмо—долго оно лежало на почтѣ. Въ томъ письмѣ извѣщала она, что родился у нея ребенокъ, сынъ, Матвѣй, веселъ и здоровъ, и что живетъ она у тетки, а дядя померъ, опился. Теперь, пишетъ, я сама себѣ госпожа, и коли ты придешь—былъ бы принятъ съ радостью. Захотѣлось мнѣ сына увидать и случайную жену мою, но въ то время выходилъ я на вѣрную дорогу и—отказалъ ей: не могу,—молъ,—послѣ приду.

А послѣ она замужъ за торговца книгами и картинами вышла, и въ Рыбинскъ уѣхала жить.

Первый разъ въ Христинѣ увидалъ я человѣка, который не носитъ страха въ своей душѣ и готовъ бороться за себя всей силой. Но тогда не оцѣнилъ этой черты по великой цѣнѣ ея.

Послѣ случая съ Христиной пробовалъ я работать въ городѣ, да не по недугу оказалось это мнѣ, тѣсно и душно. Народъ мастеровой не нравится наготою души своей и открытой манерой отдавать себя во власть хозяину: каждый всѣмъ своимъ поведеніемъ какъ бы кричитъ:

— На-те, вотъ, жрите тѣло мое, пейте кровь, некуда мнѣ дѣваться на землѣ!

Тоскливо съ ними: пьютъ они, ругаются между собою зря, поютъ заунывныя пѣсни, горятъ въ работѣ день и ночь, а хозяева грѣютъ свой жиръ около нихъ. Въ пекарнѣ тѣсно, грязно, спятъ люди, какъ собаки; водка да развратъ—вся радость для нихъ. Заговорю я о неустройствѣ жизни—ничего, слушаютъ, грустятъ,

соглашаются; скажу: Бога,—молъ,—надо намъ искать!—вздыхаютъ они, но не прочно пристаютъ къ нимъ мои слова. Иногда вдругъ начнутъ издѣваться надо мной, непонятно, почему. А издѣваются зло.

Городовъ я не любилъ. Жадный шумъ ихъ и эта безшабашная торговля всѣмъ—несносны были мнѣ; обалдѣвшіе отъ суеты люди города—чужды. Кабаковъ—избытокъ, церкви—лишнія, построены горы домовъ, а жить тѣсно; людей много и всѣ—не для себя: каждый привязанъ къ дѣлу и, видимо, всю жизнь бѣгаетъ по одной линіи, какъ песъ на цѣпи.

Во всѣхъ звукахъ — утомленіе слышу; даже звонъ колокольный безнадежно звучитъ, и всей душой моей чувствую я—не такъ все сдѣлано, не то!

Иной разъ самъ надъ собой смѣюсь: ишь, какой уставщикъ живетъ! Но хоть и смѣшно, да не радостно: вижу я только ошибку во всемъ, недоступна она разуму моему и тѣмъ больше тяготитъ. Иду ко дну.

По ночамъ вспоминаю свою вольную жизнь и особенно четко—ночлеги въ поляхъ.

Въ поляхъ земля кругла, понятна, любезна сердцу. Лежишь, бывало, на ней, какъ на ладони, малъ и простъ, словно ребенокъ, теплымъ сумракомъ одѣтый, звѣзднымъ небомъ покрытъ, и плывешь вмѣстѣ съ ней мимо звѣздъ.

Насыщается усталое тѣло крѣпкимъ дыханіемъ травъ и цвѣтовъ; кажется тебѣ, что ты въ люлькѣ лежишь, и невидимая рука тихо качаетъ ее, усыпляя тебя...

Тѣни плаваютъ, задѣваютъ стебли травъ; шорохъ и шопотъ вокругъ; гдѣ-то суслякъ вылѣзъ изъ норы и тихо свиститъ. Далеко на краю земли кто-то темный встанетъ, — можетъ, лошадь въ ночномъ,—постоитъ и растаетъ въ морѣ теплой тьмы. И снова возникаетъ, уже въ иномъ мѣстѣ, иной формы... Такъ всю ночь безшумно двигаются по полямъ нѣмые сторожа зем-

ного сна, ласковыя тѣни лѣтнихъ ночей. Чувствуешь, что около тебя на всемъ кругѣ земномъ притаилась жизнь, отдыхая въ чуткомъ полуснѣ, и совѣстно, что тѣломъ твоимъ ты примялъ траву.

Ночная птица безшумно летитъ, ожилъ, оторвался кусокъ земли и, окрыленъ своимъ желаніемъ, несется исполнить его.

Мыши шуршатъ... Иной разъ по рукѣ у тебя быстро перекатится маленькій мягкій комокъ,—вздрогнешь и еще глубже чувствуешь обиліе живого, и сама земля оживетъ подъ тобой, сочная, близкая, родная тебѣ.

И слышишь, какъ она дышитъ, хочешь догадаться, какой сонъ видится ей, и какія силы тайно зрѣютъ въ глубинѣ ея, какъ она завтра взглянетъ на солнце, чѣмъ обрадуетъ его, красавица, любимая имъ.

Словно таешь, прислонясь ко груди ея, и растетъ твое тѣло, питаясь теплымъ и пахучимъ сокомъ милой матери твоей; видишь себя неотрывно, навѣки, земнымъ и благодарно думаешь:

— Родная моя!

Струится отъ земли невидимый потокъ добрыхъ силъ, текутъ по воздуху ручьи пряныхъ запаховъ—земля подобна кадилу въ небесахъ, а ты уголь и ладанъ кадила.

Торопливо горятъ звѣзды, чтобы до восхода солнца показать всю красоту свою; опьяняетъ, ласкаетъ тебя любовь и сонъ, и сквозь душу твою жарко проходитъ свѣтлый лучъ надежды: гдѣ-то есть прекрасный Богъ!

— „Ищите и обрящете“—хорошо это сказано, и не надо забывать этихъ словъ, ибо это слова поистинѣ достойныя разума человѣческаго.

Какъ только заглянула въ городъ весна, ушелъ я, рѣшивъ сходить въ Сибирь,—хвалили мнѣ этотъ край,—а по дорогѣ туда остановилъ меня человѣкъ, на всю жизнь окрылившій душу мою, указавъ мнѣ вѣрный къ Богу путь.

Встрѣтилъ я его на пути изъ Перми въ Верхотурье.

Лежу у опушки лѣсной, костеръ развелъ, воду для чая кипячу. Полдень, жара, воздухъ, смолами древесными напоенный, маслянъ и густъ—дышать тяжело. Даже птицамъ жарко—забились въ глубь лѣса и поютъ тамъ, весело строя жизнь свою. На опушкѣ тихо. Кажется, что скоро растаетъ все подъ солнцемъ и разноцвѣтно потекутъ по землѣ густыми потоками деревья, камни, обомлѣвшее тѣло мое.

Вдругъ съ Пермской стороны идетъ человѣкъ и поетъ высокимъ дрожащимъ голосомъ. Приподнялъ я голову, слушаю, и вижу: странникъ шагаетъ, маленькій, въ бѣломъ подрясникѣ, чайникъ у пояса, за спиною ранецъ изъ телячьей кожи и котелокъ. Идетъ онъ бойко, еще издали киваетъ мнѣ головой, ухмыляется. Самый обыкновенный странникъ, много такихъ, и вредный это народъ: странничество для нихъ сытое ремесло, невѣжды они, невѣгласы, врутъ всегда свирѣпо, пьяницы, и украсть не прочь. Не любилъ я ихъ на всю силу души.

Подошелъ, снялъ скуфейку, тряхнулъ головой, косичка у него смѣшно подпрыгнула—и заболталъ, какъ скворецъ:

— Миръ ти, человѣче! Вотъ такъ жара—на двадцать два градуса жарче, чѣмъ въ аду!

— Давно ли оттуда?—спрашиваю.

— Шестьсотъ лѣтъ прошло!

Голосъ у него бодрый, веселый, головка маленькая, лобъ высокій; лицо, какъ паутиной, тонкими морщинами покрыто; бородка чистая такая, сѣденькая, а каріе глазки, словно у молодого, золотомъ сверкаютъ.

— Вотъ,—думаю,—забавная жулябія!

А онъ все говоритъ:

— Ну, Уралъ!.. Эка красота! Великъ мастеръ Господь

по украшенію земли: лѣса, рѣки, горы хорошо положилъ!

Снимаетъ съ себя дорожный приборъ, вертится живо, козловато; увидалъ, что мой чайникъ вскипѣлъ, сейчасъ снялъ его и спрашиваетъ, какъ старый товарищъ:

— Своего чаю засыпать, али твой будемъ пить?

Я не успѣлъ отвѣтить, а онъ уже рѣшилъ:

— Давай моего попьемъ,—хорошій чай у меня, купчиха одна подарила, дорогой чай!

Усмѣхнулся я:

— А и козловать же,—молъ,—ты!

— Это что!—говоритъ.—Меня жарой разморило, а вотъ, погоди, отдохну, такъ я те морщины-то выглажу!

Есть въ немъ что-то, напоминающее Савелку, и хочется мнѣ съ нимъ шутить.

Но, можетъ быть, уже черезъ пять минутъ, я уже слушалъ, разиня ротъ, его рѣчь, странно-знакомую и неслышанную мной, слушаю—и какъ будто не онъ, а сердце мое радости солнечныхъ дней поетъ.

— Гляди... Это ли не праздникъ и не рай? Торжественно вздымаются горы къ солнцу и восходятъ лѣса на вершины горъ; малая былинка изъ-подъ ногъ твоихъ окрыленно возносится къ свѣту жизни, и все поетъ псалмы радости, а ты, человѣкъ, ты—хозяинъ земли, чего угрюмъ сидишь?

— Что за невѣдомая птица?—спрашиваю я себя и говорю ему испытующе:

— А если думы одолѣли нерадостныя?

Указываетъ онъ на землю;

— Это что?

— Земля.

— Нѣтъ! Выше гляди!

— Трава, что ли?

— Еще выше!

— Ну, тѣнь моя!

— Тѣнь тѣла твоего, — говоритъ, — а думы — тѣнь твоей души! Чего боишься?

— Я ничего не боюсь.

— Врешь! Кабы не боялся, были бы думы твои бодры. Печаль рождается страхомъ, а страхъ отъ маловѣрія. Такъ-то! Пей чай!

Наливаетъ чай по кружкамъ и непрерывно говоритъ:

— Будто видѣлъ я тебя уже, а? Ты на Валаамѣ былъ?

— Былъ.

— Когда? Значитъ—не тамъ! А мнѣ показалось, что тамъ видѣлъ я тебя, рыжаго. Примѣтное лицо. Да!.. Это я въ Соловкахъ видѣлъ тебя!

— А въ Соловкахъ не былъ я.

— Не былъ? Напрасно! Древенъ монастырь и великой красоты. Сходи!

— Значитъ, не видалъ ты меня!—говорю, и почему-то обидно мнѣ, что это такъ.

— Эка важность! — восклицаетъ онъ. — Раньше не видалъ—теперь вижу! А тогда, значитъ, былъ другой, но похожъ на тебя. Не все ли равно?

Засмѣялся я.

— Какъ же,—молъ,—все равно?

— А почему нѣтъ?

— Да вѣдь я—это я, а другой—другой!

— А ты его лучше?

— Не знаю.

— И я не знаю!

Смотрю я на него и овладѣваетъ мною нетерпѣніе: хочется, чтобы онъ говорилъ и говорилъ безъ конца. Онъ же, прихлебывая чай, торопливо вспоминаетъ:

— Да, вѣдь тотъ былъ кривой, чѣмъ и смущался весьма. Всѣ эти кривые, хромые,—снаружи и внутри,—самолюбы неестественные! Я, дескать, кривъ, али тамъ, я-де хромъ, но вы, люди, не смѣйте замѣчать это за

мной. Вотъ и этотъ таковъ. Говоритъ онъ мнѣ: „всѣ люди сволочи; видятъ они, что у меня одинъ глазъ и говорятъ мнѣ: ты кривой. А потому они—мерзавцы!“ Я ему говорю: ты, миленькій, самъ сволочь и мерзавецъ, коли не дуракъ—выбирай, что слаще! Ты, молъ, пойми: не то важно, какъ люди на тебя смотрятъ, а то, какъ ты самъ видишь ихъ. Оттого мы, другъ, и кривы, и слѣпы, что все на людей смотримъ, темнаго въ нихъ ищемъ, да въ чужой тьмѣ и гасимъ свой свѣтъ. А ты своимъ свѣтомъ освѣти чужую тьму—и все тебѣ будетъ пріятно. Не видитъ человѣкъ добра ни въ комъ, кромѣ себя, и потому весь міръ горестная пустыня для него.

Посмѣивается онъ, глядя на меня, а я слушаю его, точно заплутавшійся ночью въ лѣсу дальній благовѣстъ, и боюсь ошибиться—не сова ли кричитъ вдали? Понимаю, что много онъ видѣлъ, многое помирилъ въ себѣ, но, кажется мнѣ, отрицаетъ онъ меня, непонятно шутя надо мною, смѣются его молодые глаза. Послѣ встрѣчи съ Антоніемъ трудно было вѣрить улыбкѣ человѣка.

Спросилъ я его, кто онъ.

— Зовутъ,—говоритъ,—Іегудіилъ, людямъ веселый скоморохъ, а себѣ самому—милый другъ!

— Изъ духовныхъ?

— Былъ попомъ недолго, да разстригли и въ Суздаль-монастырѣ шесть лѣтъ сидѣлъ! За что, спрашиваешь? А говорилъ я въ церкви народушкѣ проповѣди, онъ же, по простотѣ души, круто понялъ меня. Его за это пороть, меня—судить, тѣмъ дѣло и кончилось. О чемъ проповѣди? Ужъ не помню. Было это давненько, восемнадцать лѣтъ тому назадъ—можно и забыть. Разными мыслями я жилъ, и всѣ онѣ не ко двору приходились.

Смѣется—въ каждой морщинѣ лица его смѣхъ играетъ, а смотритъ онъ вокругъ такъ словно всѣ горы и лѣса имъ устроены.

Когда посвѣжѣло, пошли мы съ нимъ дальше и дорогой спрашиваетъ онъ меня:

— А ты—изъ какихъ?

Снова, какъ тогда предъ Антоніемъ, захотѣлось мнѣ поставить всѣ прошлые дни въ рядъ предъ глазами моими, и посмотрѣть еще разъ на пестрыя лица ихъ. Говорю я о дѣтствѣ своемъ, о Ларіонѣ и Савельѣ,— хохочетъ старикъ и кричитъ:

— Ахъ, милые люди! Ай, шуты Божіи, а? Это, милый, настоящіе, это—русской земли цвѣты. Ахъ, боголюбы.

Не понимаю я этихъ похвалъ, и странно мнѣ видѣть радость его, а онъ—отъ смѣха даже идти не можетъ; остановится, голову вверхъ закинетъ и звенитъ, покрикиваетъ прямо въ небо, словно у него тамъ добрый другъ живетъ и онъ дѣлится съ нимъ радостью своей.

Ласково говорю:

— Ты нѣсколько похожъ на Савелку.

— Похожъ?—кричитъ.—Это, братъ, весьма хорошо, коли похожъ! Эхъ, милый, кабы нашего брата, живого человѣка, да не извела въ давнее время православная церковь—не то бы теперь было въ русской землѣ!

Темна его рѣчь.

Про Титова говорю, а онъ какъ будто видитъ тестя моего, издѣвается надъ нимъ.

— Ишь ты! Видалъ я такихъ, видалъ! Жаденъ клопикъ, глупъ и трусливъ...

А когда выслушалъ мой разсказъ объ Антоніи, задумался немного, потомъ говоритъ:

— Та-акъ! Ѳома. Ну—не всякъ Ѳома отъ большого ума, иной Ѳома просто глупость сама!

И, отмахиваясь отъ шмеля, убѣждаетъ его:

— Пошелъ, пошелъ прочь! Экій неуклюжій—лѣзетъ прямо въ глаза... ну тебя!

Ловлю я его слова внимательно, ничего не пропуская: кажется мнѣ, что всѣ они большой мысли дѣти

Говорю, какъ на исповѣди; только иногда, Бога коснувшись, запнусь: страшновато мнѣ, да и жалко чего-то. Потускнѣлъ за это время ликъ Божій въ душѣ моей, хочу я очистить его отъ копоти дней, но вижу, что стираю до пустого мѣста, и сердце жутко вздрагиваетъ.

А старикъ, кивая головой, ободряетъ:

— Ничего, не бойся! Умолчишь—себѣ солжешь, а не мнѣ. Говори, говори! Своего не жалѣй: изломаешь—новое сдѣлаешь!

На всѣ мои рѣчи откликается онъ чуткимъ эхомъ, и все легче мнѣ съ нимъ.

Застигла насъ ночь.

— Стой!—говоритъ онъ.—Давай мѣсто искать для отдыха.

Нашли пріютъ подъ большимъ камнемъ, оторваннымъ отъ родной горы; кусты на немъ раскинулись, свѣшиваясь внизъ темнымъ пологомъ, и легли мы въ теплой ихъ тѣни. Костеръ зажгли, чай кипятимъ.

Спрашиваю я:

— Что же ты мнѣ скажешь, отецъ?

Улыбается.

— А что знаю—все скажу! Только ты не ищи въ словахъ моихъ утвержденія: я не учить хочу, а разсказывать. Утверждаютъ тѣ, для кого ходъ жизни опасенъ, ростъ правды вреденъ. Видятъ они, что правда все ярче горитъ—потому все больше людей зажигаютъ пламя ея въ сердцѣ своемъ,—видятъ они это и пугаются! Наскоро схватятъ правды, сколько имъ выгодно, стиснутъ ее въ малый колобокъ и кричатъ на весь міръ: вотъ истина, чистая духовная пища, вотъ—это такъ! и—навѣки незыблемо! И садятся, окаянные, на лицо истины и душатъ ее, за горло взявъ, и мѣшаютъ росту силы ея всячески, враги наши и всего сущаго! А я могу сказать одно: на сей день—это такъ, а какъ будетъ завтра—не вѣдаю! Ибо, видишь ли, въ жизни

нѣтъ настоящаго, законнаго хозяина; не пришелъ еще онъ, и неизвѣстно мнѣ, какъ распорядится, когда придетъ: какіе планы утвердитъ, какіе порушитъ и какіе храмы станетъ возводить? Павелъ апостолъ однажды сказалъ: „все содѣйствуетъ ко благу"—многіе утвердились на сихъ словахъ, и всѣ утвердившіеся обезсилѣли, ибо встали на мѣстѣ! Камень сей безсиленъ, почему?—по неподвижности своей, брате! И нельзя говорить человѣку: стой на семъ! но,—отсюда иди далѣе!

Первый разъ слышу такую рѣчь и чуждо мнѣ звучитъ она,—ею отрицаетъ человѣкъ самъ себя, а я ищу самоутвержденія.

— Кто же,—молъ,—этотъ хозяинъ—Господь?

Улыбается старикъ.

— Нѣтъ,—говоритъ,—ближе къ намъ! Не хочется мнѣ назвать его—лучше бы ты самъ догадался. Ибо во Христа прежде и крѣпче всѣхъ тѣ увѣровали, кто до встрѣчи съ Нимъ зналъ уже Его въ сердцѣ своемъ, и это силою ихъ вѣры поднятъ Онъ былъ на высоту божества.

Какъ передъ дверью держитъ онъ меня, а не отворяетъ ее, не называетъ, что за нею спрятано имъ. Растетъ во мнѣ нетерпѣніе и нѣкая досада. Рѣчи старика кажутся темными и хотя порой сверкаютъ какія-то жуткія искры въ словахъ его, но онѣ только ослѣпляютъ меня, не освѣщая тьму въ душѣ. Ночь—лунная, окружаютъ насъ черныя тѣни, лѣсъ надъ нами молча въ гору идетъ, и надъ вершиною горъ—межъ вѣтвей деревъ—звѣзды блестятъ, точно птицы огненныя. Гдѣ-то близко ручей журчитъ, въ лѣсу изрѣдка филинъ гукаетъ, и надо всѣмъ въ ночи тихо живетъ старикова рѣчь. Чуденъ старикъ! Вотъ, снялъ онъ со щеки какую-то букашку, держитъ на ладони и спрашиваетъ ее:

— Ты куда, баловень? Ай? Бѣги-ка въ траву, существо!

Это нравится мнѣ: я тоже букановъ всякихъ очень

люблю, и всегда мнѣ занятна ихъ тайная жизнь среди травъ и цвѣтовъ.

Ставлю я разные вопросы старику; хочется мнѣ, чтобъ онъ проще и короче говорилъ, но, замѣчаю, что обходитъ онъ задачи мои, словно прыгая черезъ нихъ. Пріятно мнѣ это живое лицо—ласково гладятъ его красные отсвѣты огня въ кострѣ, и все оно трепещетъ мирной радостью, желанной мнѣ. Завидно: вдвое и болѣе, чѣмъ я, прожилъ этотъ человѣкъ, но душа его, видимо, ясна.

Говорю:

— Одинъ человѣкъ сказалъ мнѣ, что вѣра—выдумка, а ты что скажешь?

— Скажу,—отвѣчаетъ,—что не зналъ человѣкъ, о чемъ говоритъ, ибо вѣра—великое чувство и созидающее! А родится она отъ избытка въ человѣкѣ жизненной силы его; сила эта—огромна суть и всегда тревожитъ юный разумъ человѣческій, побуждая его къ дѣянію. Но связанъ и стѣсненъ человѣкъ въ дѣяніяхъ своихъ, извнѣ препятствуютъ ему всячески,—все хотятъ, чтобы онъ хлѣбъ и желѣзо добывалъ, а не живыя сокровища изъ нѣдръ духа своего. И не привыкъ еще, не умѣетъ онъ пользоваться всѣми своими, пугается мятежей духа своего, создаетъ чудовищъ и боится отраженій нестройной души своей—не понимая сущности ея; покланяется формамъ вѣры своей—тѣни своей, говорю!

Не скажу, чтобъ въ ту минуту понялъ я его, но почему-то сильно разсердился и думаю:

— Ну, теперь съ этого мѣста я тебя никуда не пущу, доколѣ ты не отвѣтишь мнѣ на коренной вопросъ!

И строго спрашиваю:

— А почему ты Бога обходишь?

Смотритъ онъ на меня, поднявъ брови, и говоритъ:

— Да я, милый, все время о Немъ толкую! Развѣ ты не чувствуешь?

Всталъ на колѣни и, освѣщенный огнемъ, протянулъ руку мнѣ, говоря тихо и внушительно:

— Кто есть Богъ, творяй чудеса? Отецъ ли нашъ, или же—сынъ духа нашего?

Вздрогнулъ, помню, и оглянулся я, ибо—жутко мнѣ стало: вижу въ старикѣ нѣчто безумное. И эти черныя тѣни лежатъ вокругъ, прислушиваясь; шорохи лѣсные отовсюду ползутъ, заглушая слабый трескъ углей, тихій звонъ ручья. Мнѣ тоже захотѣлось на колѣни встать. Онъ уже громко говоритъ, какъ бы споря:

— Не безсиліемъ людей созданъ Богъ, нѣтъ, но—отъ избытка силъ. И не внѣ насъ живетъ Онъ, брате, но внутри! Извлекли же Его извнутри насъ въ испугѣ предъ вопросами духа и наставили надъ нами, желая умѣрить гордость нашу, всегда несогласную съ ограниченіями волю нашу. Говорю: силу обратили въ слабость, задержавъ насильно ростъ ея! Образы совершенства—поспѣшно дѣлаются; это—вредъ намъ и горе. Но люди дѣлятся на два племени: одни—вѣчные богостроители, другіе—навсегда рабы плѣннаго стремленія ко власти надъ первыми и надо всею землей. Захватили они эту власть и ею утверждаютъ бытіе Бога внѣ человѣка, Бога—врага людей, судію и господина земли. Исказили они лицо души Христа, отвергли Его заповѣди, ибо Христосъ живой—противъ ихъ, противъ власти человѣка надъ ближнимъ своимъ!

Говоритъ онъ—и словно больной зубъ въ душѣ моей пошатываетъ, хочетъ выдернуть; больно мнѣ и хочется кричать:

— Не то!

А у него—лицо праздничное и весь онъ пьянъ и буенъ радостью; вижу я безуміе рѣчи его, но любуюсь старикомъ сквозь боль и тоску души, жадно слушаю рѣчь его:

— Но живы и безсмертны богостроители; нынѣ они снова тайно и усердно творятъ Бога новаго, того, именно, о которомъ ты мыслишь—Бога красоты и разума, справедливости и любви!

Потрясаетъ онъ меня рѣчью своей, поднимаетъ на ноги и какъ бы оружіе въ руки даетъ, трепещетъ вокругъ меня легкая тѣнь, задѣвая крыльями лицо мое—страшно мнѣ, кружится земля подо мной, и думаю я:

— А если вѣрно, что дьяволъ искушаетъ людей прелестными рѣчами и это его хитрыя петли плететъ старикъ, дабы запутать меня въ сѣть величайшаго грѣха?

— Слушай,—говорю,—кто—богостроители? Кто—хозяинъ, коего ждешь?

Засмѣялся онъ ласково, какъ женщина, и отвѣтилъ:

— Богостроитель—это суть—народушко! Неисчислимый міровой народъ! Великомученикъ велій, чѣмъ всѣ, церковью прославленные—сей бо еси Богъ, творяй чудеса! Народушко безсмертный, его-же духу вѣрую, его силу исповѣдаю; онъ есть начало жизни единое и несомнѣнное; онъ отецъ всѣхъ боговъ бывшихъ и будущихъ!

— Безуменъ старикъ,—думаю я.

До сей поры казалось мнѣ, что, хотя и медленно, но иду я въ гору; не однажды слова его касались души моей огненнымъ перстомъ, и чувствовалъ я жгучіе, но цѣлебные ожоги и уколы, а теперь вдругъ отяжелѣло сердце, и остановился я на пути горько удивленный. Горятъ въ груди моей разные огни—тоскливо мнѣ и непонятно радостно, боюсь обмана и смущенъ.

— Неужели ты,—спрашиваю,—про мужиковъ говоришь?

Онъ громко и съ важностью отвѣчаетъ:

— Да, про весь рабочій народъ земли, про всю ея силу, единственный и вѣчный источникъ боготворчества! Вотъ просыпается воля народа, соединяется на-

ликое, насильно разобщенное, уже многіе ищутъ возможности, какъ слить всѣ силы земныя въ единую, изъ нея же образуется свѣтелъ и прекрасенъ всеобъемлющій Богъ земли!

Говоритъ онъ такъ громко, словно не одинъ я,—но и горы, и лѣса, и все живое, бодрствующее въ ночи, должно слышать его; говоритъ и трепещетъ, какъ птица, готовая улетѣть, а мнѣ кажется, что все это—сонъ, и сонъ этотъ унижаетъ меня.

Вызываю въ памяти моей образъ Бога моего, ставлю предъ Его лицомъ темные ряды робкихъ, растерянныхъ людей—эти Бога творятъ? Вспоминаю мелкую злобу ихъ, трусливую жадность, тѣла, согбенныя униженіемъ и трудомъ, тусклые отъ печалей глаза, духовное косноязычіе и нѣмоту мысли и всяческія суевѣрія ихъ—они, эти насѣкомыя, могутъ Бога новаго создать?

Гнѣвъ и горькій смѣхъ возникаетъ въ сердцѣ моемъ. Понимаю, что старикъ нѣчто уже отнялъ у меня. И говорю ему:

— Эхъ, отецъ! Наблудилъ ты въ душѣ у меня, словно козелъ въ огородѣ, вотъ и вся суть твоихъ рѣчей! Но неужели со всѣми рѣшаешься ты такъ говорить? Великій это грѣхъ, по-моему, и нѣтъ въ тебѣ жалости къ людямъ! Вѣдь утѣшеній, а не сомнѣній, ищутъ они, а ты сомнѣнія сѣешь!

Онъ—улыбается.

— Быть,—говоритъ,—тебѣ на пути моемъ!

Обидна мнѣ эта улыбка.

— Врешь!—молъ.—Никогда не поставлю человѣка рядомъ съ Богомъ!

— И не надо,—говоритъ,—и не ставь, а то господина поставишь надъ собой! Я тебѣ не о человѣкѣ говорю, а о всей силѣ духа земли, о народѣ!

Разозлился я; противенъ мнѣ сталъ боготворецъ въ лаптяхъ, вшивый весь, всегда пьяный, битый и поротый.

— Ну, молчи!—говорю.—Старый богохульникъ и безумецъ ты! Что такое—народъ? Грязенъ тѣломъ и мыслями, нищъ умомъ и хлѣбомъ, за копейку душу продастъ...

Тутъ случилось удивительное. Вскочилъ онъ на ноги и закричалъ:

— Цыцъ!

Руками машетъ, ногами топаетъ, того гляди въ лицо плюетъ меня. Когда было въ немъ пророческое—стоялъ онъ дальше отъ меня, появилось смѣшное—и снова приблизился ко мнѣ человѣкъ.

— Цыцъ!—кричитъ,—мышь амбарная! И впрямь, видно, есть въ тебѣ гнилая эта барская кровь. Подкидышъ ты народный! Понимаешь ли — о комъ говоришь? Вотъ вы всѣ такъ, гордіоны, дармоѣды и грабители земли, не знаете на кого лаете, паршивые псы! Обожрали, ограбили людей, сѣли на нихъ верхомъ, да и ругаете: не прытко васъ везутъ!

Прыгаетъ онъ надо мной, падаетъ тѣнь его на меня, холодно хлещетъ по лицу, и я отодвигаюсь удивленно, боюсь—ударитъ онъ меня. Ростомъ я вдвое выше его, силы—на десятокъ такихъ, а остановить человѣка—нѣтъ у меня воли. Видимо, забылъ онъ, что ночь кругомъ и пусто вездѣ и что если я ушибу его—останется онъ на этомъ мѣстѣ лежать до могилы. Вспоминаю я, какъ ругалъ меня когда-то испуганный зеленый протопопъ, дикій Михаилъ и другіе люди старой вѣры. Вотъ и этотъ ругается, но другимъ огнемъ горитъ его гнѣвъ. Тѣ были сильнѣе меня, но въ словахъ ихъ я слышалъ одно, этотъ же слабъ, а безстрашенъ. И кричитъ на меня, какъ ребенокъ и словно мать: странно-ласковъ его гнѣвъ, подобный первому грому весны. Смущенъ я непонятной храбростью старика, и хотя забавенъ гнѣвъ его, а неловко мнѣ, что я такъ разозлилъ человѣка. Обидно ругается—не любилъ я, когда меня подкидышемъ звали, но—пріятенъ мнѣ гнѣвъ

его, ибо, понимаю,—гнѣвается искренно вѣрующій въ правду свою, и такой гнѣвъ хорошо падаетъ на душу—много въ немъ любви, сладкой пищи сердца.

Ворочаюсь я подъ ногами у него, а онъ кричитъ сверху:

— Что ты знаешь о народѣ? Ты,—слѣпой дуракъ, исторію знаешь? Ты вотъ почитай-ка это житіе, иже-выше всѣхъ!—во святыхъ отца нашего великомученика-народа! Тогда, можетъ, на счастіе свое, поймешь, кто предъ тобой, какая сила растетъ вокругъ тебя, безпріютнаго нищаго на чужой землѣ! Знаешь ты, что такое Русь? И что есть Грецiя, сирѣчь Эллада, а также—Римъ? Знаешь, чьею волею и духомъ всѣ государства строились? На чьихъ костяхъ храмы стоятъ? Чьимъ языкомъ говорятъ всѣ мудрецы? Все, что есть на землѣ и въ памяти твоей, все народомъ создано, а бѣлая эта кость только ш л и ф о в а л а работу его...

Я молчу. Мнѣ пріятно видѣть человѣка, который не боится защищать правду свою.

Сѣлъ онъ, запыхался, потный и красный весь, и вижу я—слезы на глазахъ его. Поражаетъ это меня: ибо когда я обижалъ тѣхъ, прежнихъ учителей моихъ,—они не показывали мнѣ слезъ. Кричитъ онъ:

— Слушай, бродяга, я тебѣ буду о русскомъ народѣ говорить!

— Ты,—молъ,—отдохнулъ бы...

— Молчи!—говоритъ, грозя мнѣ рукой.—Молчи, а то я тебя побью!

Захохоталъ я, не могъ удержаться.

— Дѣдъ, милый! Невыразимо ты чуденъ! Прости, Христа ради, коли обидѣлъ я тебя!

— Глупый, чѣмъ тебѣ меня обидѣть? Но ты о великомъ народѣ нехорошо сказалъ, несчастная душа.. Барамъ допустимо народъ поносить, имъ надо совѣсть погасить, они—чужіе на землѣ, а ты—кто?

Хорошо было смотрѣть на него въ тотъ часъ,—сталъ

онъ важенъ и даже суровъ, голосъ его осѣлъ, углубился, говоритъ онъ плавно и пѣвуче, точно Апостолъ читаетъ, лицо къ небу обратилъ, и глаза у него округлились. Стоитъ онъ на колѣняхъ, но ростомъ словно больше сталъ. Началъ я слушать рѣчь его съ улыбкой и недовѣріемъ, но вскорѣ вспомнилъ книгу Антонія—русскую исторію—и какъ бы снова раскрылась она предо мною. Онъ мнѣ свою сказку чудесную поетъ, а я за этой сказкой по книгѣ слѣжу—все идетъ вѣрно, только смыслъ другой.

Дошелъ онъ до распада Кіевской Руси, спрашиваетъ:

— Слышалъ?

— Спасибо,—говорю.

— Ну, такъ знай теперь: такихъ богатырей не было, это народъ свои подвиги въ лицахъ воплощалъ, такъ запоминалъ онъ великую работу построенія русской земли!

И продолжаетъ о Суздальской землѣ.

Помню, гдѣ-то за горою уже солнце всходило; ночь пряталась въ лѣсахъ и будила птицъ; розовыми стаями облака надъ нами, а мы прижались у камня на росистой травѣ, и одинъ воскрешаетъ старину, а другой удивленно исчисляетъ несчетные труды людей и не вѣритъ сказкѣ о завоеваніи враждебной лѣсной земли.

Старикъ будто самъ все видѣлъ: стучатъ тяжелые топоры въ крѣпкихъ рукахъ, сушатъ люди болота, возводятъ города, монастыри, идутъ все дальше по теченіямъ холодныхъ рѣкъ во глубины густыхъ лѣсовъ, одолѣваютъ дикую землю, становится она благообразна. А князья, владыки народа, рѣжутъ, крошатъ ее на малые куски, дерутся другъ съ другомъ кулаками народа и грабятъ его. И вотъ со степи татары подошли, но не нашлось въ князьяхъ воителей за свободу народную, не нашлось ни чести, ни силы, ни ума; предали они народъ ордѣ, торговали имъ съ ханами, какъ скотомъ, покупая за мужичью кровь княжью власть надъ нимъ

же, мужикомъ. А потомъ, какъ научились у татаръ царствовать, начали и другъ-друга ханамъ на зарѣзъ посылать.

Ночь вокругъ ласкова, какъ умная старшая наша сестра.

Отъ усталости осѣкается голосъ у старика, уже солнце видитъ его, а онъ все ходитъ въ прошлыхъ быляхъ, освѣщая мнѣ истину пламенными словами.

— Видишь ли,—спрашиваетъ,—что сдѣлано народомъ и какъ измывались надъ нимъ до поры, пока ты не явился обругать его глупыми словами? Это я сказывалъ больше о томъ, что онъ по чужой волѣ дѣлалъ, а отдохну—разскажу, чѣмъ душа его жила, какъ онъ Бога искалъ!

Свернулся въ комокъ и заснулъ, какъ малое дитя.

А я—спать не могу и сижу, какъ угольями обложенъ. Да и утро уже—солнце высоко, распѣлась птица на всѣ голоса, умылся лѣсъ росой и шумитъ, ласково зеленый, встрѣчу дню.

По дорогѣ люди пошли—люди самые ежедневные; идутъ, опустя головы, новаго я въ нихъ не вижу ничего, никакъ они не выросли въ моихъ глазахъ.

Спитъ мой учитель, похрапываетъ, я—около его замеръ въ думѣ моей; люди проходятъ одинъ за другимъ, искоса взглянутъ на насъ—и головой не кивнутъ въ отвѣтъ на поклонъ.

— Неужто,—думаю,—это дѣти тѣхъ праведниковъ, строителей земли, о которыхъ я слышалъ сейчасъ?

Спутались въ усталой головѣ сонъ и явь, понимаю я, что эта встрѣча—роковой для меня поворотъ. Стариковы слова о Богѣ, сынѣ духа народнаго, безпокоятъ меня, не могу помириться съ ними, не знаю духа иного, кромѣ живущаго во мнѣ. И обыскиваю въ памяти моей всѣхъ мужиковъ, всѣхъ людей, кого зналъ; ошариваю ихъ, вспоминая рѣчи ихъ: поговорокъ много, а мыслями бѣдно. А съ другой стороны вижу темную ка-

торгу жизни, неизбывный трудъ хлѣба ради, голодныя зимы, безысходную тоску пустыхъ дней и всякое униженіе человѣка, оплеваніе его души.

— Гдѣ Богъ въ этой жизни, гдѣ Ему мѣсто въ ней?

Спитъ старикъ. Хочется мнѣ тряхнуть его, закричать:

— Говори!

Скоро онъ самъ проснулся, щуритъ глаза, улыбается.

— Эге,—говоритъ,—солнце-то къ полудню идетъ! Надо бы и мнѣ идти!

— Куда,—молъ,—по жарѣ такой? Хлѣбъ, чай, сахаръ есть у насъ. Да и не могу я отпустить тебя — отдай обѣщанное!

Смѣется:

— Я отъ тебя, злыдень, самъ не отстану!

Потомъ задумчиво говоритъ:

— Ты, Матвѣй, брось-ка шляться; это и поздно, и рано тебѣ! Учиться надо; вотъ это—въ пору!

— А не поздно?

— Гляди на меня,—говоритъ,—пятьдесятъ три года имѣю, а у ребятъ грамотѣ учусь и по сей день!

— У какихъ это ребятъ?—спрашиваю.

— Есть такіе! Вотъ бы тебѣ съ ними и пожить годокъ-другой. Иди-ка ты на заводъ одинъ, недалеко, верстъ за сто отсюда, тамъ у меня есть добрые дружки!

— Ты,—молъ,—сначала разскажи-ка, что хотѣлъ, а потомъ я подумаю, куда идти.

Шагаемъ мы съ нимъ по тропѣ вдоль дороги и снова я слышу звонкій голосъ его, странныя слова:

— Христосъ, первый истинно-народный Богъ, возникъ изъ духа народа, яко птица фениксъ изъ пламени.

И тотчасъ же самъ вспыхнулъ весь, помахиваетъ маленькой рукою предъ лицомъ своимъ, точно ловитъ въ воздухѣ новыя слова и поетъ:

— Долго поднималъ народъ на плечахъ своихъ

отдѣльныхъ людей, безсчетно давалъ имъ трудъ свой и волю свою; возвышалъ ихъ надъ собою и покорно ждалъ, что увидятъ они съ высотъ заемныхъ пути справедливости. Но избранники народа, восходя на вершины доступнаго, пьянѣли и, развращаясь видомъ власти своей, оставались на верхахъ, забывая о томъ, кто ихъ возвелъ, становясь не радостнымъ облегченіемъ, но тяжкимъ гнетомъ земли. Когда видѣлъ народъ, что дѣти, вспоенныя кровью его, — враги ему, терялъ онъ вѣру въ нихъ, то-есть не питалъ ихъ волею своею, оставлялъ владыкъ одинокими, и падали они, разрушалось величіе и сила ихъ царствъ. Понялъ народъ, что законъ жизни не въ томъ, чтобы возвысить одного изъ семьи и, питая его волею своей,—его разумомъ жить, но въ томъ истинный законъ, чтобы всѣмъ подняться къ высотѣ, каждому своими глазами осмотрѣть пути жизни, — день сознанія народомъ необходимости равенства людей и былъ днемъ рождества Христова! Многіе народы разно пытались воплотить свои мечты о справедливости въ живое лицо, создать Господа для всѣхъ равнаго, и не однажды отдѣльные люди, подчиняясь напору этой мысли народной, старались оковать ее крѣпкими словами, дабы жила она вѣчно. И когда всѣ эти мысли были сплочены — возникъ изъ нихъ живой Богъ, любезное дитя народа—Іисусъ Христосъ!

То, что онъ говорилъ о Христѣ, юномъ Богѣ, было близко мнѣ, но народа, Христа рождающаго,—не могу понять.

Говорю это ему, а онъ отвѣчаетъ:

— Хочешь знать — поймешь, хочешь вѣрить — будешь знать!

Трое сутокъ шагали мы съ нимъ, не торопясь, и все время поучалъ онъ меня, показывая прошлое.

Разсказалъ всю исторію жизни народа вплоть до того дня; говорилъ о смутномъ времени и о томъ, какъ церковь воздвигла гоненія на скомороховъ, веселыхъ

людей, которые будили память народа и шутками своими сѣяли правду въ немъ.

— Понимаешь,—говоритъ,—кто Савелка твой?

— Вижу,—молъ.

— То-то! Помни: маленькое отъ великаго, а великое сложено изъ малыхъ частей!

Дошли мы до Стефана Верхотурскаго, сказалъ мнѣ старикъ:

— Отсюда я—въ сторону, а тебѣ со мной нѣтъ пути.

Не хочется отходить отъ него, а вижу—надо, ибо—одолѣваютъ меня мысли его, разбудилъ онъ меня до глубины и какъ плугомъ вспахалъ душу мнѣ.

— Что задумался?—спрашиваетъ.—Иди-ка на заводъ, да работай тамъ и съ дружками моими толкуй; не проиграешь, повѣрь! Народъ—ясный, вотъ—я у нихъ учился, и, видишь, не глупъ, а?

Написалъ какую-то записку, сунулъ мнѣ.

— Ей-ей—иди туда! Не худа желаю тебѣ, увидишь! Народъ новорожденный и живой! Не вѣришь?

— Много,—молъ,—видятъ небольшіе глаза, да есть-ли то, что имъ кажется?

— Ты,—кричитъ,—всѣмъ составомъ гляди! Сердцемъ, духомъ! Развѣ я тебѣ говорю: вѣрь? Я говорю—учись, узнавай!

Поцѣловались мы, и пошелъ онъ. Легко идетъ, точно двадцать лѣтъ ему и впереди ждутъ однѣ радости. Скучно мнѣ стало глядѣть вслѣдъ этой птицѣ, улетающей отъ меня неизвѣстно куда, чтобы снова пѣть тамъ свою пѣснь. Въ головѣ у меня — неладно, возятся тамъ мысли, какъ хохлы раннимъ утромъ на ярмаркѣ: сонно, неуклюже, медленно и никакъ не могутъ разложиться въ порядкѣ. Все странно спуталось: у моей мысли чужой конецъ, у чужой—мое начало. И досадно мнѣ, и смѣшно—весь я точно измятъ внутри.

Еще какъ вышелъ я изъ Верхотурья и спросилъ, куда дорога, мнѣ отвѣтили:

— На Исетскій заводъ.

Туда и посылалъ меня старикъ, а потому я сейчасъ же свернулъ въ сторону. Не хочу туда.

Хожу по деревнямъ, посматриваю. Угрюмъ и дерзокъ народъ, не хочется ни съ кѣмъ говорить. Смотрятъ всѣ подозрительно, видимо опасаются, не укралъ-бы чего.

— Богостроители, — думаю я, поглядывая на корявыхъ мужичковъ. Спрошу: куда дорога?

— На Исетскій заводъ.

— Что тутъ—всѣ дороги на этотъ заводъ?—думаю, и кружусь по деревнямъ, по лѣсамъ, ползаю, словно жукъ въ травѣ, вижу издали эти заводы. Дымятъ они, но не манятъ меня. Кажется, что потерялъ я половину себя и не могу понять, чего хочу. Плохо мнѣ. Сѣрая лѣнивая досада колеблется въ душѣ, искрами вспыхиваетъ злой смѣшокъ, и хочется мнѣ обижать всѣхъ людей и себя самого.

И вдругъ незамѣтно для себя рѣшилъ: пойду на заводъ, чортъ съ нимъ.

Вотъ пришелъ я въ нѣкій грязный адъ: въ лощинѣ, между горъ, покрытыхъ изрубленнымъ лѣсомъ, припали на землѣ корпуса; надъ крышами у нихъ пламя кверху рвется, высунулись въ небо длинныя трубы, отовсюду сочится паръ и дымъ, земля сажей испачкана, молотъ гулко ухаетъ; грохотъ, визгъ и дикій скрипъ сотрясаютъ дымный воздухъ. Всюду желѣзо, дрова, кирпичъ, дымъ, паръ и вонь, и въ этой ямѣ, полной всякой тяжкой всячины, мелькаютъ люди, черные, какъ головни.

— Спасибо, старичокъ!—думаю.—Направилъ ты меня хорошо!

Первый разъ близко вижу заводъ, глохну съ непривычки и дышать тяжело.

Хожу по улицамъ, ищу слесаря Петра Ягихъ. Кого

ни спрошу—огрызаются, точно утромъ всѣ передрались между собой и еще не успѣли успокоиться.

Восклицаю про себя:

— Богостроители!

Идетъ встрѣчу мужчина, подобный медвѣдю, и чумазый весь съ ногъ до головы; блеститъ на солнцѣ жирной грязью своей одежды,—спрашиваю я, не знаетъ ли онъ слесаря Петра Ягихъ.

— Чего?

— Петръ Ягихъ.

— На что?

— Нужно.

— Это, вотъ я!

— Здравствуйте!

— Ну, здравствуй! А еще что?

— Записка вамъ.

Мужчина ростомъ выше меня, широкобородый, плечистый, тяжелый, лицо — въ сажѣ, маленькіе, сѣрые глазки едва видны изъ-подъ густыхъ бровей, шапка на затылкѣ, волосы гладко острижены. Похожъ и непохожъ на мужика.

Читаетъ, видимо, съ трудомъ, лицо у него все сморщилось, усы дрожатъ. И вдругъ—растаяло лицо, блеснули бѣлые зубы, открылись добрые дѣтскіе глаза, кожа на щекахъ лоснится.

— Ага,—кричитъ, — живъ онъ, Божій пѣтушокъ! Добро. Иди, малый, въ конецъ улицы, свороти налѣво къ лѣсу, подъ горой домъ съ зелеными ставнями, спроси учителя, зовутъ — Михайла, мой племяшъ. Покажи ему записку; я скоро приду, айда!

Говоритъ, какъ солдатъ на трубѣ сигналъ играетъ, сказалъ, махнулъ рукой и пошелъ прочь.

— На первый разъ,—думаю я,—и это забавно!

Дома встрѣтилъ меня угловатый парень въ ситцевой рубахѣ и фартукѣ, рукава засучены, руки—бѣлыя и тонкія. Прочитавъ записку, спрашиваетъ:

— Какъ здоровъ отецъ Іона?

— Слава Богу.

— Не обѣщалъ ли къ намъ зайти?

— Не говорилъ. А развѣ его Іоной зовутъ?

Парень подозрительно взглянулъ на меня, еще разъ прочиталъ записку.

— А какъ же?—говоритъ.

— Онъ себя Іегудіиломъ назвалъ.

Улыбается парень.

— Это—прозвище, это я его такъ зову.

— Ишь ты,—думаю.

Волосы у него прямые, длинные, какъ у дьякона, лицо блѣдное, глаза водянисто-голубые, и весь онъ какой-то нездѣшній, видно не этого грязнаго куска земли. Ходитъ по комнатѣ и мѣряетъ меня глазами, какъ сукно; мнѣ это не нравится.

— Вы,—говоритъ,—давно знаете Іону?

— Четверо сутокъ.

— Четверо сутокъ?—повторяетъ онъ. Это—хорошо.

— Почему хорошо?—спрашиваю.

— Такъ ужъ!—говоритъ, пожимая плечами.

— А почему вы въ фартукѣ?

— Книги,—говоритъ,—переплеталъ! — Скоро дядя придетъ, будемъ ужинать; можетъ быть, вы съ дороги помоетесь?

Хочется мнѣ дерзить ему, — больно онъ солиденъ, не по лѣтамъ это.

— Развѣ,—молъ,—здѣсь умываются?

Поднялъ брови.

— А какъ же?

— Не видалъ я умытыхъ-то!—говорю.

Онъ прищурилъ глаза, поглядѣлъ на меня и, спокойно таково, говоритъ:

— Здѣсь люди не бездѣльничаютъ, а работаютъ; часто умываться времени нѣтъ.

Вижу, налетѣлъ я съ ковшомъ на брагу, хочу ему

отвѣтитъ, а онъ повернулся и ушелъ. Сижу я въ дуракахъ, смотрю. Комната — большая, чистая, въ углу столъ для ужина накрытъ, на стѣнахъ—полки съ книгами, книги — свѣтскія, но есть Библія, Евангеліе и старый славянскій Псалтирь. Вышелъ на дворъ, моюсь,—дядя идетъ, картузъ еще больше на затылкѣ, руками махаетъ и голову держитъ впередъ, какъ быкъ.

— Ну-ка, я помоюсь, — говоритъ, — плесни-ка мнѣ воды!

Голосище — труба, пригоршни — съ добрую чашку для щей. Смылъ онъ нѣсколько сажи—оказалось подъ нею скуластое мѣднокрасное лицо.

Сѣли ужинать, ѣдятъ, разговаривая о своихъ дѣлахъ, не спрашивая, ни кто я такой, ни зачѣмъ пришелъ. Но угощаютъ меня заботливо, смотрятъ ласково.

Много въ нихъ чего-то солиднаго, видно, что земля подъ ними твердо стоитъ. А мнѣ хочется, чтобы вздрогнула,—чѣмъ они лучше меня.

— Вы—раскольники, что ли?—спрашиваю.

— Мы?—говоритъ дядя.—Нѣтъ.

— Значитъ—православные?

Племянникъ нахмурилъ брови, а дядя повелъ плечами, усмѣхается.

— Можетъ, надо намъ, Михайла, паспорта наши показать ему?

Понимаю я, что глупо себя держу, а перестать—не хочется.

— Я,—молъ, — не паспорта ваши, а мысли видѣть пришелъ!

Дядя оретъ:

— Мысли? Сейчасъ, ваше превосходительство! Мысли,—стройся!

И хохочетъ, какъ три добрыхъ жеребца.

А Михайла, заваривая чай, спокойно разсуждаетъ:

— Я такъ и понимаю вашъ приходъ. Вы не первый

къ намъ Іоной посланы; онъ людей знаетъ и пустого человѣка не пришлетъ.

А дядя толкнулъ меня въ лобъ ладонью и все оретъ:

— Гляди веселѣй! Да не ходи съ козырей — проиграешься!

Видимо, считаютъ они себя людьми зажиточной души, а я для нихъ подобенъ нищему,—и вотъ, не торопясь, готовятся напоить отъ мудрости своей жаж дущую душу мою. Ссориться, спорить съ ними хочу а къ чему привязаться—не умѣю, не вижу, и это еще больше разжигаетъ меня. Спрашиваю зря:

— Что такое—пустой человѣкъ?

Дядя отвѣчаетъ:

— А котораго всѣмъ, чѣмъ хочешь, набить можно!

Вдругъ Михайла тихонько подвинулся ко мнѣ и мягкимъ голосомъ освѣдомляется:

— Вы въ Бога вѣруете?

— Вѣрую.

Но сконфузился я послѣ отвѣта своего: не то! Развѣ я—вѣрую?

Михайла снова спрашиваетъ:

— А людей—уважаете?

— Нѣтъ,—отвѣчаю.

— Развѣ,—говоритъ,—не кажется вамъ, что они созданы по образу и подобію Бога?

Дядя, чортъ его возьми, ухмыляется, какъ мѣдный тазъ на солнцѣ.

— Нѣтъ,—думаю,—съ этими надо бороться искренностью; развалюсь передъ ними весь на куски, пусть-ко складываютъ!

И говорю:

— Глядя на людей, усомнился я въ силѣ Господа...

Снова не то: усомнился я въ Богѣ раньше, чѣмъ увидалъ людей. Михайла, округливъ глаза, задумчиво смотритъ мнѣ въ лицо, а дядя тяжело шагаетъ по комнатѣ, гладитъ бороду и тихонько мычитъ. Нехорошо

мнѣ предъ ними, что принижаю себя ложью. Въ душѣ у меня странная прозрачность, безтолково и тревожно, какъ испуганный рой пчелъ, кружатся мысли, и сталъ я раздраженно изгонять ихъ—хочу опустошить себя. Долго говорилъ, не заботясь о связности рѣчи и, пожалуй, нарочно путалъ ее: коли они умники, то должны все разобрать. Усталъ и задорно спрашиваю:

— Чѣмъ же и какъ полѣчите вы больную душу?

Михайла, тихо и не глядя на меня, говоритъ:

— Не считаю я васъ больнымъ...

Дядя опять хохочетъ—гремитъ, словно чортъ съ полатей свалился.

— Болѣзнь,—продолжаетъ Михайла,—это когда человѣкъ не чувствуетъ себя, а знаетъ только свою боль, да ею и живетъ! Но вы, какъ видно, себя не потеряли: вотъ вы ищете радостей жизни,—это доступно только здоровому.

— А отчего же у меня душа такъ ноетъ?

— Оттого,—говоритъ,—что вамъ это пріятно!

Я даже зубами скрипнулъ—невыносимо для меня его спокойствіе.

— Навѣрно,—молъ,—знаете, что пріятно?

Смотритъ онъ прямо въ глаза и не торопясь заколачиваетъ гвозди въ грудь мою.

— Какъ искренній человѣкъ, вы,—говоритъ,—должны сознаться, что эта боль вашей души необходима вамъ,—она васъ ставитъ выше людей; вы и бережете ее, какъ нѣкоторое отличіе ваше отъ другихъ; не такъ ли?

Постное лицо его высохло, вытянулось, глаза потемнѣли, гладитъ онъ щеку свою рукой и чиститъ меня, какъ мѣдь пескомъ.

— Видимо, боитесь вы смѣшать себя съ людьми и потому,—можетъ быть, безотчетно,—думаете: хоть болячки, да мои! И такихъ болячекъ—ни у кого нѣтъ, кромѣ меня!

Хочу возражать ему, но не нахожу словъ. Моложе

онъ меня и слабѣе, не вѣрится мнѣ, что я глупѣй его. Дядя гогочетъ, какъ попъ въ банѣ на полкѣ.

— Но это васъ отъ людей не отличаетъ, вы ошибаетесь,—говоритъ Михайла.—Всѣ такъ думаютъ. Оттого и безсильна, оттого и уродлива жизнь. Каждый старается отойти отъ жизни вбокъ, выкопать въ землѣ свою норку и изъ нея одиноко разсматривать міръ; изъ норы жизнь кажется низкой, ничтожной; видѣть ее такою—выгодно уединенному! Это я говорю про тѣхъ людей, которые почему-нибудь не въ силахъ сѣсть верхомъ на ближняго и подъѣхать на спинѣ его туда, гдѣ вкуснѣе кормятъ.

Злятъ меня его рѣчи и обидны онѣ.

— Началась,—говоритъ,—эта дрянная и недостойная разума человѣческаго жизнь съ того дня, какъ первая человѣческая личность оторвалась отъ чудотворной силы народа, отъ массы, матери своей, и сжалась со страха передъ одиночествомъ и безсиліемъ своимъ въ ничтожный и злой комокъ мелкихъ желаній, комокъ, который нареченъ былъ—„я“. Вотъ это самое „я“ и есть злѣйшій врагъ человѣка! На дѣло самозащиты своей и утвержденія своего среди земли оно безполезно убило всѣ силы духа, всѣ великія способности къ созданію духовныхъ благъ.

Кажется мнѣ, слышу я рѣчь уже знакомую и слова, которыхъ давно и тайно ждалъ.

— Нищее духомъ, оно безсильно въ творчествѣ. Глухо оно къ жизни, слѣпо и нѣмотно, цѣль его—самозащита, покой и уютъ. Все новое, истинно-человѣческое, создается имъ по необходимости, послѣ множества толчковъ извнѣ, съ величайшимъ трудомъ, и не только не цѣнится другими „я“, но и ненавистно имъ и гонимо. Враждебно потому, что, памятуя свое родство съ цѣлымъ, отколотое отъ него „я“ стремится объединить разбитое и разрозненное снова въ цѣлое и величественное.

Слушаю и удивляюсь: все это понятно мнѣ и не только понятно, но кажется близкимъ, вѣрнымъ. Какъ будто я и самъ давно уже думалъ такъ, но—безъ словъ, а теперь нашлись слова и стройно ложатся предо мною, какъ ступени лѣстницы вдаль и вверхъ. Вспоминаю Іонины рѣчи, оживаютъ онѣ для меня ярко и красочно. Но, въ то же время, безпокойно и неловко мнѣ, какъ будто стою на рыхлой льдинѣ рѣки весной. Дядя незамѣтно ушелъ, мы вдвоемъ сидимъ, огня въ комнатѣ нѣтъ, ночь лунная, и въ душѣ у меня тоже лунная мгла.

О полночь кончилъ Михайла свои рѣчи, повелъ меня спать на дворъ, въ сарай; легли мы тамъ на сѣнѣ, и скоро онъ заснулъ, а я вышелъ за ворота, сѣлъ на какія-то бревна, смотрю...

Луна и двѣ звѣзды большія сторожами въ небесахъ идутъ. Надъ горой въ синемъ небѣ четко видно зубчатую стѣну лѣса, а на горѣ весь лѣсъ изрубленъ, изрѣзанъ, земля изранена черными ямами. Внизу—заводъ жадно оскалилъ красные зубы: гудитъ, дымитъ, по-надъ крышами его мечется огонь, рвется кверху, не можетъ оторваться, растекается дымомъ. Пахнетъ гарью, душно мнѣ.

Размышляю о горестномъ одиночествѣ человѣка. Интересно говоритъ Михайла, мыслямъ своимъ вѣруетъ, вижу я ихъ правду, но—почему холодно мнѣ? Не сливается моя душа съ душою этого человѣка, стоитъ она одиноко, какъ среди пустыни...

И вдругъ вижу, что я думаю словами Іоны и Михайла, и что ихъ мысли уже властно живутъ во мнѣ, хотя и сверхъ всего, хотя и шевелится въ глубинѣ враждебное имъ и наблюдающее.

Гдѣ же—я, и что—мое? Кружусь въ недоумѣніяхъ моихъ, какъ волчокъ, и все быстрѣе, такъ что въ ушахъ у меня шумъ, тихій вихрь.

На заводѣ свистокъ заныл, сначала тонко и жа-

лодно, потомъ разревѣлся густо и повелительно. Съ горъ—утро сонно смотритъ; ночь, спускаясь внизъ, тихо снимаетъ съ деревьевъ тонкое покрывало свое, свертываетъ его, прячетъ въ лощинахъ и ямахъ. Обнажается ограбленная земля—выщипано все вокругъ и обглодано, точно по лощинѣ нѣкій великанъ-озорникъ прыгалъ, вырывая полосы лѣса, нанося землѣ глубокія раны. Въ котловинѣ развалился заводъ этотъ,—грязный, жирный, окутанъ дымомъ и сопитъ. Тянутся къ нему со всѣхъ сторонъ темные люди, онъ ихъ глотаетъ одного за другимъ.

— Богостроители!—думаю.—Настроили!

Дядя вышелъ за ворота, растрепанный, чешется, зѣваетъ, скулы у него хрустятъ, улыбается мнѣ.

— Ага,—кричитъ,—ты всталъ?

Но тотчасъ же ласково спрашиваетъ:

— Али не ложился? Ну, ничего, днемъ поспишь! Айда-ко, выпьемъ чаю!

За чаемъ онъ говоритъ:

— И я, братокъ, ночей не спалъ, было время и всѣхъ по рожамъ бить хотѣлъ! Я еще до солдатчины былъ духомъ смущенъ, а тамъ оглушили меня — ударилъ ротный по уху—не слышу на правое-то. Мнѣ фершалъ одинъ помогъ, дай ему...

Хотѣлъ, видимо, помянуть имя Божіе, но остановился, подергалъ себя за бороду, ухмыляется. Показалось мнѣ въ этомъ нѣчто ребячье, да и глаза его подѣтски свѣтятъ: просто, довѣрчиво.

— Очень хорошій человѣкъ! Углядѣлъ онъ меня—что такое? Я говорю: развѣ же это человѣческая жизнь? Вѣрно, отвѣчаетъ, все надо передѣлать! Давайка, говоритъ, Петръ Васильевъ, я тебя буду политической экономіи учить! И—началъ. Сначала я не понималъ ничего, а потомъ—сразу уразумѣлъ все это безобразіе ежедневное и вѣчное. Такъ почти съ ума сошелъ отъ радости,—ахъ вы, сволочь, кричу! Это вѣдь

сразу открывается, наука-то: сначала слышишь одни только новыя слова, потомъ придетъ минута такая—все вдругъ сложится и обратится въ свѣтъ! И эта минута—настоящее рожденіе человѣка—удивительна!

Лицо у него стало радостнымъ, глаза мягко улыбаются, киваетъ стриженой головой и говоритъ:

— Это тебя ждетъ!

Пріятно смотрѣть на него—увеличивается въ немъ дѣтское. И немножко завидно.

— Двѣ трети жизни прожилъ я, какъ лошадь—обидно! Ну, ничего, нагоню сколько можно! Только не прытокъ я умомъ. Умъ, какъ рука, тоже требуетъ упражненія. А у меня руки умнѣе головы.

Смотрю я на него и думаю:

— Почему эти люди не боятся говорить обо всемъ?

— Зато,—продолжаетъ онъ,—у Мишки на двоихъ разума! Начетчикъ! Ты погоди—онъ себя развернетъ! Его заводскій попъ ересіархомъ назвалъ. Жаль, съ Богомъ у него путаница въ головѣ! Это—отъ матери. Сестра моя знаменитая была женщина по божественной части,—изъ православія въ расколъ ушла, а изъ раскола ее вышибли.

Говоря, собирается онъ на работу, суется изъ угла въ уголъ, и все вокругъ его трещитъ, стулья падаютъ, полъ ходуномъ ходитъ. Смѣшно мнѣ и мило видѣть его такимъ.

— Что это за люди?—думаю.

— Мнѣ дня три можно у васъ прожить?

— Валяй, — говоритъ, — хоть три мѣсяца! Чудакъ! Мы—не стѣсняемся, слава Богу!

Почесалъ голову и, ухмыляясь, объявилъ:

— Нѣтъ-нѣтъ, а все Бога вспомянешь! Привычка!

Снова загудѣлъ заводъ, и дядя ушелъ. А я направился въ сарай. Лежитъ тамъ Михайла, брови строго нахмурилъ, руки на груди, лицо румяное. Безбородый, безусый, скуластый, весь—одна кость крѣпкая.

— Что это за люди?..

Съ этимъ я и уснулъ.

А проснулся—шумъ, свистъ, гамъ, какъ на соборѣ всѣхъ чертей. Смотрю въ дверь — полонъ дворъ мальчишекъ, а Михайла въ бѣлой рубахѣ среди нихъ, какъ парусная лодка между малыхъ челноковъ. Стоитъ и хохочетъ. Голову закинулъ, ротъ раскрытъ, глаза прищурены, и совсѣмъ не похожъ на вчерашняго, постнаго человѣка. Ребята въ синемъ, красномъ, въ розовомъ—горятъ на солнцѣ, прыгаютъ, орутъ. Потянуло меня къ нимъ, вылѣзъ изъ сарая, одинъ увидалъ меня и кричитъ:

— Гляди, братцы, мона-ахъ!

И словно стружки сухія поджегъ—вспыхнули дѣти, завертѣлись, галдятъ, сверкаютъ...

— Ка-кой рыжай!

— Волосищи-то!

— Онъ-те дастъ тютю!

— Эхъ, язви его, здоровъ же!

— Не монахъ, а колокольня!

— Михайлъ Иванычъ—это кто?

Учитель нѣсколько сконфузился, а они хохочутъ, черти. Ужъ не знаю, чѣмъ я былъ смѣшонъ имъ, но и меня заразили—смѣюсь и кричу:

— Брысь, мыши!

А тутъ солнце, цвѣтной шумъ въ воздухѣ—и точно все вокругъ, вздрагивая радостно и буйно, мчится куда-то пестрымъ вихремъ и несетъ меня съ собой, ослѣпляя свѣтомъ, кутая тепломъ. Михайла здоровается, руку жметъ.

— Мы,—говоритъ,—въ лѣсъ идемъ, не хотите ли съ нами?

Очень хорошо все: какой-то пузатый чертенокъ поддѣлъ мою скуфейку, напялилъ на голову себѣ и мотылькомъ летаетъ по двору.

Пошелъ я съ этой ватагой безумныхъ въ лѣсъ; день тотъ былъ для меня весьма памятенъ.

Высыпались ребята на улицу и легко, какъ перья по вѣтру, несутся въ гору, а я иду рядомъ съ ихъ пастыремъ и кажется мнѣ, что впервые вижу такихъ пріятныхъ дѣтей. Мы съ Михайлой идемъ сзади ихъ, онъ командуетъ, покрикиваетъ, дѣтишки не слушаютъ его—толкаются, борются, лукаютъ другъ въ друга сосновыми шишками, спорятъ. А когда устали, окружили насъ, вертятся подъ ногами, какъ жуки, дергаютъ за руки учителя своего, спрашиваютъ что-то о травахъ и цвѣтахъ. Всѣмъ онъ говоритъ дружески, какъ равный имъ, и возвышается надъ ними, словно бѣлый парусъ. Всѣ дѣтишки бойкіе, но иные изъ нихъ—не по возрасту солидны и задумчивы, держатся около учителя и молчатъ.

Потомъ дѣти снова нѣсколько разсѣялись, и Михайла тихо сказалъ мнѣ:

— Развѣ они созданы только для работы и пьянства? Каждый изъ нихъ—вмѣстилище духа живого и могли бы они ускорить ростъ мысли, освобождающей насъ изъ плѣна недоумѣній нашихъ. А войдутъ они въ то же темное и тѣсное русло, въ которомъ мутно протекаютъ дни жизни ихъ отцовъ. Прикажутъ имъ работать и запретятъ думать. Многіе изъ нихъ—а, можетъ быть, и всѣ—подчинятся мертвой силѣ и послужатъ ей. Вотъ источникъ горя земли: нѣтъ свободы росту духа человѣческаго!

Онъ говоритъ, а рядомъ идутъ нѣсколько мальчишекъ и слушаютъ его; забавно это вниманіе! Что могутъ понять юные ростки жизни въ его рѣчахъ? Вспоминаю я своего учителя,—билъ онъ дѣтей линейкой по головамъ и часто бывалъ выпивши.

— Жизнь наполнена страхомъ,—говоритъ Михайла,—силы духа человѣческаго поѣдаетъ взаимная ненависть. Безобразна жизнь! Но—дайте дѣтямъ время ра-

сти свободно, не превращайте ихъ въ рабочій скотъ, и— свободные, бодрые—они освѣтятъ всю жизнь внутри и внѣ васъ прекраснымъ огнемъ юной дерзости духа своего, великой красотой непрерывнаго дѣянія!

Вокругъ вездѣ желтыя головки, голубые глаза, румяныя лица, какъ живые цвѣты въ темной зелени хвои. Смѣхъ и звонкіе голоса веселыхъ птицъ, вѣстниковъ новой жизни.

И вся эта живая красота будетъ потоптана жадностью. Какой тутъ смыслъ? Рождается милый ребенокъ, радуясь, растетъ прекрасное дитя, и вотъ—пакостно ругается и горько стонетъ человѣкъ, бьетъ жену свою, гаситъ тоску водкой.

И, какъ бы отвѣчая думамъ моимъ, говоритъ Михайла:

— Разрушаютъ народъ, едино-истинный храмъ Бога живого, и сами разрушители гибнутъ въ хаосѣ обломковъ, видятъ подлую работу свою и говорятъ: страшно! Мечутся и воютъ: гдѣ Богъ? А сами умертвили его.

Я вспоминаю рѣчи Іоны о дробленіи русскаго народа, и думы мои легко и славно тонутъ въ словахъ Михайлы. Но, не понимаю я, почему онъ говоритъ тихо, безъ гнѣва, какъ будто вся эта тяжкая жизнь уже прошлое для него?

Тепло и ласково дышитъ земля пьяными запахами смолъ и цвѣтовъ. Звеня, порхаютъ птицы.

Вьются дѣти, побѣдители тишины лѣсной, и мнѣ все болѣе ясно, что до этого дня не понималъ я ихъ силы, не видѣлъ красоты.

Хорошъ этотъ Михайла среди нихъ со спокойной улыбкой на лицѣ.

Говорю ему, улыбаясь:

— Уйду отъ васъ въ сторонку, надо мнѣ подумать!

Смотритъ онъ на меня, глаза его лучатся, рѣсницы дрожатъ, и сердце мое отвѣтно вздрагиваетъ.

Ласку я рѣдко видѣлъ, цѣнить ее умѣю, и говорю ему:

— Хорошій вы человѣкъ!

Сконфузился онъ, опустилъ глаза и этимъ очень смутилъ меня. Постояли мы другъ противъ друга молча, разошлись. Потомъ онъ кричитъ мнѣ:

— Не заходите далеко, заплутаетесь!

— Спасибо!

Свернулъ я въ лѣсъ, выбралъ мѣсто, сѣлъ. Удаляются голоса дѣтей, тонетъ смѣхъ въ густой зелени лѣса, вздыхаетъ лѣсъ. Бѣлки скрипятъ надо мной, щуръ поетъ. Хочу обнять душой все, что знаю и слышалъ за послѣдніе дни, а оно слилось въ радугу, обнимаетъ меня и влечетъ въ свое тихое волненіе, наполняетъ душу; безгранично растетъ она, и забылъ я, потерялъ себя въ легкомъ облакѣ безгласныхъ думъ.

Къ ночи пришелъ домой и сказалъ Михаилѣ, что мнѣ надо пожить съ ними до поры, пока я не узнаю ихъ вѣру, и чтобы дядя Петръ поискалъ мнѣ работы на заводѣ.

— Вы бы,—говоритъ,—не торопились; отдохните и надо вамъ книги почитать!

У меня къ нему довѣріе.

— Давайте ваши книги!

— Берите.

— Я,—молъ,—свѣтскихъ не читывалъ, дайте сами, что нужнѣе для меня, напримѣръ—исторію русскую?

— Человѣку—все нужно знать!—говоритъ онъ, и смотритъ на книги такъ же ласково, какъ на дѣтей.

И вотъ—углубился я въ чтеніе; цѣлыми днями чигалъ. Трудно мнѣ и досадно: книги со мной не спорятъ, онѣ просто знать меня не хотятъ. Одна книга—замучила: говорилось въ ней о развитіи міра и человѣческой жизни, противъ библіи было написано. Все очень просто, понятно и необходимо, но нѣтъ мнѣ мѣста въ этой простотѣ, встаетъ вокругъ меня рядъ

разныхъ силъ, а я среди нихъ, какъ мышь въ западнѣ. Читалъ я ее раза два; читаю и молчу, желая самъ найти въ ней прорѣху, черезъ которую могъ бы я вылѣзти на свободу. Но не нахожу.

Спрашиваю учителя моего:

— Какъ же такъ? Гдѣ же—человѣкъ?

— Мнѣ,—говоритъ онъ,—тоже кажется, что это не вѣрно, а въ чемъ ошибка— объяснить не могу! Однако, какъ догадка о планѣ міра, это очень красиво!

Нравилось мнѣ, когда онъ отвѣчалъ „не знаю“ „не могу сказать“, и сильно приближало это меня къ нему, видна была тутъ его честность. Коли учитель разрѣшаетъ себѣ сознаваться въ незнаніи—стало быть, онъ знаетъ нѣчто! Много онъ зналъ неизвѣстнаго мнѣ, и обо всемъ разсказывалъ удивительно просто. Говоритъ, бывало, о томъ, какъ создались солнце, звѣзды и земля—и точно самъ онъ видѣлъ огненную работу невѣдомой и мудрой руки!

Бога не понималъ я у него; но это меня не безпокоило: главной силой міра онъ называлъ нѣкое вещество, а я мысленно ставилъ на мѣсто вещества Бога—и все шло хорошо.

— Богъ еще не созданъ!—говорилъ онъ, улыбаясь.

Вопросъ о Богѣ былъ постоянною причиной споровъ Михайлы съ дядей своимъ. Какъ только Михайла скажетъ „Богъ“—дядя Петръ сердится.

— Началъ! Ты въ это не вѣрь, Матвѣй! Это онъ отъ матери заразился!

— Погоди, дядя! Богъ для Матвѣя—коренной вопросъ!

— Не ври, Мишка! Ты пошли его къ чорту, Матвѣй! Никакихъ боговъ! Это—темный лѣсъ: религія, церковь и все подобное; темный лѣсъ, и въ немъ—разбойники наши! Обманъ!

Михайла упорно твердитъ:

— Богъ, о которомъ я говорю,—былъ, когда люди

единодушно творили его изъ вещества своей мысли, дабы освѣтить тьму бытія; но когда народъ разбился на рабовъ и владыкъ, на части и куски, когда онъ разорвалъ свою мысль и волю'—Богъ погибъ, Богъ—разрушился!

— Слышишь, Матвѣй?—кричитъ дядя Петръ радостно.—Вѣчная память!

А племянникъ смотритъ прямо въ лицо ему и, понижая голосъ, продолжаетъ:

— Главное преступленіе владыкъ жизни въ томъ, что они разрушили творческую силу народа. Будетъ время—вся воля народа вновь сольется въ одной точкѣ; тогда въ ней должна возникнуть необоримая и чудесная сила, и—воскреснетъ Богъ! Онъ-то и есть тотъ, котораго вы, Матвѣй, ищете!

Дядя Петръ махаетъ руками, какъ дровосѣкъ.

— Не вѣрь ему, Матвѣй, вретъ онъ!

И, обращаясь къ племяннику, громитъ его:

— Ты, Мишка, нахватался церковныхъ мыслей, какъ огурцовъ съ чужого огорода наворовалъ, и смущаешь людей! Коли говоришь, что рабочій народъ вызванъ жизнь обновлять—обновляй, а не подбирай то, что попами до дыръ заношено, да и брошено!

Интересно мнѣ слушать этихъ людей и удивляютъ они меня равенствомъ уваженія своего другъ ко другу; спорятъ горячо, но не обижаютъ себя ни злобой, ни руганью. Дядя Петръ, бывало, кровью весь нальется и дрожитъ, а Михайла понижаетъ голосъ свой и точно къ землѣ гнетъ большого мужика. Состязаются предо мной два человѣка и оба они, отрицая Бога, полны искренней вѣры.

— А какова моя вѣра?—спрашиваю я себя—и не умѣю отвѣтить.

Во время жизни съ Михайлой, думы мои о мѣстѣ Господа среди людей завяли, лишились силы, выпало изъ нихъ былое упрямство, вытѣсненное множествомъ

другихъ думъ. И на мѣсто вопроса: гдѣ Богъ?—всталъ другой: кто я и зачѣмъ? Для того, чтобы Бога искать?

Понимаю, что это безсмысленно.

По вечерамъ къ Михайлѣ рабочіе приходили, и тогда заводился интересный разговоръ: учитель говорилъ имъ о жизни, обнажая ея злые законы,—удивительно хорошо зналъ онъ ихъ и показывалъ ясно. Рабочіе—народъ молодой, огнемъ высушенный, въ кожу имъ копоть въѣлась, лица у всѣхъ темныя, глаза—озабоченные. Всѣ до серьезнаго жадны, слушаютъ молча, хмуро; сначала они казались мнѣ невеселыми и робкими, но потомъ увидалъ я, что въ жизни эти люди и попѣть, и поплясать, и съ дѣвицами пошутить горазды.

Разговоры Михайлы и дяди его всегда касались однихъ предметовъ: власть денегъ, униженіе рабочихъ, жадность хозяевъ, необходимость уничтожить раздѣленіе людей на сословія. Но я не рабочій, не хозяинъ, денегъ не имѣю и не ищу—мнѣ эти разговоры душу не задѣвали. Казалось мнѣ, что слишкомъ большую силу придаютъ люди капиталамъ и этимъ унижаютъ себя. Началъ я вступать въ споры съ Михаилой,—доказываю, что сначала человѣкъ долженъ найти духовную родину, тогда онъ и увидитъ мѣсто свое на землѣ, тогда найдетъ свободу. Говорилъ я помногу и горячо, рабочіе слушали рѣчь мою добродушно и внимательно, какъ честные судьи, а которые постарше, тѣ даже соглашались со мной.

Но кончу я—заговоритъ Михайла со своей спокойной улыбкой—и сотретъ мои слова.

— Правъ ты, Матвѣй, когда говоришь, что въ тайнахъ живетъ человѣкъ и не знаетъ, другъ или врагъ ему Богъ, духъ его, но не правъ, утверждая, что невольники, окованные тяжкими цѣпями повседневнаго труда, можемъ мы освободиться изъ плѣна жадности, не разрушивъ вещественной тюрьмы... Прежде всего

должны мы узнать силу ближайшаго врага, изучить его хитрости,—для этого необходимо намъ найти другъ друга, открыть въ каждомъ единое со всѣми, и это единое—наша неодолимая, скажу,—чудотворная, сила! У рабовъ никогда не было Бога, они обоготворяли человѣческій законъ, извнѣ внушенный имъ, и вовѣки не будетъ Бога у рабовъ, ибо Онъ возникаетъ въ пламени сладкаго сознанія духовнаго родства каждаго со всѣми! Не изъ дресвы и обломковъ строятся храмы, но изъ крѣпкихъ цѣльныхъ камней. Одиночество—суть отломленность твоя отъ родного цѣлаго, знакъ безсилія духа и слѣпота его; въ цѣломъ ты найдешь безсмертіе, въ одиночествѣ же—неизбѣжное рабство и тьма, безутѣшная тоска и смерть.

И когда онъ такъ говоритъ, то мнѣ кажется, что глаза его видятъ вдали великій свѣтъ, вовлекаетъ онъ меня въ свой кругъ, и всѣ забываютъ обо мнѣ, а на него смотрятъ радостно.

На первыхъ порахъ это обижало меня; думалъ я, что плохо принимаютъ мои мысли и никто не хочетъ углубиться въ нихъ такъ охотно, какъ въ мысли Михайлы.

Бывало, уйду незамѣтно отъ нихъ, сяду гдѣ-нибудь въ уголъ и тихонько бесѣдую съ гордостью своей.

Подружился я со школьниками; по праздникамъ окружали они меня и дядю Петра, какъ воробьи снопы хлѣба, онъ имъ что-нибудь мастеритъ, а меня дѣти разспрашиваютъ о Кіевѣ, Москвѣ, обо всемъ, что видѣлъ. Но часто, бывало, вдругъ кто-нибудь изъ нихъ такое спроситъ, что я только глазами хлопаю, удивленный.

Былъ тамъ Федя Сачковъ—тихій и серьезный ребенокъ. Однажды иду я съ нимъ лѣсомъ, говорю ему о Христѣ, и вдругъ онъ высказываетъ, солидно таково:

— Не догадался Христосъ на всю жизнь маленькимъ остаться, въ моихъ, примѣрно, лѣтахъ! Остался

бы такъ, да и жилъ, обличалъ бы богатыхъ, помогалъ бѣднымъ—и не распяли бы его, потому—маленькій! Пожалѣли бы! А такъ, какъ онъ сдѣлалъ—будто и не было его...

Лѣтъ одиннадцать Федѣ, личико у него было блѣдное и прозрачное, а глаза недовѣрчивые.

Другой—Маркъ Лобовъ, старшаго класса ученикъ, худой, вихрастый и острый парнишко, былъ великій озорникъ и всеобщій гонитель: насвистываетъ тихонько и щиплетъ, колотитъ, толкаетъ ребятъ, словно молодой подпасокъ овецъ. Какъ-то, вижу я, донимаетъ онъ одного смирнаго мальчика, и уже скоро заплачетъ мальчикъ.

— Маркъ,—говорю я,—а если онъ тебѣ сдачи дастъ?

Взглянулъ на меня этотъ Маркъ и, усмѣхаясь, отвѣчаетъ:

— Не дастъ! Онъ смирный, добрый онъ.

— Такъ зачѣмъ же ты его обижаешь?

— Да такъ,—говоритъ.

И, посвистѣвъ, прибавилъ:

— Смирный онъ!

— Ну, такъ что?—спрашиваю.

— А для чего же смирные-то живутъ?

Сказалъ онъ это удивительно спокойно, — видимо человѣкъ уже въ двѣнадцать лѣтъ увѣренъ былъ, что смирные люди даны для обидъ.

Каждый изъ дѣтей по-своему мудрецъ, все больше они занимаютъ меня, все чаще я думаю о ихъ судьбѣ. Чѣмъ заслужили дѣти тяжелую обидную жизнь, которая ихъ ждетъ.

Вспоминаю Христа и сына моего вспоминаю, и возникаетъ въ душѣ злая мысль:

— Не потому ли запрещаете вы женщинѣ свободно родить дѣтей, что боитесь какъ бы не родился нѣкто опасный и враждебный вамъ? Не потому ли насилуется вами воля женщины, что страшенъ вамъ свободный

сынъ ея, несвязанный съ вами никакими узами? Воспитывая и обучая дѣлу жизни своихъ дѣтей, вы имѣете время и право ослѣплять ихъ, но боитесь, что ничей ребенокъ, растущій въ сторонѣ отъ надзора вашего,— вырастетъ непримиримымъ вамъ врагомъ!

Былъ на заводѣ и такой ничей человѣкъ — звали его Степа,—черный какъ жукъ, рябой, безъ бровей, съ прищуренными глазами, ловкій на всѣ руки, веселый паренекъ.

Знакомство наше началось съ того, что однажды въ праздникъ подошелъ онъ ко мнѣ и спрашиваетъ:

— Монахъ! Ты, слышь, незаконный? Ну вотъ, и я тоже!

И пошелъ со мной рядомъ. Было ему лѣтъ тринадцать, уже школу кончилъ и на заводѣ работалъ. Идетъ, прищуривъ глаза, и разспрашиваетъ:

— Велика земля-то?

Объяснилъ, какъ умѣлъ.

— А тебѣ,—молъ,—на что?

— Надо! Чего я на одномъ мѣстѣ буду торчать? Не дерево. Вотъ, какъ научусь слесарить—пойду въ Россію, въ Москву и—еще куда тамъ?—вездѣ пойду?

Говоритъ онъ такъ, какъ будто грозится кому-то:

— Я—приду!

Сталъ я послѣ этой встрѣчи наблюдать за нимъ; вижу—мальчика тянетъ къ серьезному: гдѣ Михайловы товарищи ведутъ свой разговоръ, тамъ и онъ трется, слушаетъ и щуритъ глаза, какъ бы прицѣливаясь, куда себя направить.

И озорничаетъ особенно: старается что-нибудь испортить тѣмъ людямъ, которые къ начальству стоятъ ближе, — инструментъ спрячетъ, сломаетъ что-нибудь, песку подсыпаетъ въ станки.

Однажды, во время обѣда, говоритъ мнѣ:

— Скучно, монахъ, здѣсь!

— Почему?

— Не знаю. Жидковато люди живутъ! Работа да забота! Скорѣе бы научиться мнѣ — отчалилъ бы я отсюда прочь!

И когда онъ говорилъ о будущемъ походѣ своемъ, то глаза его, открываясь, смѣло глядѣли впередъ, а видъ онъ имѣлъ завоевателя, который ни во что, кромѣ своей силы, не вѣритъ. Нравилось мнѣ это существо и въ рѣчахъ его чувствовалъ я зрѣлость.

— Этотъ—не пропадетъ!—думаю, бывало, поглядывая на него. И душа заноетъ о сынишкѣ моемъ: каковъ онъ и чѣмъ будетъ на землѣ?

Сталъ я замѣчать въ себѣ тихій трепетъ новыхъ чувствъ, какъ будто отъ каждаго человѣка исходитъ ко мнѣ острый и тонкій лучъ, невидимо касается меня, неощутимо трогаетъ сердце, и все болѣе чутко принимаю я эти тайные лучи. Иногда соберутся у Михайлы рабочіе и какъ бы надышатъ горячее облако мысли, окутаетъ оно меня и странно приподниметъ. Вдругъ всѣ начнутъ съ полуслова понимать меня, стою въ кругу людей, и они какъ бы тѣло мое, а я ихъ душа и воля, на этотъ часъ. И рѣчь моя—ихъ голосъ. Бывало, что самъ живешь, какъ часть чьего-то тѣла, слышишь крикъ души своей изъ другихъ устъ и пока слышишь его—хорошо тебѣ, а минетъ время, замолкнетъ онъ, и—снова ты одинъ, для себя.

Вспоминаю былое единеніе съ Богомъ въ молитвахъ моихъ: хорошо было, когда я исчезалъ изъ памяти своей, переставалъ быть! Но въ сліяніи съ людьми не уходилъ я отъ себя, но какъ бы выросталъ, возвышался надъ собою, и увеличивалась сила духа моего во много разъ. И тутъ было самозабвеніе, но оно не уничтожало меня, а лишь гасило горькія мысли мои и тревогу за мое одиночество.

Догадка эта пришла ко мнѣ безплотной и неясной: чувствую, что растетъ въ душѣ новое зерно, но понять

его не могу; только замѣчаю, что влечетъ меня къ людямъ все болѣе настойчиво.

Въ тѣ дни работалъ я на заводѣ за сорокъ копеекъ поденно, таскалъ на плечахъ и возилъ тачкой разныя тяжести,—чугунъ, шлакъ, кирпичъ—и ненавидѣлъ это адово мѣсто со всей его грязью, ревомъ, гомономъ и мучительной тѣлу жарой.

Вцѣпился заводъ въ землю, придавилъ ее и, ненасытно-алчный, сосетъ дни и ночи, задыхаясь отъ жадности, воетъ, выплевывая изъ раскаленныхъ пастей огненную кровь земли. Остынетъ она, почернѣетъ,—онъ снова плавитъ, гудитъ, гремитъ, расплющивая красное желѣзо, брызжетъ искрами и, весь вздрагивая, тянетъ длинныя живыя полосы, словно жилы изъ тѣла земного.

Вижу въ этой дикой работѣ нѣчто страшное, доведенное до безумія. Воющее чудовище, опустошая нѣдра земли, копаетъ пропасть подъ собой и, зная, что когда-то провалится въ нее, озлобленно визжитъ тысячью голосовъ:

— Скорѣй, скорѣй, скорѣй!

Въ огнѣ и громѣ, въ дождѣ огненныхъ искръ, работаютъ почернѣвшіе люди,—кажется, что нѣтъ имъ мѣста здѣсь, ибо все вокругъ грозитъ испепелить пламенной смертью, задавить тяжкимъ желѣзомъ; все оглушаетъ и слѣпитъ, сушитъ кровь нестерпимая жара, а они спокойно дѣлаютъ свое дѣло, возятся хозяйски-увѣренно, какъ черти въ аду, ничего не боясь, все зная.

Ворочаютъ крѣпкими руками малые рычаги и всюду—вокругъ людей, надъ головами у нихъ—покорно и страшно двигаются челюсти и лапы огромныхъ машинъ, пережевывая желѣзо... Трудно понять, чей умъ, чья воля главенствуютъ здѣсь! Иной разъ кажется, что человѣкъ взнуздалъ заводъ и правитъ имъ, какъ желаетъ, а иногда видишь, что и люди, и весь заводъ повинуются дьяволу, а онъ—торжественно и пакостно

хохочетъ, видя безсмыслицу тяжкой возни, руководимой жадностью.

Говорятъ рабочіе другъ другу:

— Пора на работу вставать, эй!

Но люди на ней стоятъ, или она ихъ гнететъ и давитъ — не понимаю! Тяжела работа и властна, но остеръ и ловокъ человѣческій разумъ!

Порою въ этомъ адскомъ шумѣ и вознѣ машинъ вдругъ побѣдительно и беззаботно вспыхнетъ веселая пѣсня, — улыбаюсь я въ душѣ, вспоминая Иванушку-дурачка на китѣ, по дорогѣ въ небеса за чудесной жаръ-птицей.

Народъ на заводѣ—по недугу мнѣ: все этакіе рѣзкіе люди, смѣлые, и хотя матерщинники, похабники и часто пьяницы, но свободный, безстрашный народъ. Не похожъ онъ на странниковъ и холоповъ земли, которые обижали меня своей робостью, растерянной душой, безнадежной печалью, мелкой жуликоватостью въ дѣлахъ съ Богомъ и промежъ себя.

Эти люди въ мысляхъ дерзкіе, и хотя озлоблены каторжнымъ трудомъ,—ссорятся, даже дерутся другъ съ другомъ,—но ежели начальство нарушаетъ справедливость, всѣ они встаютъ противъ его, почти какъ одинъ.

А тѣ парни, которые къ Михайлѣ ходятъ, всегда впереди, говорятъ громче всѣхъ и совершенно ничего не боятся. Раньше, когда я о народѣ не думалъ, то и людей не замѣчалъ, а теперь смотрю на нихъ и все хочу разнообразіе открыть, чтобы каждый предо мной отдѣльно стоялъ. И добиваюсь этого и нѣтъ: рѣчи разныя и у каждаго свое лицо, но вѣра у всѣхъ одна и намѣреніе едино,—не торопясь, но дружно и усердно, строятъ они нѣчто.

Каждый изъ нихъ среди людей—свѣтелъ и пріятенъ, какъ поляна въ густомъ лѣсу для заплутавшагося; каждый тянетъ къ себѣ рабочихъ, которые посмышле-

нѣе, и всѣ Михайловы ребята въ одномъ планѣ держатся, образуя на заводѣ нѣкій духовный кругъ и костеръ свѣтло-горящихъ мыслей.

Сначала—неласково приняли меня, покрикиваютъ, посмѣиваются:

— Эй ты, рыжая муха! Священный клопъ! Дармоѣдъ! Захребетникъ!

Иной разъ и толкнетъ кто-нибудь, но этого я терпѣть не могъ и въ такихъ случаяхъ кулака не жалѣлъ. Но хотя людямъ сила и нравится, а кулакомъ ни уваженія, ни вниманія къ себѣ не выколотишь, и быть бы мнѣ сильно битому, если-бъ въ одну изъ моихъ ссоръ не вмѣшался Михайловъ дружокъ Гаврило Костинъ, молодой литейщикъ, весьма красивый парень и очень замѣтный на заводѣ.

Лѣзло на меня человѣкъ шесть и не добромъ они грозили бокамъ моимъ, но онъ всталъ рядомъ со мной и говоритъ:

— Зачѣмъ же, товарищи, дразнить человѣка? Развѣ онъ не такой же рабочій, какъ и всѣ мы? Несправедливо дѣйствуете, товарищи, и противъ себя! Наша сила—въ тѣсной дружбѣ...

Сказалъ онъ немного, но какъ-то особенно хорошо и просто, точно дѣтямъ говорилъ: всѣ дружки Михайлы каждымъ случаемъ пользовались, чтобы посѣять его мысли. Смутилъ Костинъ противниковъ моихъ, да и меня за сердце задѣлъ,—началъ я тоже рѣчь говорить:

— Я,—молъ,—не потому въ монахи пошелъ, что сытно ѣсть хотѣлъ, а потому, что душа голодна! Жилъ и вижу, вездѣ работа вѣчная и голодъ ежедневный, жульничество и разбой, горе и слезы, звѣрство и всякая тьма души. Кѣмъ же все это установлено, гдѣ нашъ справедливый и мудрый Богъ, видитъ ли Онъ изначальную, безконечную муку людей своихъ?

Собралось довольно много народа, слушаютъ серьез-

но; кончилъ я—молчатъ. Потомъ старый модельщикъ Крюковъ говоритъ Костину:

— Монахъ-то, пожалуй, глубже видитъ, чѣмъ ты съ товарищами! Онъ—съ корня беретъ; видалъ?

Мнѣ пріятно слышать такія слова, а Крюковъ хлопнулъ меня по плечу и сказалъ:

— Ты, братъ, говори, это хорошо! А волосищи-то, все-таки, срѣжь хоть на аршинъ: грязно съ этакой копной, да и людямъ смѣшно.

Кто-то, веселый, кричитъ:

— И въ дракѣ неловко, гляди!

Шутятъ, значитъ, злоба погасла. Гдѣ смѣхъ, тамъ и человѣкъ; скотина не смѣется.

Костинъ въ сторону отвелъ меня.

— Ты,—говоритъ,—Матвѣй, съ такими словами осторожно, за нихъ въ острогъ сажаютъ, случается!

Удивился я.

— Чего?

— Въ острогъ... Знаешь?—Смѣется.

— За что?

— Да вотъ—за осужденіе!

— Шутишь?

— Спроси,—говоритъ,—Михайлу, а мнѣ надо на работу вставать.

Ушелъ. Остался я очень удивленъ его словами, не вѣрится мнѣ, но вечеромъ Михайла все подтвердилъ. Цѣлый вечеръ разсказывалъ онъ мнѣ о жестокихъ гоненіяхъ людей; оказалось, что за такія рѣчи, какъ я говорилъ, и смертью казнили, и тысячи народа костьми легли въ Сибири, въ каторгѣ, но Иродово избіеніе не прекращается, и вѣрующіе тайно растутъ.

Тогда въ душѣ моей все возвысилось и освѣтилось иначе, всѣ рѣчи Михайловы и товарищей его приняли иной смыслъ. Прежде всего—если человѣкъ за вѣру свою готовъ потерять свободу и жизнь, значитъ—онъ

вѣруетъ искренно и подобенъ первомученикамъ за Христовъ законъ.

Всѣ слова Михайловы соприкоснулись другъ-другу, расцвѣли и пріобщились душѣ моей въ тотъ часъ.

Не хочу сказать, что сразу принялъ я ихъ и тогда-же понялъ до глубины, но впервые тѣмъ вечеромъ почувствовалъ я ихъ родственную близость моей душѣ и показалась мнѣ тогда вся земля Виѳлеемомъ, дѣтской кровью насыщенной. Понятно стало горячее желаніе Богородицы, коя, видя адъ, просила Михаила Архангела:

— Архангеле! Допусти меня помучиться въ огнѣ! Пусть и я раздѣлю великія муки эти!

Только здѣсь не грѣшныхъ, а праведниковъ видѣлъ я: желаютъ они разрушить адъ на землѣ, чего ради и готовы спокойно пріять всѣ муки.

— Можетъ быть,—говорю я Михайлѣ,—потому и нѣтъ теперь святыхъ отшельниковъ, что не отъ міра, а въ міръ пошелъ человѣкъ?

— Истинная вѣра, — отвѣчаетъ онъ, — необходимо является источникомъ дѣянія!

— Пріобщите,—прошу,—и меня къ этому дѣлу!

Горитъ во мнѣ все.

— Нѣтъ,—отвѣчаетъ.—Подождите и подумайте, рано вамъ! Если вы, съ вашимъ характеромъ, попадете теперь же въ петлю врага, то надолго и безполезно затянете ее. Напротивъ, послѣ этой вашей рѣчи надо вамъ уйти отсюда. Есть у васъ много нерѣшеннаго и для нашей работы—не свободны вы! Охватила, увлекаетъ васъ красота и величіе ея, но,—передъ вами развернулась она во всей силѣ,—вы теперь какъ бы на площади стоите, и виденъ вамъ посреди ея весь создаваемый храмъ во всей необъятности и красотѣ, но онъ строится тихой и тайной будничной работой, и если вы теперь же, плохо зная общій планъ, возьметесь за нее—исчезнутъ для васъ очертанія храма, разсѣется видѣніе не укрѣ-

пленное въ душѣ, и трудъ покажется вамъ ниже вашихъ силъ.

— Зачѣмъ,—съ тоской спрашиваю его,—вы меня гасите? Я себѣ мѣсто нашелъ, я — радъ видѣть себя силой нужной...

А онъ спокойно и печально говоритъ:

— Не считаю васъ способнымъ жить по плану, не ясному вамъ; вижу, что еще не возникло въ духѣ вашемъ сознаніе связи его съ духомъ рабочаго народа. Вы для меня уже и теперь отточенная треніемъ жизни, выдвинутая впередъ, мысль народа, но сами вы не такъ смотрите на себя; вамъ еще кажется, что вы—герой, готовый милостиво подать отъ избытка силъ помощь безсильному. Вы нѣчто особенное, для самого себя существующее; вы для себя—начало и конецъ, а не продолженіе прекраснаго и великаго безконечнаго!

Начинаю я понимать, зачѣмъ онъ пригибаетъ меня къ землѣ, чувствую неясную мнѣ правду въ словахъ его.

— Вамъ снова,—говоритъ,—надо тронуться въ путь, чтобы новыми глазами видѣть жизнь народа. Книгу вы не принимаете, чтеніе мало вамъ даетъ, вы все еще не вѣрите, что въ книгахъ не человѣческій разумъ заключенъ, а безконечно-разнообразно выражается единое стремленіе духа народнаго къ свободѣ; книга не ищетъ власти надъ вами, но даетъ вамъ оружіе къ самоосвобожденію, а вы—еще не умѣете взять въ руки это оружіе!

Вѣрно онъ говоритъ: чужда мнѣ была книга въ то время. Привыкшій къ церковному писанію, свѣтскую мысль понималъ я съ великимъ трудомъ,—живое слово давало мнѣ больше, чѣмъ печатное. Тѣ же мысли, которыя я понималъ изъ книгъ,—ложились поверхъ души и быстро исчезали, таяли въ огнѣ ея. Не отвѣчали онѣ на главный мой вопросъ: какимъ законамъ подчиняется Богъ, чего ради, создавъ по образу

и подобію своему, унижаетъ вопреки волѣ моей, коя есть Его же воля?

И рядомъ съ этимъ—не борясь—другой вопросъ живетъ: съ неба ли на землю низшелъ Господь, или съ земли на небеса вознесенъ силою людей? И тутъ же горитъ мысль о богостроительствѣ, какъ вѣчномъ дѣлѣ всего народа.

Разрывается душа моя надвое: хочу оставаться съ этими людьми, тянетъ меня идти провѣрять новыя мысли мои, искать неизвѣстнаго, который похитилъ свободу мою и смутилъ духъ мой.

Дядя Петръ тоже уговариваетъ:

— Надо тебѣ, Матвѣй, уйти на время, а то о рѣчахъ твоихъ пошелъ опасный разговоръ...

И скоро все рѣшилось какъ бы помимо моей воли: откуда-то съ другого завода прискакалъ ночью верховой и объявилъ, что у нихъ на заводѣ жандармы обыски дѣлаютъ и что намѣрены они сюда явиться.

— Эхъ, рано!—говоритъ Михайла, огорченный.

Началась нѣкоторая суматоха, а дядя Петръ кричитъ мнѣ:

— Айда, Матвѣй, айда! Нечего тебѣ дѣлать здѣсь, не ты кашу заварилъ, не присаживайся!

И Михайла настойчиво совѣтуетъ, глядя прямо въ лицо мнѣ:

— Лучше вамъ уйти. Пользы отъ вашего присутствія мало, а вредъ можетъ быть!

Понимаю я, что хочется имъ спровадить меня и это—обидно. Но, въ то же время, чувствую я, что боюсь жандармовъ; еще не вижу, а уже боюсь! Знаю, что нехорошо уходить отъ людей въ часъ бѣды, и подчиняюсь ихъ волѣ.

Вытурили меня. Иду въ гору къ лѣсу по зарослямъ между пней, спотыкаюсь, словно меня за пятки хватаютъ, а сзади молчаливый паренекъ Иванъ Быковъ спѣ-

шитъ, съ большой поноской на спинѣ—посланъ прятать въ лѣсу книги.

Добѣжали мы съ нимъ до опушки, нашелъ онъ свой тайникъ, укладываетъ въ него ношу свою. Спокоенъ. А мнѣ жутко. Спрашиваю его:

— А они сюда не придутъ?

— Кто ихъ знаетъ!—говоритъ.—Можетъ, и сюда придутъ. Надо—скорѣе!

Парень онъ неуклюжій, какъ изъ дубовой колоды топоромъ вырубленъ, голова—большая, одно плечо выше другого, руки непомѣрно длинны, и голосъ угрюмъ.

— Ты—боишься?—говорю.

— Чего?

— А что придутъ и заберутъ?

— Лишь бы спрятаннаго не нашли, а то—пускай!

Аккуратно уложилъ все въ яму, зарылъ, заровнялъ ее, набросалъ сверху хвороста, сѣлъ на землю и говоритъ, видя, что я собираюсь идти:

— Сейчасъ тебѣ записку должно принесутъ, погоди.

— Какую?

— Не знаю я.

Поглядываю я изъ-за деревьевъ въ лощину—хрипитъ заводъ, словно сильнаго человѣка душитъ кто-то. Кажется, что по улицамъ поселка во тьмѣ люди другъ за другомъ гонятся, борются, храпятъ со зла, одинъ другому кости ломаютъ. А Иванъ, не торопясь, спускается внизъ.

— Ты куда?

— Домой!

— А схватятъ?

— Я недавно въ дѣлѣ, меня, навѣрно, не знаютъ, а и схватятъ—не бѣда. Изъ тюрьмы люди умнѣе выходятъ.

Вдругъ кто-то громко и ясно спросилъ меня:

— Какъ же это ты, Матвѣй, Бога не боишься, а жандармовъ боишься?

Гляжу я на Ивана—стоитъ онъ и задумчиво смотритъ внизъ.

— Ты,—молъ,—что сказалъ?

— Въ тюрьмѣ—много читаютъ книгъ...

— Больше ничего?

— А развѣ этого мало?

Тлѣетъ внутри меня нѣкая ложь, и колючими искрами вспыхиваютъ стыдные вопросы. Ночь прохладная, а мнѣ жарко.

— Я тоже съ тобой пойду!

— Не велѣно тебѣ!—строго говоритъ Иванъ.—Тебя же обязательно заберутъ,—вѣдь изъ-за твоихъ рѣчей суматоха-то начата!

— Какъ?

— Попъ донесъ въ Верхотурье.

Сѣлъ я на землю, а самъ говорю:

— Тогда—надо мнѣ идти!

Но страхъ мой держитъ меня.

— Бѣжитъ кто-то сюда!—тихо шепчетъ Иванъ.

Смотрю подъ гору—вверхъ по ней тѣни густо ползутъ, небо облачно, мѣсяцъ на ущербѣ то появится, то исчезнетъ въ облакахъ, вся земля вокругъ движется, и отъ этого безшумнаго движенія еще болѣе тошно и боязно мнѣ. Слѣжу, какъ льются по землѣ потоки тѣней, покрывая заросли и душу мою черными покровами. Мелькаетъ въ кустахъ чья-то голова, прыгая между вѣтвей, какъ мячъ.

Иванъ тихонько посвистываетъ и говоритъ:

— Эго—Костя!

Знаю Костю,—мальчикъ лѣтъ пятнадцати, голубоглазый и бѣловолосый, слабосильный. Два года тому назадъ кончилъ въ школѣ учиться. Михайла готовитъ его въ помощники себѣ, тоже въ учителя.

И понимаю, что нарочно думаю объ этомъ: хочу посторонними мыслями свой стыдъ и страхъ заглушить.

Выскочилъ Костя, запыхался, голосъ рвется.

— Пріѣхали! Тебя спрашиваютъ, монахъ! На... Дядя Петръ записку написалъ и велѣлъ мнѣ проводить тебя въ Лобановскій скитъ, идемъ!

Всталъ я, говорю Ивану:

— Прощай, братъ, кланяйся всѣмъ; скажи, чтобы простили меня!

А Костя толкаетъ и строго командуетъ:

— Ты—иди! Кому кланяться? Всѣхъ, навѣрно, заберутъ, какъ курятъ на базаръ!

Пошли. Костя впереди идетъ, тихонько разсказывая, что онъ видѣлъ тамъ, внизу; я шагаю за нимъ, и со всѣхъ сторонъ меня дергаетъ за полы, за рукава, словно спрашиваетъ кто-то:

— Куда? Запуталъ людей, а самъ уходишь?

Разсуждаю вслухъ, какъ бы самъ съ собой:

— Значитъ, это за меня люди попали...

Мальчикъ отвѣчаетъ:

— Не за тебя, а за правду! Ты развѣ правда? Ишь, какой хватъ!

Забавны его слова, и самъ онъ малъ, но чѣмъ-то задѣваетъ меня. Хочется мнѣ оправдать себя предъ нимъ, и началъ было я выкладывать мысли мои, какъ нищій кусочки изъ сумы.

— Да,—молъ,—видно, что великая неправда живетъ во мнѣ...

А онъ ворчитъ, возражая на каждое слово мое, какъ совѣсть:

— Ну ужъ и великая! Все бы тебѣ больше другихъ!

— Это—чужія слова,—думаю я.

— Недаромъ—говоритъ,—Костинъ тебя колокольней назвалъ; не такой, которая въ свое время къ обѣднѣ зоветъ, а которая звонитъ сама себѣ, оттого, что криво строена и колокола на ней плохо привязаны...

Помолчалъ, и вдругъ объявляетъ:

— Не люблю я тебя, монахъ, какой-то ты—чужой...

— Какой?

— Не знаю... Не русскій, что ли, ты? Нехорошій...

Въ другое время я разсердился бы на него, а тутъ—молчу. И какъ-то обезсилѣлъ вдругъ, усталъ до смерти.

Ночь вокругъ и лѣсъ. Между деревьевъ густо налилась сырая тьма и застыла, и не видно, что—дерево и что—ночь. Блеснетъ сверху лунный лучъ, переломится во плоти тьмы—и исчезнетъ. Тихо. Только подъ ногами вѣтки хрустятъ и поскрипываетъ сухая хвоя.

Не боится мальчикъ правду сказать. Всѣ люди этой линіи, начиная съ Іоны, не носятъ страха въ себѣ. У однихъ много гнѣва, другіе—всегда веселы; больше всего среди нихъ скромно-спокойныхъ людей, которые какъ бы стыдятся показать доброе свое.

А Костя шагаетъ по тропѣ, тихо свѣтитъ мнѣ его бѣлая голова. Вспоминаю житіе отрока Варѳоломея, Алексѣя-Божія человѣка, и другихъ. Не то... Думы мои словно кулики по болоту съ кочки на кочку прыгаютъ.

Спрашиваю мальчика:

— Ты читалъ житія святыхъ?

— Маленькій былъ—читалъ. Мать заставляла. А что?

— Нравятся тебѣ Божіи угодники?

— Не знаю... Пантелеймонъ—нравится, Егорій тоже. Со зміемъ дрался. Не знаю я—какая людямъ радость, коли десятеро изъ нихъ святы стали?

Растетъ Костя на моихъ глазахъ.

— Ежели,—говоритъ,—царская или богатаго дочь во Христа повѣритъ, да замучаютъ ее—вѣдь ни царь, ни богачъ добрѣе къ людямъ отъ этого не бывали. Въ житіяхъ не сказано, что исправлялись цари-то, мучители!

Потомъ, помолчавъ, говоритъ:

— Не знаю тоже, на что Христу муки нужны были. Пришелъ онъ горе побѣдить, а вышло...

Подумалъ и добавилъ:

— Ничего и не вышло!

Обнять захотѣлось мнѣ его: жалко Костю, и Христа жалко, и тѣхъ людей, что остались въ поселкѣ—весь человѣческій міръ. И себя. Гдѣ мое мѣсто? Куда иду?

Рѣдѣетъ тьма короткой лѣтней ночи, сквозь вѣтви сосенъ ручьями льется сверху тихій свѣтъ.

— Ты не усталъ, Костя?

— Я?—говоритъ мальчикъ бодро.—Нѣтъ. Я люблю ночью ходить, будто сквозь ее проходишь, какъ особенную страну. Я—сказки люблю.

На разсвѣтѣ мы съ нимъ легли спать. Костя въ сонъ какъ въ рѣчку нырнулъ, а я въ мысляхъ моихъ хожу, какъ нищій татаринъ вокругъ церкви зимой. На улицѣ—вьюжно и холодно, а во храмъ войти—Магометъ не велитъ.

Къ утру что-то надумалъ, и, когда мальчикъ проснулся, говорю ему:

— Ты прости, что зря шагалъ со мной—не пойду я въ скитъ, не хочу прятаться!

Онъ же серьезно взглянулъ и замѣчаетъ:

— Да ты ужъ спрятался!

И, помахивая вѣткой, не смотритъ на меня.

— Ну, прощай, голубь!

Кивнулъ головой:

— Прощай!

Пошелъ я прочь. Оглянулся—стоитъ онъ межъ деревьевъ, провожаетъ меня.

— Эй!—кричитъ.—Прощай!

И мнѣ стало пріятно, что повторилъ онъ слово это ласковѣе.

Много дней шелъ я, какъ больной, полонъ скуки тяжелой. Въ душѣ моей — тихій поземокъ-пожаръ, выгораетъ душа, какъ лѣсная поляна, и думы вмѣстѣ съ тѣнью моей то впереди меня ползутъ, то сзади тащатся ѣдкимъ дымомъ. Стыдно ли было мнѣ, или что другое,—не помню и не могу сказать. Родилась одна

черная мысль и гдѣ-то снаружи вьется вокругъ меня, какъ летучая мышь.

— Безбожники, а не богостроители...

Но тяжелѣе и шире всѣхъ думъ была во мнѣ, помню, нѣкая глухая тишина, лѣнивый и глубокій, какъ мутный омутъ, покой, и въ немъ, въ густой его глубинѣ, тяжко и трудно плаваютъ нѣмыя мысли, подобныя боязливымъ рыбамъ, извиваются и не могутъ выпырнуть изъ душной глубины къ свѣту, наверхъ.

Извнѣ мало доходило до меня; какъ сквозь сонъ помню встрѣчи съ людьми.

Гдѣ-то около Омска на сельскую ярмарку попалъ и тамъ проснулся...

Сидитъ у дороги въ пыли слѣпой и тянетъ пѣсню, а поводырь, стоя на колѣняхъ около него, на гармоніи подыгрываетъ. Старикъ смотритъ въ небо пустыми глазами и отдаленнымъ ржавымъ голосомъ выводитъ пѣвучія слова, воскрешая старину:

— При царѣ ли Иванѣ Васильевѣ...

А гармонія глуховато подтягиваетъ:

— У-у-у...

Опустился я на землю рядомъ со слѣпымъ, протянулъ онъ мнѣ руку, подержалъ, опустилъ и, не переставая, поетъ:

— А и жилъ-былъ Ермакъ, Тимоѳеевъ сынъ...

— А а-а...—вторитъ гармонія, и вокругъ пѣсни потихоньку собирается задумчивый народъ и серьезно слушаетъ старину, наклоняя головы къ землѣ.

Вѣетъ на меня сухимъ тепломъ, вижу лучи любопытныхъ глазъ и кто-то спрашиваетъ:

— А этотъ не поетъ?

— Онъ послѣ, погоди!

Разбойныя пѣсни я часто слыхалъ, но не зналъ, изъ чьихъ словъ онѣ сложены, чья душа свѣтитъ въ нихъ, а на сей разъ понялъ это: говоритъ мнѣ пѣсня тысячами устъ древняго народа:

— Я тебѣ, человѣкъ, и за малую твою услугу великъ грѣхъ противъ меня прощу!

Народъ все любопытнѣе глядитъ на меня, поджигая мнѣ душу.

Кончилъ старикъ пѣсню, всталъ я и говорю:

Православные! Вотъ, жилъ разбойникъ, обижалъ народъ, грабилъ его... Смутился совѣстью, пошелъ душу спасать,—захотѣлъ послужить народу буйной силою своей и—послужилъ... . . . . .

Сгустились люди вокругъ меня, точно обняли, роститъ ихъ вниманіе силу слова моего, даетъ ему звукъ и красоту, тону я въ своей рѣчи и—все забылъ; чувствую только, что укрѣпляюсь на землѣ и въ людяхъ,—поднимаютъ они меня надъ собой, молча внушая:

— Говори! Говори всю правду, какъ видишь!

Конечно, явился полицейскій, кричитъ: „разойдись!“ спрашиваетъ, о чемъ крикъ, требуетъ паспортъ. Народъ тихонько таетъ, какъ облако на солнцѣ; полицейскій интересуется, что я говорилъ. Иные отвѣчаютъ:

— Про Бога...

— Такъ себѣ, разное...

— Про Бога больше...

А какой-то чернорабочій человѣкъ стоитъ въ сторонѣ у телѣги, пристально смотритъ на меня и ласково улыбается. Полицейскій, однако, за шиворотъ меня схватилъ; хочется мнѣ стряхнуть его, но, вижу, люди смотрятъ на меня искоса, вполглаза, словно спрашиваютъ:

— А теперь что ты скажешь?

И отъ ихъ недовѣрія бѣднѣю я.

Однако, во-время справился, отвелъ руку начальства, говорю ему:

— Хочешь знать, что я сказалъ?

И снова началъ разсказывать о несправедливой жизни, — снова сгрудился базарный народъ большой толпой, полицейскій теряется въ ней, затираютъ его.

Вспоминаю Костю и заводскихъ ребятъ, чувствую гордость въ себѣ и великую радость—снова я силенъ, и какъ во снѣ... Свиститъ полицейскій, мелькаютъ разныя лица, горитъ множество глазъ, качаются люди жаркой волной, подталкиваютъ меня, и легокъ я среди нихъ. Кто-то за плечо схватилъ, шепчетъ мнѣ въ ухо:

— Иди, довольно, иди!

И толкаютъ, толкаютъ меня... Вотъ очутился я уже на какомъ-то дворѣ, чернобородый мужчина со мной рядомъ и одинъ молодецъ безъ шапки на головѣ. Черный говоритъ:

— Лѣзь черезъ плетень!

Лѣзу, потомъ—черезъ другой; забавно и пріятно мнѣ.

— Ага!—думаю,—вотъ вы какъ?

А чернобородый торопитъ:

— Живо, товарищъ, живо!

На ходу спрашиваю его:

— Вы—изъ какихъ?

— Изъ этакихъ!—говоритъ.

Парень безъ шапки слѣдомъ идетъ и молчитъ. Прошли огороды, опустились въ оврагъ,—по дну его ручей бѣжитъ, въ кустахъ тропа вьется. Взялъ меня черный за руку, смотритъ въ глаза и, смѣясь, говоритъ:

— Ну, благополучнаго пути! Вотъ, Ѳедюкъ тебя проводитъ до хорошей дороги, иди!

Парень говоритъ ему:

— А ты самъ скорѣй уходи...

Черный согнулся и полѣзъ въ гору, а я и Ѳедюкъ пошли вдоль ручья.

— Что это за человѣкъ?—спрашиваю.

— Ссыльный, кузнецъ. Тоже за политику.

— Этакихъ,—молъ,—я знаю!

Весело мнѣ. А онъ—молчитъ.

Взглянулъ я на парня: лицо круглое, курносое, точно изъ камня высѣчено, а сѣрые глаза далеко впе-

редъ ушли. Говоритъ—глухо, идетъ безъ шума и вытянулся весь, словно прислушивается или большая сила кверху тянетъ его. Руки за спиной держитъ, какъ, бывало, мой тесть.

— Ты самъ—здѣшній?

— Поповъ батракъ.

— А гдѣ у тебя шапка-то?

Ощупалъ голову, поглядѣлъ на меня и спрашиваетъ:

— Тебѣ она на что?

— Такъ. Вечеръ, холодно будетъ...

Помолчалъ онъ, потомъ неохотно ворчитъ:

— Песъ съ ней, съ шапкой,—была бы голова!

Оврагъ все глубже, ручей звенитъ слышнѣе, вечеръ встаетъ изъ кустовъ.

Въ душѣ у меня неясно, а пріятно, и хочется мнѣ говорить съ человѣкомъ.

— Одинъ,—спрашиваю,—ссыльный-то у васъ?

Тутъ парень точно шубу распахнулъ, весь открылся и медленно, глухо забубнилъ:

— Четверо. Баринъ изъ Москвы, трое рабочихъ съ Дона. Двое—смирные, даже водку пьютъ, а баринъ и этотъ, Ратьковъ, они—говорятъ! Тайно. Кое съ кѣмъ. А при всемъ народѣ—не рѣшались, покамѣстъ. Ихъ тутъ много. Они—кругомъ. Самъ я—бирскій, Митьковъ Ѳедоръ. Пятый годъ здѣсь. За это время ихъ тутъ было одиннадцать. Въ Олежиномъ—восемь, въ Шиковой—трое...

Считалъ онъ долго, десятковъ до шести дошелъ; кончивъ—подумалъ, и снова говоритъ, шевеля пальцами:

— Даже нѣкоторые мужики между ними. Всѣ говорятъ одно: не годится такая жизнь! Стѣсняетъ. Покуда я этого не слыхалъ—жилъ спокойно. А теперь—вижу, ростомъ я не выросъ, а приходится голову нагибать, значитъ, вѣрно, стѣсняетъ!

Бесѣдуетъ парень трудно, выдергиваетъ каждое слово точно изъ-подъ ногъ. Идетъ впереди, на меня не оглядывается, широкій, крѣпкій. Спрашиваю:

— Грамотенъ?

— Зналъ, да позабылъ. Теперь съ начала обучаюсь. Ничего, могу. Надо, ну и можешь. А надо... Ежели бы только господа говорили о стѣсненіи жизни, такъ и песъ съ ними, у нихъ всегда другая вѣра была! Но если свой братъ, бѣдный рабочій человѣкъ, началъ, то ужъ, значитъ, вѣрно! И потомъ — стало такъ, что иной человѣкъ изъ простыхъ уже дальше барина прозрѣваетъ. Значитъ, это общее, человѣчье началось. Они такъ и говорятъ: общее, человѣчье. А я— человѣкъ. Стало быть и мнѣ дорога съ ними. Вотъ я и думаю...

Слушаю я его и говорю самъ себѣ:

— Учись, Матвѣй...

А потомъ говорю ему:

— Что же,—молъ,—думать?—Это дѣло—Божье!

Онъ всталъ,—коломъ воткнулся въ землю, такъ что я его въ спину толкнулъ,—повернулъ ко мнѣ лицо и строго спрашиваетъ:

— То-то, Божье ли? Вотъ я и думаю. Потому что указано—чти отца! И власти онѣ, тоже сказано, отъ Бога. Это подтверждено знаменіями. Значитъ, ежели старый законъ измѣняется—тоже должны быть даны знаменія! А гдѣ они? Въ сторону новыхъ законовъ—нѣтъ чудесъ! Никакихъ. Все по-старому. Вонъ въ Нижнемъ мощи открыли—и даны чудеса; говорятъ: не тѣ мощи, борода, дескать, у Серафима сѣдая была, а показываютъ—рыжую. Да дѣло-то не въ бородѣ, а въ чудѣ. Были чудеса? Были! Они этого не признаютъ. Считаютъ обманомъ всѣ признаки. Или говорятъ—это вѣра творитъ чудеса. И бываетъ такъ, что хочется мнѣ перебить ихъ, чтобы не смущали.

Снова стоитъ онъ и вокругъ его—ночь поднимается

съ земли. Круче падаетъ тропинка, торопливѣе бѣжитъ ручей и, тихо качаясь, шелестятъ кусты.

Я тихонько говорю человѣку:

— Иди, братъ!

Пошелъ онъ. И во тьмѣ не спотыкался, а я то и дѣло тыкаюсь въ спину ему.

Катится онъ внизъ, подобно камню, и въ тишинѣ гудятъ жуткія слова:

— Вѣдь ежели я повѣрю—тогда шабашъ! Я—не милостивъ, нѣтъ! У меня братъ въ солдатахъ былъ—удавился; сестра у кумысниковъ подъ Бирскомъ въ прислугахъ жила—ребенокъ у нея отъ нихъ кривоногій: четыре года, а не ходитъ. Значитъ, пропала дѣвка изъ-за баловства. Куда ее теперь? Отецъ—пьяница, а старшой братъ всю землю захватилъ. Весь я тутъ...

Вертимся мы съ нимъ среди кустовъ въ сырой тьмѣ; ручей то уходитъ отъ насъ въ глубину, то снова подъ ноги подкатится. Надъ головами—безшумно пролетаютъ ночныя птицы, выше ихъ—звѣзды. Хочется мнѣ скорѣе идти, а человѣкъ впереди меня не спѣшитъ и непрерывно бормочетъ, какъ-бы считая мысли свои, взвѣшивая ихъ тяжесть.

— Этотъ черный, Ратьковъ, хорошій человѣкъ! Живетъ уже по новому закону. За обиженнаго—вступается. Меня урядникъ палкой билъ—сейчасъ онъ урядника объ землю. Посадили его на пятнадцать дней. Первое наше знакомство. Вышелъ онъ, я его спрашиваю: „ты какъ это можешь выступать противъ начальства?“ Онъ мнѣ сейчасъ разсказалъ свой законъ. Я къ попу. А попъ говоритъ: „ага! ты вотъ какія мысли крутишь!“ Ратькова въ городъ отвезли въ тюрьму, три мѣсяца сидѣлъ, а я—девятнадцать дѣнъ. Спрашиваютъ тамъ меня: „онъ что говорилъ?“ „Ничего“. „Чему училъ?“. „Ничему не училъ“. Я тоже не дуракъ! Воротился Ратьковъ. Я говорю: „прости меня, дуракъ я былъ“. Онъ—только смѣется. „Ерунда“,—говоритъ!

Помолчалъ мой путеводитель, и тише, новымъ голосомъ, продолжаетъ:

— У него—все ерунда! Кровью харкаетъ—ерунда! Есть нечего—ерунда!

Вдругъ выругался по-матерному, обернулся грудью ко мнѣ и сквозь зубы свиститъ:

— Я все могу понять. Братъ пропалъ—это бываетъ въ солдатахъ. И сестрино дѣло—не рѣдкое. А зачѣмъ этого человѣка до крови замучили, этого не могу понять. Я за нимъ, какъ собака, побѣгу, куда велитъ. Онъ меня зоветъ „земля“... „Земля“,—говоритъ,—и смѣется. И что его всегда мучаютъ, это мнѣ—ножъ!

И снова похабно выругался, точно пьяный монахъ.

Раскрылся оврагъ, развернулъ свои стѣны по полю и, наклонивъ ихъ, слилъ съ темнотой.

— Ну,—говоритъ мнѣ провожатый,—прощай теперь!

Разсказалъ дорогу на Омскъ, повернулъ назадъ и скрылся во тьмѣ. Безъ шапки.

Какъ погасли въ тишинѣ его тяжелые шаги, сѣлъ я, не хочу дальше идти!

Плотно легла на землю ночь и спитъ, свѣжая, густая, какъ масло. Въ небѣ ни звѣздъ, ни луны, и ни одного огня вокругъ, но тепло и свѣтло мнѣ. Гудятъ въ моей памяти тяжелыя слова провожатаго, и похожъ онъ на колоколъ, который долго въ землѣ лежалъ, весь покрытъ ею, изъѣденъ ржавчиной, и хотя глухо звонитъ, а по-новому.

Стоитъ предо мною сельскій народъ, серьезно и чутко слушая мою рѣчь, мелькаютъ озабоченныя лица, оттирая меня въ сторону отъ начальства.

— Вотъ какъ?—удивленно думаю я, и трудно повѣрить, что это было.

И снова думаю:

— Парень этотъ ищетъ знаменій,—онъ самъ чудо, коля могъ сохранить въ ужасахъ жизни любовь къ человѣку! И толпа, которая слушала меня—чудо, ибо

вотъ—не оглохла она и не ослѣпла, хотя долго и усердно оглушали, ослѣпляли ее. И еще бо́льшее чудо—Михайла съ товарищами!

Спокойно и плавно текутъ мои мысли, необычно это для меня и неожиданно. Осторожно разглядываю себя, тихонько обыскиваю сердце—хочу найти въ немъ тревоги и спорныя недоумѣнія. Улыбаюсь въ безгласной темнотѣ и боюсь пошевелиться, чтобы не расплескать незнакомую радость, коей сердце по-края полно. Вѣрю и не вѣрю этой удивительной полнотѣ души, неожиданной находкѣ для меня.

Словно нѣкая бѣлая птица, давно уже рожденная, дремала въ сумракѣ души моей, а я этого не зналъ и не чувствовалъ. Но вотъ нечаянно коснулся ея, пробудилась она и тихо поетъ на утрѣ—трепещутъ въ сердцѣ легкія крылья, и отъ горячей пѣсни таетъ ледъ моего невѣрія, превращаясь въ благодарныя слезы. Хочется мнѣ говорить какія-то слова, встать, идти и пѣть пѣсню, да человѣка встрѣтить бы и жадно обнять его!

Вижу предъ собой лучистое лицо Іоны, милые глаза Михайлы, строгую усмѣшку Кости: всѣ знакомые, милые и новые люди ожили, сошлись въ моей груди и расширяютъ ее—до боли хорошо!

Такъ я, бывало, въ заутреню па Пасху Бога, себя и людей любилъ. Сижу и, вздрагивая, думаю:

— Господи, не Ты ли это? Не Ты ли это, красота красотъ, радость моя и счастіе?

Кругомъ—тьма и въ ней свѣтлыя лица вѣрующихъ, тихо кругомъ, только мое сердце немолчно поетъ.

И глажу я землю руками, глупо похлопываю ладонями по ней, точно она конь мой и чувствуетъ ласку.

Не могу сидѣть, всталъ и пошелъ, — сквозь ночь, вспоминая Костины слова, видя предъ собою дѣтскую строгость его глазъ,—пошелъ и, опьяненный радостью, до поздней осени ходилъ по міру, собирая душой щедрыя и новыя даянія его.

Въ Омскѣ на вокзалѣ переселенцевъ видѣлъ, хохловъ; много земли покрыли они тѣломъ своимъ, великая дружина трудовой силы. Ходилъ между ними, слушая ихъ мягкую рѣчь, спрашивалъ:

— Не боитесь такъ далеко забросить себя?

Одинъ изъ нихъ, сѣдой и согнутый работой, отвѣтилъ:

— Лишь бы была подъ ногами земля, а на ней — все недалеко! Тѣсно на землѣ, человѣкъ, тому, кто своимъ трудомъ долженъ жить; тѣсно, эхъ!

Раньше слова горя и печали пепломъ ложились на сердце мнѣ, а теперь какъ острая искра зажигаютъ его, ибо всякое горе нынѣ — мое горе, и недостатокъ свободы народу утѣсняетъ меня.

Нѣтъ людямъ мѣста и времени духовно расти—и это горько, это опасно опередившему ихъ, ибо остается онъ одинъ впереди, не видятъ люди его, не могутъ подкрѣпить силою своей, и, одинокій, безполезно истлѣваетъ онъ въ огнѣ желаній своихъ.

Говорю я хохламъ, зная ихъ ласковый языкъ:

— Вѣка ходитъ народъ по землѣ туда и сюда, ищетъ мѣста, гдѣ бы могъ свободно приложить силу свою для строенія справедливой жизни; вѣка ходите по землѣ вы, законные хозяева ея,—отчего? Кто не даетъ мѣста народу, царю земли, на тронѣ его, кто развѣнчалъ народъ, согналъ его съ престола и гонитъ изъ края въ край, творца всѣхъ трудовъ, прекраснаго садовника, возрастившаго всѣ красоты земли?

Разгораются очи людей, свѣтитъ изъ нихъ пробудившаяся человѣческая душа, и мое зрѣніе тоже становится широко и чутко: видишь на лицѣ человѣка вопросъ и тотчасъ отвѣчаешь на него; видишь недовѣріе—борешься съ нимъ. Черпаешь силу изъ открытыхъ передъ тобою сердецъ и этой же силою объединяешь ихъ въ одно сердце.

Если, говоря людямъ, задѣнешь словомъ своимъ

общее всѣмъ, тайно и глубоко погруженное въ душѣ каждаго истинно-человѣческое, то изъ глазъ людей истекаетъ лучистая сила, насыщаетъ тебя и возноситъ выше ихъ. Но не думай, что это твоя воля подняла тебя: окрыленъ ты скрещеніемъ въ душѣ твоей всѣхъ силъ, извнѣ обнявшихъ тебя, крѣпокъ силою, кою люди воплотили въ тебѣ на сей часъ; разойдутся они, разрушится ихъ духъ, и снова ты—равенъ каждому.

Такъ началъ я скромный свой благовѣстъ, призывая людей къ новой службѣ, во имя новой жизни, но еще не зная Бога новаго моего.

Въ Златоустѣ, въ день какого-то праздника, на площади говорилъ, и опять полиція вмѣшалась, ловили меня, а народъ—снова скрылъ.

Познакомился я тамъ съ великолѣпными людьми; одинъ изъ нихъ, Яша Владыкинъ, студентъ изъ духовнаго званія, и теперь мой крѣпкій другъ, и на всю жизнь такимъ будетъ! Въ Бога не вѣруя, церковную музыку любитъ онъ до слезъ: играетъ на фисгармоніи псалмы и плачетъ, милѣйшій чудакъ.

Я его спрашиваю, смѣясь:

— Отчего же ты ревешь, еретикъ, аѳеистъ?

Кричитъ мнѣ, потрясая руками:

— Отъ радости, отъ предчувствія великихъ красотъ, кои будутъ сотворены! Ибо—если даже въ такой суетной и грязной жизни, ничтожными силами единицъ уже создана столь велія красота,—что же будетъ содѣяно на землѣ, когда весь духовно-освобожденный міръ начнетъ выражать горѣніе своей великой души въ псалмахъ и въ музыкѣ?

Начнетъ онъ говорить о будущемъ, ослѣпительно ясномъ для него, и самъ удивляется видѣніямъ своимъ! Многимъ я обязанъ этому другу своему, равно какъ и Михайлѣ.

Десятки видѣлъ я удивительныхъ людей—одинъ до другого посылали они меня изъ города въ городъ, —

иду я, какъ по огненнымъ вѣхамъ,—и всѣ онѣ зажжены пламенемъ одной вѣры. Невозможно исчислить разнообразіе людей и выразить радость при видѣ духовнаго единства всѣхъ ихъ.

Великъ народъ русскій, и неописуемо прекрасна жизнь!

Въ Казанской губерніи пережилъ я послѣдній ударъ въ сердце, тотъ ударъ, который завершаетъ строеніе храма.

Было это въ Седьміозерной пустыни, за крестнымъ ходомъ съ чудотворной иконой Божіей Матери: въ тотъ день ждали возвращенія иконы въ обитель изъ города,—день торжественный.

Стоялъ я на пригоркѣ надъ озеромъ и смотрѣлъ: все вокругъ залито народомъ, и течетъ темными волнами тѣло народное къ воротамъ обители, бьется, плещется о стѣны ея — нисходитъ солнце и ярко-красны его осенніе лучи. Колокола трепещутъ, какъ птицы, готовыя летѣть вслѣдъ за пѣснью своей, и вездѣ—обнаженныя головы людей краснѣютъ въ лучахъ солнца, подобно махровымъ макамъ.

У воротъ обители—чуда ждутъ: въ небольшой телѣжкѣ молодая дѣвица лежитъ неподвижно; лицо ея застыло, какъ бѣлый воскъ, сѣрые глаза полуоткрыты, и вся жизнь ея—въ тихомъ трепетѣ длинныхъ рѣсницъ.

Рядомъ съ нею отецъ, высокій мужчина, лысый и сѣдобородый, съ большимъ носомъ, и мать — полная, круглолицая; подняла она брови, открыла широко глаза, смотритъ впередъ, шевеля пальцами, и кажется, что сейчасъ закричитъ она, пронзительно и страстно.

Подходятъ люди, смотрятъ больной въ лицо, а отецъ мѣрнымъ голосомъ говоритъ, тряся бородой:

— Пожалѣйте, православные, помолитесь за несчастную, безъ рукъ, безъ ногъ лежитъ четвертый годъ; попросите Богородицу о помощи, возмѣстится вамъ Господомъ за святыя молитвы ваши, помогите отцу-матери горе избыть.

Видимо, давно возитъ онъ дочь свою по монастырямъ и уже потерялъ надежду на излѣченіе; выпѣваетъ неустанно одни и тѣ же слова, а звучатъ они въ его устахъ мертво. Люди слушаютъ прошеніе его, вздыхая крестятся, а рѣсницы дѣвушки все дрожатъ, окрыляя тоскливые глаза.

Можетъ быть, двадцать разслабленныхъ дѣвицъ видѣлъ я, десятки кликушъ и другихъ немощныхъ, и всегда мнѣ было совѣстно, обидно за нихъ,—жалко бѣдныя, лишенныя силы, тѣла, жалко ихъ безплоднаго ожиданія чуда. Но никогда еще не чувствовалъ я жалость съ такой силой, какъ въ этотъ разъ.

Великая нѣмая жалоба застыла на бѣломъ, полумертвомъ, лицѣ дочери, и безгласная тоска туго охватила мать. Тяжело стало мнѣ, отошелъ я, а забыть не могу

Тысячи глазъ смотрятъ вдаль, и вокругъ меня плыветъ, точно облако, теплый и густой шопотъ:

— Несутъ, несутъ!

Тяжело и медленно поднимается въ гору народъ, словно темный валъ морской, красной пѣной горитъ надъ нимъ золото хоругвей, брызгая снопами яркихъ искръ, и плавно качается, рѣетъ, подобно огненной птицѣ, осіянная лучами солнца, икона Богоматери.

Изъ тѣла народа поднимается его могучій вздохъ—тысячеголосое пѣніе:

— Заступница усердная, Мати Господа Вышняго!

Рубятъ пѣніе глухіе крики:

— Шагу! Прибавь шагу! Шагу!

Въ рамѣ синяго лѣса свѣтло улыбается озеро, таетъ красное солнце, утопая въ лѣсу, веселъ мѣдный гулъ колоколовъ. А вокругъ—скорбныя лица, тихій и печальный шопотъ молитвы, отуманенные слезами глаза, и мелькаютъ руки, творя крестное знаменіе.

Одиноко мнѣ. Все это для меня—заблужденіе безрадостное, полное безсильнаго отчаянія, усталаго ожиданія милости.

Подходятъ снизу люди; лица ихъ покрыты пылью, ручьи пота текутъ по щекамъ, дышатъ тяжко, смотрятъ странно, какъ бы не видя ничего, и толкаются, пошатываясь на погахъ. Жалко ихъ, жалко силу вѣры, распыленную въ воздухѣ.

Нѣтъ конца теченію народа!

Возбужденно, но мрачно и какъ бы укоряя, несется по воздуху мощный крикъ:

— Радуйся, Всеблагая, радуйся!

И снова:

— Шагу! Шагу!

Въ цѣломъ облакѣ пыли сотни черныхъ лицъ, тысячи глазъ, точно звѣзды млечнаго пути. Вижу я: всѣ эти очи—какъ огненныя искры одной души, жадно ожидающей невѣдомой радости.

Идутъ люди, какъ одно тѣло, плотно прижались другъ къ другу, взялись за руки и идутъ такъ быстро, какъ будто страшно далекъ ихъ путь, но готовы они сейчасъ же неустанно идти до конца его.

Душа моя дрожитъ великой дрожью непонятной тревоги; какъ молнія вспыхнуло въ памяти великое слово Іонино:

— Богостроитель народъ!?

Рванулся я, опрокинулся встрѣчу народу, бросился въ него съ горы и пошелъ съ нимъ, и запѣлъ во всю грудь:

— Радуйся, благодатная сила всѣхъ силъ!

Схватили меня, обняли—и поплылъ человѣкъ, тая во множествѣ горячихъ дыханій. Не было земли подъ ногами моими, и не было меня и времени не было тогда, но только—радость, необъятная, какъ небеса. Былъ я раскаленнымъ углемъ пламенной вѣры, былъ незамѣтенъ и великъ, подобно всѣмъ, окружавшимъ меня во время общаго полета нашего.

— Шагу!

И неудержимо летитъ надъ землею народъ, готовый

перешагнуть всѣ преграды и пропасти, всѣ недоумѣнія и темные страхи свои.

Помню—остановилось все около меня, возникло смятеніе, очутился я около телѣжки съ больной, помню крики и ропоть:

— Молебенъ, молебенъ!

Было великое возбужденіе: толкали телѣжку, и голова дѣвицы немощно, безсильно качалась, большіе глаза ея смотрѣли со страхомъ. Десятки очей обливали больную лучами, на разслабленномъ тѣлѣ ея скрестились сотни силъ, вызванныхъ къ жизни повелительнымъ желаніемъ видѣть больную возставшей съ одра, и я тоже смотрѣлъ въ глубину ея взгляда и невыразимо хотѣлось мнѣ вмѣстѣ со всѣми, чтобы встала она, не себя ради и не для нея, но для чего-то иного, предъ чѣмъ и она, и я—только перья птицы въ огнѣ пожара.

Какъ дождь землю влагою живой, насыщалъ народъ изсохшее тѣло дѣвицы этой силою своей, шепталъ опъ и кричалъ мнѣ и ей:

— Ты—встань, милая, вставай! Подними руки-то, не бойся! Ты вставай, вставай безъ страха! Болѣзная, вставай! Милая! Подними ручки-то!

Сотни звѣздъ вспыхнули въ душѣ ея, и розовыя тѣни загорѣлись на мертвомъ лицѣ; еще больше раскрылись удивленные и радостные глаза, и, медленно шевеля плечами, она покорно подняла дрожащія руки и послушно протянула ихъ впередъ—уста ея были открыты и была она подобна птенцу, впервые вылетающему изъ гнѣзда своего.

Тогда все вокругъ охнуло,—словно земля мѣдный колоколъ и нѣкій Святогоръ ударилъ въ него со всей силою своей,—вздрогнулъ, пошатнулся народъ и смѣшанно закричалъ:

— На ноги! Помогай ей! Вставай, дѣвушка, на ноги Поднимайте ее!

Мы схватили дѣвицу, приподняли ее, поставили на землю и держимъ легонько, а она сгибается, какъ колосъ на вѣтру, и вскрикиваетъ:

— Милые! Господи! О, Владычица! Милые!

— Иди,—кричитъ народъ,—иди!

Помню пыльное лицо въ поту и слезахъ, а сквозь влагу слезъ повелительно сверкаетъ чудотворная сила—вѣра во власть свою творить чудеса.

Тихо идетъ среди насъ исцѣленная, довѣрчиво жмется ожившимъ тѣломъ своимъ къ тѣлу народа, улыбается, бѣлая вся, какъ цвѣтокъ, и говоритъ:

— Пустите, я—одна!

Остановилась, покачнулась—идетъ. Идетъ, точно по ножамъ, разрѣзающимъ пальцы ногъ ея, но идетъ одна, боится и смѣется, какъ малое дитя, и народъ вокругъ ея тоже радостенъ и ласковъ, подобно ребенку. Волнуется, трепещетъ тѣло ея, а руки она простерла впередъ, опираясь ими о воздухъ, насыщенный силою народа, и отовсюду поддерживаютъ ее сотни свѣтлыхъ лучей.

У воротъ обители пересталъ я видѣть ее и немного опамятовался, смотрю вокругъ: всюду праздникъ и праздничный гулъ, звонъ колокольный и властный говоръ народа, въ небѣ ярко пылаетъ заря, и озеро одѣлось багрянцемъ ея отраженій.

Идетъ мимо меня нѣкій человѣкъ, улыбается и спрашиваетъ:

— Видѣлъ?

Обнялъ я его и поцѣловалъ, какъ брата послѣ долгой разлуки, и больше ни слова не нашлось у насъ сказать другъ другу; улыбаясь, молча разошлись.

...Ночью я сидѣлъ въ лѣсу надъ озеромъ, снова одинъ, но уже навсегда и неразрывно связанный душою съ народомъ, владыкой и чудотворцемъ земли.

Сидѣлъ и слушалъ, какъ все, что видѣлъ и позналъ я, растетъ во мнѣ и горитъ единымъ огнемъ, я же

отражаю этотъ свѣтъ снова въ міръ, и все въ немъ ламенѣетъ великой значительностью, одѣвается въ чудесное, окрыляетъ духъ мой стремленіемъ поглотить міръ, какъ онъ поглотилъ меня.

Нѣтъ у меня словъ, чтобы передать восторгъ этой ночи, когда одинъ во тьмѣ я обнялъ всю землю любовью моею, всталъ на вершину пережитаго мной и увидѣлъ міръ подобнымъ огненному потоку живыхъ силъ, бурно текущихъ къ сліянію во единую, цѣль которой—недоступна мнѣ.

Но я радостно понялъ, что недоступность цѣли есть источникъ безконечнаго роста духа моего и великихъ красотъ мірскихъ, а въ безконечности этой — безчисленность восторговъ для живой души человѣческой.

Наутро и солнце явилось для меня съ другимъ лицомъ: видѣлъ я, какъ лучи его осторожно и ласково плавили тьму, сожгли ее, обнажили землю отъ покрововъ ночи, и вотъ встала она предо мной въ цвѣтномъ и пышномъ уборѣ осени—изумрудное поле великихъ игръ людей и боя за свободу игръ, святое мѣсто крестнаго хода къ празднику красоты и правды.

Видѣлъ я ее, мать мою, въ пространствѣ между звѣздъ, и какъ гордо смотритъ она очами океановъ своихъ въ дали и глубины; видѣлъ ее, какъ полную чашу ярко-красной, неустанно-кипящей, живой крови человѣческой, и видѣлъ владыку ея—всесильный, безсмертный народъ.

Окрыляетъ онъ жизнь ея величіемъ дѣяній и чаяній ея, и я молился:

— Ты еси мой Богъ и творецъ всѣхъ боговъ, соткавшій ихъ изъ красотъ духа своего въ трудѣ и мятежѣ исканій Твоихъ!

— Да не будутъ міру бози иніи развѣ Тебе, ибо Ты еси единъ Богъ, творяй чудеса!

— Тако вѣрую и исповѣдую!

...И—по семъ, возвращаюсь туда, гдѣ люди освобождаютъ души ближнихъ своихъ изъ плѣна тьмы и суевѣрій, собираютъ народъ во едино, освѣщаютъ предъ нимъ тайное лицо его, помогаютъ ему осознать силу воли своей, указываютъ людямъ единый и вѣрный путь ко всеобщему сліянію ради великаго дѣла—всемірнаго богостроительства ради!

С. ГУСЕВЪ-ОРЕНБУРГСКІЙ.

СКАЗКИ ЗЕМЛИ.

Посвящаю
Екатеринѣ Павловнѣ
Пѣшиковой.

... Съ воплемъ счастья слились въ поцѣлуѣ два угасшихъ міра. Серебряно-льдистыя планеты полопались, какъ спѣлыя почки, на днѣ бездны, гдѣ два тусклыхъ солнца слились въ порывѣ страсти, какъ два усталыхъ сердца. И страсть зажгла ихъ снова. Въ черный мракъ вселенной безшумно метнулись бушующіе вихри распавшихся атомовъ. И несъ эфиръ въ безконечность ихъ содроганье, какъ блескъ свадебныхъ свѣчей. Въ буйномъ весельи они наслаждались свободой, кипя, носились, не сталкиваясь, въ бѣшеномъ танцѣ,—долго-долго,—пока радостное чувство распада не смѣнилось жаждой общенья... Изъ кипящаго хаоса возникъ новый міръ.

Ничто не могло остановить его роста, ничто!

Его родила Необходимость.

Она разсѣкла кипящую туманность на огненные вихри. Бросила огненные вихри, какъ шары, на ихъ орбиты. Охлаждая, сжимала ихъ въ твердые комки. Рисовала на нихъ узоры горъ и голубыя моря.

Такъ родилась Земля,—дочь и наслѣдница невѣдомыхъ міровъ.

Ничто не могло остановить ея роста, ничто!

Ее родила Необходимость.

... Земля была неустроена и пуста.

Бродили слѣпыя напряженныя силы въ царствѣ пляшущихъ атомовъ,—любовь и ненависть порождали въ нихъ. Изъ любви атомовъ родилась первая клѣточка. Хрупкою и нѣжною родилась она.

Лучъ солнца зажегъ въ ней душу.

Новая въ этомъ мірѣ, среди невѣдомыхъ опасностей искала она себѣ подобныхъ, чтобы въ дружескомъ обществѣ отстоять существованье. И подобно атомамъ, въ механическомъ общеніи и механической борьбѣ создававшимъ груды скалъ, волны моря, порывы бурь,—всю эту сѣрую еще и печальную землю,—она, повинуясь памяти и инстинкту, создала коммуну, породившую организмы. И покрыла она горы лѣсами, степи травами и цвѣтами, дно морское кораллами, взбороздила рыбой морскую рябь, побѣжала по землѣ животнымъ, взлетѣла ввысь на крыльяхъ птицы и, какъ насѣкомое, припала жаломъ къ сладкой влагѣ цвѣтовъ. Въ жадныхъ поискахъ совершенства, растя отъ формы къ формѣ подъ ударами борьбы за счастье жить, утончала она свои инстинкты, свои способности, пока въ самыхъ тонкихъ и благородныхъ клѣточкахъ,—клѣточкахъ мозга,—не вспыхнуло сознаніе.

И изъ сознанія медленно выросъ Разумъ.

И Разумъ сказалъ о себѣ:

— Я.

Такъ Природа противопоставила себя себѣ самой, точно заглянула въ туманное и тусклое зеркало.

... Человѣкъ — это растущій разумъ на основѣ животнаго. Это—Природа, познающая себя, какъ Истину, и наслаждающаяся собой, какъ Красотой.

Разумъ поднялъ въ глубь чернаго неба свой багровый факелъ и, взмахнувъ имъ, освѣтилъ бездну съ безстрашнымъ вопросомъ:

— Кто ты?

И бездна отвѣчала ему эхомъ:

... ты ...

Но онъ не узналъ себя.

Не понялъ себя!

До сихъ поръ Природа была мощной Волей. Теперь она стала Идеей. Идея, сливаясь съ волей, должна

была творить великую, несказанную Красоту, превращая эту милую землю въ прекраєный рай для прекраснаго существа. Но для этого Идея должна отражать Сущее. А Разумъ... создалъ Химеры. Какъ Природа, творя Разумъ, шла ощупью по пути безчисленныхъ опытовъ, такъ Разумъ, познавая Природу, шелъ въ туманѣ впечатлѣній обманчивыхъ и невѣрныхъ. Въ жадномъ исканіи Истины онъ понялъ силы природы, какъ боговъ, владѣвшихъ міромъ. Онъ сдѣлалъ вселенную жилищемъ этихъ боговъ. Онъ создалъ религію—культъ этихъ боговъ. Онъ создалъ мораль—волю этихъ боговъ.

И пришли хитрые и наглые и сказали:

— Вѣрь и повинуйся!

И волею боговъ стала воля хитрыхъ и наглыхъ.

Подъ священнымъ покровомъ небесъ они жадными руками захватили землю и осквернили вольный просторъ ея... Закрѣпили власть свою законами. Поставили троны... Было много троновъ, были они жадны, было имъ тѣсно. Поили они землю кровью въ военномъ разбоѣ. И въ черной тѣни враждующихъ троновъ стали хитрые и наглые господами земли. Подъ шумъ сраженій и льющейся крови обманутыхъ химерами рабовъ, подѣлили они богатства земныя между собой и загнали человѣчество въ загоны. На мрачныхъ скрижаляхъ исторіи вѣками чертили они кровавыя слова:

— Вѣрь и повинуйся!

Вѣками бичъ звучалъ и плеть свистѣла надъ мыслію и волей человѣка.

Рабство пропитало жизнь.

Рабство пропитало клѣточки мозга.

Водопадъ бурной матеріи,—съ бушующей страстью, жадно искавшій черезъ человѣка невѣдомаго лучезарнаго совершенства,—перегородили шлюзы, и на шлюзахъ повисли крѣпкіе затворы. Красивое желанье,—дитя мощной воли и инстинктивныхъ исканій совершенства,—это великое „хочу“ Природы, порождавшее

всю многогранную прелесть жизни, было заключено въ оковы пошлаго разсудка и брошено въ темницу долга. Здоровые и сильные инстинкты были сбиты съ пути химерами. И на землѣ появилось то, чего не знала природа:

Пошлость извращеннаго инстинкта.

Порокъ!

И самый наглый изъ пороковъ — добродѣтель,— маска разбойниковъ и лжецовъ, вольныхъ или невольныхъ.

Человѣкъ сталъ маленькій, жалкій, кровожадный, слабый, подлый, рабъ передъ сильными, деспотъ надъ слабыми.

И земля стала тюрьмой для него.

Черной гробницей неслась она въ пустыняхъ міра и дымилась кровью и слезами...

...Разумъ росъ!

Ничто не могло остановить его побѣдоноснаго роста! Ничто!

Ибо онъ—сынъ Необходимости.

Среди клѣточекъ химеръ, этихъ гіенъ и шакаловъ мозга, тупыхъ и наглыхъ, упорно вспыхивали, какъ яркія солнца, живыя, бодрыя, жизнерадостныя клѣтки, жадно искавшія откровеній Природы. Онѣ видѣли стѣны земной тюрьмы и съ шумомъ бури обрушивались на нихъ. Трепеща въ пасти гіенъ и шакаловъ, звонкими голосами онѣ кричали глухому и нѣмому человѣчеству объ идеалѣ человѣка, о Великомъ Освобожденіи. Онѣ гордыми взмахами орлиныхъ крыльевъ вздымались въ самую глубь вселенной и сталкивали тамъ одинъ за другимъ сусальные престолы Химеръ.

Онѣ кричали:

— Знай!

Это была работа вѣковъ.

Внизу, въ долинахъ рабства, глухо шумѣло человѣческое море, вѣками слышалось непрерывное шуршанье милліоновъ ногъ, невѣрныхъ и жалкихъ...

...И звонъ цѣпей... и стоны...

И крики кровавой вражды... и пѣсни скорби...

И вопль недоумѣнья.

А одиночки, носители Истины,—эти яркія клѣточки въ темномъ мозгу человѣчества, — точно на скалахъ все перекликались, какъ часовые у выходовъ изъ огромныхъ тюремъ:

— Слу-ша-а-а-й! — звали они изъ вѣка въ вѣкъ. И вѣтеръ столѣтій разносилъ ихъ голосъ:

— Слу-у-ша-а-а-й....

. . . . . .

И пришла пора!

Бурно заволновалось человѣческое море и гордыя волны его ударились съ ревомъ въ берега Химеръ. Великая Идея стала достояніемъ массъ, напитала ихъ до боли въ груди, до страстной жажды мірового взрыва... великая идея Торжествующаго Разума: о блаженномъ существѣ на прекрасной, какъ рай, землѣ.

...Земля!..

Колыбель моя... мое единственное отечество!

Гражданинъ вселенной разумомъ, я сынъ твой моимъ тѣломъ, моими чувствами, моимъ жарко-бьющимся сердцемъ, моей жаждой Красоты и Истины. Много усилій употребила Природа, чтобы ликующая пѣснь вселенной проникла въ мое, рожденное тобою, сознанье. Я понялъ тебя... понялъ путь твой... черезъ тебя пойму вселенную, какъ Истину, и отражу ее тебѣ, какъ Красоту.

Ничто не остановитъ моего роста, ничто!

Меня родила Необходимость.

И когда придетъ часъ твой, Земля моя, и ты, усталая, упадешь въ сладкія объятья какой-нибудь тоскующей планеты, чтобы породить новый міръ въ багрянцѣ страсти, каждый твой атомъ будетъ проникнутъ слѣдами моей жажды, моей мысли, моего упорства...

...Мы не умремъ, Земля моя!..

I.

ОДИНЪ.

I.

Было такъ знойно, что степь курилась.

Золотисто-желтая, она сухими объятьями сжимала село, дышала на него палящимъ жаромъ. Призраки жажды,—крутились по ней вихри, простирая просящія руки въ золотую пыль раскаленнаго неба.

Хаты припадали къ землѣ съ тусклымъ взглядомъ, пасохшія отъ зноя. На пустынныхъ дворахъ колыхался бурьянъ и пахучая полынь. Заброшеннымъ кладбищемъ казалась сельская улица, а крестный ходъ—похоронной процессіей. Горячій вѣтеръ приносилъ со степи пыль, слѣпилъ глаза, рвалъ изъ рукъ темныя иконы. Хлопалъ хоругвями, мѣшалъ идти, раздувая полы одеждъ... казалось: люди борются съ бурей, склоняя впередъ тѣла, сгибая головы. Бабы, задыхаясь, часто мѣнялись иконами. У воротъ апатично крестились и вяло кланялись мужики, косматые отъ вѣтра.

Надъ высохшимъ ручьемъ долго просили Бога о дождѣ.

Просящія лица съ мольбой смотрѣли въ небо...

Съ неба сыпалась пыль.

А надъ ручьемъ безлистныя деревья качались отъ вѣтра, и на нихъ долгимъ крикомъ, вторя унылому пѣнью, кричали галки, безсильно разѣвая клювы.

Бабы поднимали вверхъ худыя лица, и съ ихъ засохшихъ губъ срывался дрожащій крикъ:

— Да-ждь до-ждь...

Дьяконъ,—тусклый, пыльный,—шумно вздыхалъ:

— Да-ждь дождь...

О. Геннадій думалъ о сынѣ: что за гроза разразилась надъ его головой, тамъ, въ шумномъ городѣ? Его письмо пылало гнѣвомъ на неправды міра, жаждой невѣдомой правды. Но за словами что-то темное, тревожное было, какъ сонный крикъ. И тоскою звучало прощанье. О какомъ дальнемъ пути говоритъ онъ? Точно навѣки...

По сурово сжатымъ губамъ скользнула улыбка, какъ отблескъ пылающей степи.

— Тѣсенъ міръ его сыну... тѣсенъ міръ!

Хоругви бились, какъ красныя крылья.

Съ иконъ святые безучастно смотрѣли круглыми глазами. Пантелеймонъ застылъ съ ложечкою и ковчежцемъ, Георгій поражалъ дракона, Илья улеталъ на огненныхъ копяхъ. Ликъ „казанской“ смотрѣлъ огромнымъ черпымъ пятномъ. Въ воздухѣ жила напряженная жажда огненныхъ молній, ударовъ грома, шумящихъ ливней.

Не пѣли, а кричали пѣвчіе:

— Да-ждь до-ждь....

Мрачная тѣнь легла на загорѣлое мѣдное лицо о. Геннадія, съ жесткой бѣловатой бородой, и внутрь ушелъ взглядъ темныхъ, почти мутныхъ, глазъ.

...Не Голгоѳа ли его жизнь?

Скитанья по приходамъ, взгляды вражды, шопотъ за спиной. Интриги и козни только потому, что привыкъ упорно и хмуро отстаивать свою правду. Но вотъ... и сыну чужда его правда! Что жъ дѣлать... Пусть идетъ своими путями, пусть смѣло идетъ! Развѣ не духъ отца горитъ въ немъ? Не всѣ ли мы на разныхъ поприщахъ жизни ищемъ живой воды, чтобы оросить жаждущую почву?.. А онъ, съ своей Юліей, издалека будетъ слѣдить за нимъ...

Мысль о женѣ всколыхнула въ немъ нѣжность.

И на мигъ небо улыбнулось ему золотой улыбкой.
Засмѣялось солнце.
А вокругъ все стонало въ агоніи жажды:
— Да-ждь до-ждь...
Воспаленныя лица смотрѣли въ бездну неба:
— Да-ждь до-ждь...
Жаркія груди томились:
— Да-ждь до-ждь...
О. Геннадій въ смутномъ порывѣ поднялъ руки:
— Да-ждь до-ждь землѣ жа-ждущей, Спа-а-се!

Черный вихрь поднялъ лохматую голову. Потушилъ солнце. Упалъ тучей пыли на хоругви, плюнулъ въ иконы, больно ударилъ въ лица. Въ буйной ссорѣ крутились песчинки, металась пыль, сновали листья, неслись по кругу въ шумящей свалкѣ. И пришелъ другой вихрь и схватился съ этимъ. Хоругви пытались улетѣть. Иконы рвались изъ рукъ. Люди хрипящими голосами, ослѣпленные, допѣвали молебенъ.

Вихри распались.

Но еще жило ихъ безуміе въ возникшей ссорѣ.

Покрытый соромъ дьяконъ, получивъ за молебенъ деньги, со звономъ бросилъ на столъ мѣдныя монеты. И, взбрасывая руки, грозилъ о. Геннадію, поворачивая къ толпѣ багровое лицо:

— Люди добрые! Разсудите меня съ нимъ. За Іисуса Сладчайшаго—пятнадцать копеекъ! У меня брюхо... Разсудите меня съ нимъ!

Его обступали бабы съ молящими голосами:

— Дьякопъ! Дьяконъ!

Лаялъ щенокъ.

Крутились хоругви.

Мужики съ пыльными лицами окружили его. Дьяконъ метался въ ихъ толпѣ и кричалъ:

— За Илью пророка—гривенникъ! Пятакъ за „утоленіе печали". Грошъ, грошъ... „всѣхъ скорбящихъ радосте". Братіе! Гдѣ то видано отъ начала вѣковъ? Мы святыхъ по дешевкѣ распродаемъ!

Точно таинственный, долго-жданный, лозунгъ бросалъ онъ въ толпу. И въ ней росло непонятное возбужденіе. Лица наливались кровью, въ воздухѣ метались грозящія руки:

— Дьяконъ правильно говоритъ!

— Такъ, такъ!..

— Отъ сего аукціона я и дѣти мои по міру пойдемъ!

— Вѣрно! А кому отъ того легче? Лучше взыщи... что положено. Какъ въ другихъ приходахъ. Взыщи! Не томи только!

Дьяконъ заглушалъ гомонъ голосовъ:

— Академикъ!.. Мой сынъ... Александръ... академикъ! Я родилъ... академика! Онъ прошелъ высшія науки. „Уставы предковъ священны", — говоритъ мой сынъ... академикъ! Ибо, кто установилъ требы и даянія за нихъ? Сирѣчь таксу? Господь...

Мужики отзывались:

— Вѣрно!

Враждебною стѣною стояли противъ о. Геннадія и бросали въ лицо ему упреки:

— Не томи насъ наставленьями!

— Что въ томъ, что за требы не берешь, а за каждый шагъ преслѣдуешь?

— Кто безъ грѣха, что ты всякаго укоряешь грѣхомъ его?!

— Взыщи! Не томи только!..

Выталкивали изъ среды своей сѣдого, приземистаго, краснощекаго мужика.

— Вотъ Демьянъ! Говори ему, Демьянъ! Говори за всѣхъ, Демьянъ!

Демьянъ впивался въ лицо о. Геннадія острыми маленькими глазками.

— Моготы нашей больше нѣту,—говорилъ онъ.— Что у насъ... Лавра? Хочешь живыми на небо втащить? Мы сами туда дорогу найдемъ, коли понадобится... вотъ что! Только пужаешь зря... вотъ что! У насъ дѣвушки разучились пѣть пѣсни. Бабы, завидѣвъ тебя, прячутся въ чуланы. Да скоро и мужикамъ въ пору прятаться будетъ...

Кто-то угрюмо добавилъ:

— Точно въ каждомъ дьяволъ сидитъ!

Толпа возмущенно шумѣла:

— Взыщи!

— Каждый шагъ...

— Не томи!

Крутясь, какъ комокъ пыли, дьяконъ выбрасывалъ къ о. Геннадію руки:

— Кто есть человѣкъ, который любитъ тебя?

Въ приступѣ возмущенія грозилъ ему:

— Собственный сынъ ушелъ отъ тебя!..

Опираясь о столъ рукою, о. Геннадій спокойно стоялъ, и сумрачно смотрѣлъ, не отрывая глазъ, на вихрь лицъ, и точно о грудь его, остро-колющая, разбивалась буря возмущенья.

Но при словахъ дьякона глаза его мрачно вспыхнули.

— Безумцы!—протянулъ онъ руку.—Обличеньями ли моими недовольны?

— Да! Да!—кричали ему въ отвѣтъ.—Да, да!

Обступали его съ безпорядочнымъ гомономъ:

— Застращалъ все село!

— Не томи!

— Моготы нѣтъ!

Оглушали его криками.

Глаза его загорѣлись, и голосъ принялъ металлическій тонъ:

— Жесткимъ жезломъ моего слова, какъ упорное стадо, гоню васъ въ царство Отца Небеснаго. А вы...

каменныя души! Вы отъ боли кричите, ибо нѣтъ въ васъ мѣста, чистаго отъ грѣха!

Онъ возвысилъ голосъ среди возмущеннаго шума.

— Съ гнойныхъ пастбищъ грѣха гоню васъ! Предъ вратами Ада сторожу васъ! Ибо я пастырь, а вы—овцы мои, безумныя овцы, забывшія Бога! Ночами въ слезахъ молюсь за ваши души,—за упорныя души блудниковъ, клятвопреступниковъ, лихоимцевъ, безбожниковъ, пьяницъ и татей. Я обличаю васъ? Да! Ибо я голосъ совѣсти вашей. Если бъ я не обличалъ васъ,—громъ небесный обличилъ бы васъ въ то время, когда вы, пьяные, валяетесь подъ заборами, когда вы крадетесь тайкомъ къ чужимъ женамъ и ваши жены дѣлаютъ то же... когда вы предаетесь скотскимъ порокамъ... когда вы, какъ тати, стремитесь захватить чужое, ненасытные, какъ піявки! И когда вы тонете, беззаботные, въ черной пучинѣ грѣха, одинъ я стою на стражѣ, и за каждымъ шагомъ вашимъ слѣжу, дабы...

Кто-то изъ толпы дерзко и угрюмо сказалъ:

— За своей женой слѣдилъ бы лучше!

Точно получивъ ударъ, о. Геннадій вскинулъ голову и густо вспыхнулъ.

Наступила смущенная тишина.

Только дьяконъ веселился и радовался.

— Его жена!—повторялъ онъ.—Его жена!

Бабы моляще шептали ему:

— Дьяконъ! Дьяконъ!

Но онъ выбрасывалъ руки изъ толпы ихъ.

— Мы знаемъ... его жена!... Кто видитъ сучокъ въ глазу брата, не видитъ въ своемъ бревна! Его жена...

Точно посыпались искры съ лица о. Геннадія.

Онъ хотѣлъ что-то крикнуть, но задохнулся.

Сдѣлалъ впередъ шагъ.

И вдругъ съ силою ударилъ дьякона въ щеку.

— Святитель Николай... Арія... за Христа... а я за жену мою... за святую!

Между ними бросились.
Шумѣли, кричали, уговаривали.
О. Геннадій мутнымъ взглядомъ оглядѣлъ ихъ...
...Отхлынули.
Образовали кругъ, кого-то пропуская.

Двѣ бабы вели подъ руки костляваго старика.
Онъ былъ сухъ и пыленъ, какъ образъ Засухи.
Безцвѣтными глазами съ сѣраго лица смотрѣлъ онъ на о. Геннадія. Раскрывъ беззубый черный ротъ, задыхался, палимый жаждой, и грудь его подъ холщевой рубахой работала, какъ мѣхи, а босыя ноги въ грязныхъ портахъ едва переступали.

— Засохъ!—шумно шепталъ онъ.—Только и облегченія, когда желѣзо сосу. А воды глотокъ... не доржится! Сейчасъ сонъ видѣлъ: нагнулся въ колодезь... упалъ. А тамъ горячія жабы облѣпили... пили мою кровь!

Бабы кланялись:

— Напутствуй его, батюшка!

О. Геннадій провелъ рукою по лицу, будто сонный.

— Сейчасъ,—сказалъ онъ, задыхаясь, — я сейчасъ. Схожу домой... за святыми дарами.

Пошелъ.

Степь жарко дышала ему въ разгоряченное лицо.

По ней плясали вихри, какъ черные монахи.

...И гдѣ-то въ вышинѣ клекталъ степной орелъ...

II.

Солнце бросало отвѣсные лучи, точно ѣдкія стрѣлы.

Расплавленное золото степи, какъ море, колыхаясь, плескалось, вливая въ улицы волны горячихъ вздо-

ховъ и томныхъ поцѣлуевъ земли. Отъ травъ, — полузасохшихъ,—отъ безводныхъ облаковъ,—прозрачно бѣлыхъ, отъ крика коршуповъ, отъ горизонтовъ,—мутно-желтыхъ, жадныхъ, отъ черныхъ вихрей, — сухихъ, безшумныхъ, шло напряженно-знойное томленье.

Мутныя волны влекли о. Геннадія быстро впередъ.

Солнце жгло бѣлыя стѣны дома.

Ставни были наглухо закрыты.

И казались ему темныя ставни комками грязи, брошенными враждой на бѣлыя стѣны.

Кровь кипѣла.

Онъ оттолкнетъ грязныя руки вражды... съ гнѣвомъ оттолкнетъ ихъ! Среди грѣховнаго мірового потопа его священный ковчегъ—семья его. Уже не разъ темные намеки, какъ ржавые гвозди, впивались въ его сердце...

— Онъ презираетъ ихъ... да, презираетъ!

...Развѣ ея милое сердце не раскрыто передъ нимъ, какъ страницы священной книги? Развѣ вынесъ бы онъ холодныя бури своего одинокаго пастырства безъ сладостнаго дуновенія ея кроткой и вѣрной души? Молчаливая, она умѣла всегда поддержать его взглядомъ, ободрить улыбкой. Не ея ли рука скользила по волосамъ его легкимъ прикосновеніемъ, отгоняя тяжелыя думы? Не казалось ли ему солнцемъ лицо ея, когда возвращался онъ усталый и измученный съ послушаній?

— Да! Солнце... она солнце жизни его... его Юлія!

Горячая нѣжность обняла его.

Прошелъ въ темныя сѣни съ тайною мыслью:

— Спитъ? Отъ жары разметалась... Осторожно пойду, не разбужу... перекрещу ее!

Безшумно проникъ въ душную залу...

Мебель стояла, нахохлившись отъ жары. Въ углу бѣлѣлъ гипсовый образъ Христа. Въ стекло съ громкимъ жужжаніемъ билась одинокая муха.

Онъ стоялъ среди залы съ бьющимся сердцемъ, и въ темнотѣ отъ улыбки бѣлѣли его зубы.

Смутно и странно прокричалъ кто-то?
Нѣтъ... послышалось?
Осторожно ступая, пошелъ.
Безшумно раздвинулъ темныя занавѣски спальни.
Вставилъ лицо между ними.
...Заглянулъ...

. . . . . .

...Въ безстыдствѣ обнаженныхъ членовъ... въ бѣшеномъ бѣгѣ ногъ и рукъ, дрожащихъ бёдеръ, плечъ, какъ міровую ткань, ткалъ паутину грѣхъ, ткалъ паутину грѣхъ, нагой, безстыдный.

Въ чаду палящихъ вздоховъ, укусовъ, криковъ, алчныхъ поцѣлуевъ, бѣшено билось золотистое тѣло въ крѣпкихъ, черныхъ, настойчивыхъ объятіяхъ. Обвивалось змѣиными кольцами, пухлыми, бѣлыми. Разжималось и страстно вытягивалось, нагло безстыдное въ каждомъ движеньи, нагло прекрасное, знакомое... и чужое, невѣдомое тѣло... оно искало невѣроятнаго, оно торопилось, какъ воръ, оно дрожало, какъ преступникъ, оно жадно пило, какъ умирающій отъ жажды, послѣднія капли исчезающей влаги. Оно превращалось все въ золотистый поцѣлуй, пламенно льнущій.

Млѣло и нѣмѣло.

Падало само и увлекало за собой сквозь сладко гаснущій міръ, сквозь бредъ и блаженный сонъ, въ адскія бездны кричащаго наслажденья,—падало и звало изъ бездонныхъ пропастей млѣющимъ шопотомъ бреда... ненасытное...

...Еще...

. . . . . .

Въ сорочкѣ, поспѣшно накинутой, не скрывавшей ея пухлыхъ ногъ и пышной груди, быстро вышла, полная дикаго испуга. Запахнула за собою занавѣски и стояла, крѣпко держа ихъ. Золотисто-томное пылающее лицо ея, красиво-пухлое, съ сочными, влажными,

еще дрожащими отъ поцѣлуевъ губами, обвивали темныя космы спутанныхъ волосъ, змѣями падая на горящія щеки. Изъ глазъ, еще хранившихъ тухнущія искры, смотрѣлъ звѣриный ужасъ.

У иконы Христа стоялъ о. Геннадій.

Онъ стоялъ спиною и свертывалъ въ эпитрахиль дароносицу.

Обернулся.

Не взглянулъ на нее.

Пошелъ.

— Ганя!—позвала она беззвучно.

Онъ скорѣе почувствовалъ, чѣмъ услыхалъ ея зовъ.

Остановился, не обертываясь.

— Ты... зачѣмъ... приходилъ?

— Нужно причастить... умершаго, — сказалъ онъ. И голосъ его былъ далекъ и пустъ.

— Умершаго... что?...

— Умирающаго,—поправился онъ.

Повинуясь сжимавшему душу сомнѣнью, она отдѣлилась отъ занавѣсокъ, безшумно ступая босыми ногами.

— Ганя!

Страхъ шепталъ ея губами:

— Что же ты... не поцѣлуешь меня?

Онъ рѣзко обернулся.

Со вспыхнувшаго лица готово было сорваться бьющее слово навстрѣчу ея косматой головѣ и нагому тѣлу:

— Блудница!

Сдержался. Отвернулся.

— Я со святыми дарами!—глухо сказалъ.

Ушелъ.

Пылала багровая заря.

За околицу въ степь, змѣистой дорогой, быстро шелъ о. Геннадій навстрѣчу зарѣ... по кровавому морю.

Золотисто-знойная, напряженная, солнечная кровь артерій дня точно отхлынула къ сердцу утомленной поцѣлуями солнца, сладко отдыхающей, земли... воздухъ, дали, небо налились густой венозной кровью. Межъ сухого дрожащаго ковыля кровь плыла и уплывала. Гонимая дыханьемъ вѣтра по курганамъ, клубясь въ низинахъ, играя въ лентѣ рѣки, на горизонтахъ сгущаясь въ багровые сгустки, кровь плыла и уплывала. И какъ счастливая улыбка засыпающей земли, быстро угасала заря.

Шелъ...

А въ ушахъ его стоялъ шумъ погони... шумъ погони обнаженныхъ тѣлъ. Ускорялъ шагъ, весь подаваясь впередъ, съ полураскрытымъ ртомъ, съ невидящимъ взглядомъ. Но босыя ноги шуршали за нимъ, теплое дыханье обвивало его, плыли страстные вздохи.

...Падали... сплетались... извивались...

Ихъ страстнымъ лепетомъ проникалось небо.

Томленьемъ ихъ томились травы, звѣзды, дали.

...Вставали... бѣжали... нагоняли... безстыдные... косматые... нагіе...

Страшнымъ усиліемъ воли онъ погашалъ эти образы бреда.

Смотрѣлъ въ глубь неба.

Тамъ... за блѣдными звѣздами... Богъ!

Онъ бросалъ ему обрывки словъ.

— Ты... создавшій! Ты... бросившій человѣка на грязную землю, какъ похотливаго червя! Таинственный! Непонятный! Зачѣмъ налилъ сердце человѣка мутной кровью? Жилы его—расплавленнымъ оловомъ страсти? Ты... сотворившій ангеловъ... Зачѣмъ? Зачѣмъ?!

Но слова были мертвы и пусты.

И Богъ былъ ему далекъ и чуждъ.

... На курганѣ, у чернаго креста, его уже встрѣтила ночь.

Но были нѣжныя руки ея пусты для него.

Темный покровъ ея легъ на него, какъ трауръ.

Ея задумчиво-спокойное лицо было для него лицомъ застывшаго отчаянія. Онъ озирался, какъ затравленный... міръ измѣнился, міръ сталъ чуждъ для него, міръ смотрѣлъ на него пустыми впадинами мертваго лица. Къ кому онъ протянетъ руки, кому крикнетъ про свою смертную муку?! Отъ горизонта до горизонта онъ одинъ. Пусть стучитъ онъ въ небо, какъ въ крышку гроба... оно будетъ глухо! Человѣкъ брошенъ съ своимъ страданьемъ на пустую землю... одинъ! Пусть бьется онъ съ крикомъ о земную грудь... онъ будетъ одинъ. Пусть протягиваетъ онъ руки къ звѣздамъ, кричитъ тучамъ, зоветъ вихри, бурѣ подставляетъ горящее лицо и въ ночную тьму бросаетъ слезы... онъ будетъ одинъ. Вѣчно... въ нѣмой тишинѣ, въ шумѣ урагана, среди крикливаго людского потока, во мглѣ долинъ...

Одинъ!

Воспаленнымъ взглядомъ онъ всматривался въ тьму.

...Міръ умираетъ!

Въ агоніи томится темное село.

Безмолвный боръ, припавъ къ землѣ, умираетъ. Умираютъ долины и въ нихъ засохшія травы, увядшіе цвѣты, усталыя птицы, задохнувшаяся отъ песковъ рѣка. Умираетъ небо съ дрожащими звѣздами... и бездна, пустая бездна тамъ, вверху, умираетъ.

Онъ одинъ среди этой пустой бездны... онъ одинъ!

Завтра потухнетъ солнце... а онъ будетъ одинъ!

Завтра погаснутъ звѣзды... а онъ будетъ одинъ.

Завтра земля содрогнется, и встанутъ моря сѣдой грядой, чтобы смыть горы съ ихъ основаній въ послѣдней гибели міра... а онъ будетъ одинъ.

Завтра Богъ сойдетъ въ огненной бурѣ для послѣдняго суда... а онъ будетъ одинъ.

И встанутъ мертвые... и найдутъ милыя лица, а онъ будетъ одинъ.

И по тропинкамъ рая будутъ ходить они, обнявшись,

счастливые въ радости встрѣчи... а онъ будетъ одинъ.

И кричало ему небо:

— Одинъ! Одинъ!

И смѣялся ему вѣтеръ:

— Одинъ... одинъ!

И звенѣли ему травы:

— Одинъ... одинъ!

И шептала ему ночь:

— Одинъ... одинъ...

Пришли изъ черной тьмы и овладѣли имъ, обезсиленнымъ, образы бреда.

Отъ равнодушныхъ звѣздъ, отъ далей, — нѣмыхъ и темныхъ, —отъ рѣки, какъ змѣя, извивной, отъ чернаго бора, отъ земли и неба тянулись къ нему липкія нити, сплетались передъ нимъ въ узоры бѣлыхъ тѣлъ... нагихъ, безстыдныхъ тѣлъ, — всюду, всюду,— какъ дикій сонъ наполняли степь, трепетали на горизонтахъ, извивались на курганахъ, дрожали во мглѣ низинъ.

Золотистымъ свѣтомъ ихъ наполнялась тьма.

Земля казалась ему измятымъ ложемъ ихъ грѣха, самое небо—ихъ сброшенной одеждой.

Онъ со стономъ закрывалъ глаза.

Прижималъ къ нимъ сжатыя руки.

Напрасно!

...Кружились... сплетались... расплетались...

Страстный лепетъ ихъ проникалъ тьму, обвивалъ землю, вплетался въ звѣзды.

На мигъ ярость мутной волной поднялась со дна души его.

Какъ Іовъ, онъ хотѣлъ вызвать Бога на судъ.

Кричалъ ему:

— Значитъ, ты безсиленъ побѣдить зло? Не ты,— оно царитъ, оно правитъ міромъ. Такъ гдѣ же ты?!. Я не вижу тебя!!

И въ молчащее небо онъ сталъ бросать проклятья.

Онъ проклиналъ жизнь, пропитанную грѣхомъ.

Онъ проклиналъ младенцевъ въ утробахъ матерей ихъ, чтобы, родившись мертвыми, они не узнали зла, отравившаго землю.

...землю, травы, звѣзды...

Но сквозь проклятья плылъ къ нему со степи сладостный лепетъ и дрожали передъ глазами извивы милаго тѣла.

И покатились звѣзды.

Обрушилось небо.

Закачалась степь, какъ гигантская чаша.

...Упалъ на землю; въ смертной тоскѣ, въ необъятномъ одиночествѣ прижимался къ ней, хватался руками за ея черную, еще горячую грудь, сонно дышавшую; извивался, какъ раздавленный червь, въ безпамятствѣ, съ хриплымъ стономъ, пропитываясь теплою пылью...

Утро пришло съ весельемъ солнечныхъ лучей.

На теплыхъ волнахъ со степи плыло стрекотанье кузнечиковъ, острый запахъ цвѣтовъ, звенящій шопотъ травъ. Жаркіе лучи заставляли кричать отъ счастья птицъ и черезъ золотыя окна врывались въ комнаты играющими стрѣлами, смѣющимися пятнами. Впиваясь въ слѣпящій бокъ самовара, отражались на бѣлой скатерти межъ посуды серебристыми искрами.

Юлія Львовна взглянула на мужа, и ложечка рѣзко звякнула у нея въ стаканѣ.

— Ганя!—вскричала она.—Что съ тобою?

— Что?—спросилъ онъ, не поворачивая лица.

— У тебя въ вискахъ... сѣдые... волосы!

— Да?—равнодушно сказалъ онъ.

Всталъ, взглянулъ въ зеркало.

Постарѣвшее, осунувшееся лицо, точно чужое, смотрѣло на него.

— Въ самомъ дѣлѣ,—тускло улыбнулся онъ,—сѣдые, да! Это отъ заботъ.

Сѣлъ къ столу, равнодушно повторяя:

— Это отъ заботъ.

Она смотрѣла въ лицо ему съ насторожившѐюся боязнью. И видѣла: механически размѣшивая чай, онъ думаетъ о чемъ-то упорномъ и тяжеломъ.

Темное подозрѣніе возникло въ ней.

— Неужели...

Тихо спросила, испытывая:

— Ганя! А ты меня и.... и не поцѣловалъ сегодня?

Снова, какъ вчера, глаза его вспыхнули.

Взгляды ихъ встрѣтились, и что-то прошло между ними, отчего она похолодѣла, сжалась, и на лицѣ появилось побитое выраженіе.

Но уже взглядъ его сталъ мутенъ и пустъ.

И онъ равнодушно повторилъ, не слѣдя за словами:

— Это отъ заботъ...

Сидѣли молча.

Тягучая тишина обнимала домъ.

Тогда, страшась тишины, въ мучительномъ сомнѣніи, она заговорила.

Она говорила о тысячѣ мелкихъ домашнихъ заботъ, о больной овцѣ, о скисшемъ молокѣ, о всемъ, что приходило на умъ по случайнымъ ассоціаціямъ, — а сама пытливо смотрѣла на мужа.

— И если и нынѣшній годъ не уродится хлѣба, ужъ и не знай, какъ жить будемъ... ужъ и не знай...

И пока она говорила, онъ медленно повернулъ къ ней лицо и остановилъ на ней мутный, точно мертвый взглядъ.

Но не отвѣчалъ ей.

Онъ не слышалъ ея, нѣтъ,—она это видѣла.

Жуткое чувство охватило ее, и она вскричала, откинувшись на стулѣ:

— Ганя!

Онъ вздрогнулъ:

— Что?—спросилъ, какъ сонный.

— О чемъ ты думаешь?

Онъ не отвѣчалъ и продолжалъ смотрѣть на нее мертвымъ взглядомъ.

Что-то напряженное, какъ угроза, протянуло въ воздухѣ нити.

Руки ея стали дрожать.

...Хлопнула калитка.

Юлія Львовна вскрикнула.

О. Геннадій всталъ и настороженно-ожидающимъ взглядомъ смотрѣлъ на двери.

Вошелъ Александръ.

Бодрый, свѣжій, съ мокрой рыжей бородой и съ полотенцемъ на плечѣ, онъ точно внесъ смѣсь свѣжести и зноя.

— А я прямо съ пруда. Здравствуйте!

Непринужденно бросился на диванъ и, вынувъ портсигаръ, закурилъ папироску. Его загорѣлое лицо выразило полное блаженство. Пуская изъ сочныхъ губъ синія струйки дыма, стараясь, чтобы онѣ выходили кольцами, онъ смотрѣлъ на о. Геннадія золотистыми, смѣющимися, слегка прищуренными глазами.

— Повздорили вчера съ папенькой? Крутенько поступить изволили-съ!

О. Геннадій исподлобья угрюмо взглянулъ на Александра.

— А онъ вамъ... все разсказалъ?

Легкое смущеніе только на мигъ заставило Александра отвести глаза.

— Чего не говорится въ пылу раздраженія. Ахъ, о. Геннадій! Вѣдь, папенькѣ-то полъ-столѣтія! У него и зубы мудрости давно повыпали. Поздно-съ его исправлять! И то едва уговорилъ къ архіерею не ѣздить. „Отъ длани священника и заушеніе священно", — этимъ только и убѣдилъ его. Я вамъ на этотъ счетъ анекдотецъ разскажу...

И за однимъ анекдотомъ онъ разсказалъ другой и третій. И всю свою рѣчь, въ основѣ серьезную, онъ пересыпалъ шутками и остротами. У Юліи вспыхивали глаза свѣтлымъ и благодарнымъ блескомъ, когда онъ моментами обращался къ ней. Но она тотчасъ спохватывалась и съ тревожнымъ недоумѣніемъ наблюдала мужа. И казался онъ ей непонятнымъ и страннымъ въ своемъ спокойствіи, за которымъ чувствовалось ей что-то бездонное.

— Знаетъ? Не знаетъ... неужели знаетъ?

Эта мысль била крыльями въ ней.

Иногда она начинала искоса искать его взгляда, точно желая заглянуть въ бездну его мыслей.

Онъ не смотрѣлъ на нее.

Онъ угрюмо присматривался къ Александру, и, когда тотъ закончилъ уже съ серьезною настойчивостью:

— Я не имѣю права и не хочу давать совѣтовъ Но все-таки поставилъ бы вамъ, о. Геннадій, одинъ вопросъ: все ли такъ правильно и вѣрно въ вашей приходской практикѣ, если вами всѣ недовольны?

О. Геннадій всталъ.

— Когда человѣкъ исполняетъ долгъ,—заговорилъ онъ съ хмурой суровостью,—его не смутитъ дыханье недовольства, хотя бы весь міръ въ ярости возсталъ и упалъ на грудь его. Долгъ человѣка—Голгоѳа его, его терновый вѣнецъ... крестъ, покрытый кровью его сердца! Онъ суровъ... да, онъ суровъ! А люди...

О. Геннадій въ упоръ взглянулъ на жену и Александра.

И взглядъ его угрюмо вспыхнулъ.

— Люди валяются въ грязной похоти!—почти крикнулъ онъ.

И отъ словъ его тревога забилась въ стѣны дома.

— Люди пропитали землю пѣной разврата... ибо отбросили долгъ! И потому свободный духомъ среди рабовъ плоти всегда одинокъ... хотя бы отдалъ имъ кровь сердца... всегда непонятъ...

Горько улыбнулся.

— Обманутъ!!

Александръ съ темнымъ вопросомъ бѣгло взглянулъ на Юлію.

— Я... нѣсколько не понимаю,—смутился онъ, почувствовавъ тайный смыслъ въ словахъ о. Геннадія.

Но о. Геннадій отвѣчалъ, не ему, а себѣ:

— Земля въ агоніи послѣднихъ временъ. Вянутъ травы. Сохнутъ рѣки. Сгораютъ лѣса. Самый воздухъ горячъ и сухъ отъ дыханія грѣха! Пали священные устои семьи, святое довѣріе оплевано, какъ Христосъ у Пилата. Лежатъ въ пыли скрижали долга, оплеванныя!

Мрачной страстностью проникся его голосъ.

— Но близокъ день... день суда! Уже звучатъ трубы...

Дрожалъ отъ непонятнаго возбужденія.

Поднялъ руки.

Скорбное вдохновенье охватило его.

— Я высоко подниму ихъ,—мои скрижали! Буду крѣпко держать ихъ, буду идти навстрѣчу чернымъ бурямъ грѣха... Кричать, кричать! Уста Господни вдохнутъ въ меня гнѣвъ. Изъ рукъ Его возьму огненныя стрѣлы! Пусть вражда преслѣдуетъ меня! Пусть измѣна бросаетъ капканы подъ мои ноги! Пусть всѣ... всѣ... всѣ отвернутся отъ меня...

Еще Юлія не видала его такимъ.

Замеревъ, съ темнымъ страхомъ, съ слѣпымъ ожиданіемъ смотрѣла на него.

А онъ, точно на развалинахъ міра, увѣрялъ себя съ страстностью отчаянія:

— Я не одинокъ! Нѣтъ... нѣтъ! Со мною Богъ!

Александръ, смущенный тайнымъ смысломъ его словъ, сказалъ:

— Вы все о долгѣ говорите, о. Геннадій. И потому для васъ міръ мертвъ и пустъ!

— Онъ мертвъ! Онъ пустъ!

— Но міромъ править Любовь!

О. Геннадій внезапно вытянулъ дрожащія руки, съ такимъ видомъ, точно хотѣлъ ударить его.

— Не говорите о любви!—дико крикнулъ онъ.

Юлія Львовна съ легкимъ крикомъ встала.

Оперлась о столъ въ ожиданіи чего-то неотвратимаго, что грозитъ обрушиться на нее и раздавить.

Александръ угрюмо насторожился.

— На Голгоѳѣ умерла любовь!—кричалъ въ лицо ему о. Геннадій.—Любовь оплевана! На любви терновый вѣнецъ... съ острыми, съ кровавыми иглами!

Впивался въ него острымъ взглядомъ:

— И пѣтелъ... трижды... не прокричитъ...

Изъ глазъ его рвалась тайная мысль, и на губахъ накипали отчаянныя и роковыя слова.

Онъ перевелъ взглядъ на жену.

И, вдругъ съ силой вздохнувъ, сдержался.

Подавилъ возбужденье.

Вышелъ въ сосѣднюю комнату.

— Что съ нимъ?—тихо спросилъ Александръ.

Она едва слышно пролепетала:

— Не знаю...

— Быть можетъ... онъ...

Она изъ взгляда его поняла его мысль и опять отвѣчала съ видомъ побитой:

— Не знаю...

Но о. Геннадій уже вышелъ, въ соломенной шляпѣ, съ своимъ высокимъ посохомъ, холоднымъ и мутнымъ взглядомъ взглянулъ на нихъ:

— Я ухожу. Не вернусь до вечера.

III

Степь лежала сожженная, желтая.

Она томилась въ агоніи зноя, дышала горячечнымъ дыханьемъ въ лицо о. Геннадію. Онъ быстро шагалъ

по ея сухой, растрескавшейся груди. И какъ бредъ ея курились на горизонтахъ тяжелые, мутно-желтые туманы, а солнце казалось ея воспаленнымъ окомъ. Она тосковала въ необъятной жаждѣ, и точно руки ея, сухія, черныя, тянущіяся къ небу, вставали на дорогахъ вихри, бились въ воздухѣ и, безсильные, разсыпались, обдавая о. Геннадія горячей пылью. Его мысли крутились, какъ эти вихри, въ знойной пустынѣ его ума, въ горячемъ сумракѣ его тяжелыхъ чувствъ. Онѣ гнали его по степи, напряженно-сосредоточеннаго, съ острымъ взглядомъ безумца, покрытаго пылью и липкимъ потомъ усталости.

Его давило это огненное небо.

Ему хотѣлось упасть на эту раскаленную землю и забыться... хоть на мигъ забыться въ пыли сухихъ травъ отъ пламени мыслей. Но онъ шелъ... дальше... дальше... точно въ огненномъ снѣ, полномъ отчаянія и дикихъ криковъ, тяжело переставлялъ свои пыльныя ноги. И казалось издали, что онъ борется съ вѣтромъ, съ пространствомъ, съ туманно-желтыми горизонтами, стремясь къ неясной, инстинктивной цѣли, къ спасенію или гибели—все равно.

Кровь билась въ виски, туманила взглядъ.

Его охватывалъ бредъ, мучительные сны на-яву.

Ревъ потопа слышался ему.

Смрадное море вздымалось на горизонтахъ. Плескалось въ небо. Выходилъ изъ бездны звѣрь... вѣчный звѣрь... съ семью главами. И каждая голова его—смертный грѣхъ! Вотъ... изъ его раскрытыхъ пастей льются клубки сплетенныхъ тѣлъ, золотыми гирляндами вьются въ мутной мглѣ, багровымъ потопомъ заливаютъ землю, смѣясь и извиваясь.

Ему казалось: онъ идетъ по колѣно въ этомъ живомъ морѣ.

Вздымались волны, влекли его, бросали.

Падало небо, дрожали дали.

Онъ закрывалъ глаза, ускорялъ шагъ.

Но, злорадно шипя, склонялись надъ нимъ пасти звѣря.

— Онъ побѣдилъ!—хрипло шепталъ о. Геннадій,—онъ побѣдилъ!

Безплодны были жертвы... крики пророковъ во мглѣ прошедшаго... вопль Христа на Голгоѳѣ!

Все напрасно!

Земля стала царствомъ Звѣря.

Онъ поставилъ на ней тронъ свой.

— Побѣдилъ!

О. Геннадій со стономъ вдыхалъ горячій воздухъ.

— Такъ, значитъ, Зло непобѣдимо?!

И все, съ чѣмъ боролся въ своей жизни о. Геннадій, претворилось въ образы, закружилось въ мутной мглѣ дикимъ хороводомъ.... Царство Зла распахнуло передъ нимъ горизонты и отовсюду, — нахальное, наглое,—лицо Грѣха глядѣло на него съ гнуснымъ смѣхомъ оголенныхъ челюстей. И это было лицо человѣчества... всѣхъ близкихъ и далекихъ, всѣхъ, кого онъ въ жизни встрѣчалъ, чьи признанья выслушивалъ, чьи души съ воплемъ склонялись къ ногамъ его... на мигъ, на мигъ! Вотъ эти дѣти, развращенныя еще въ семьѣ, предающіяся пороку цѣлыми школами. И эти юноши, истощенные развратомъ, зараженные болѣзнью. И женщины, торгующія тѣломъ... И женщины, погрязшія въ животной похоти, оскверняющія очагъ семьи... И эти мужчины, ищущіе грѣха на перекресткахъ и въ темныхъ переулкахъ... Вотъ они всѣ,—наглые, циничные,—скрывающіе гниль души подъ маскою улыбокъ и внѣшнимъ блескомъ жизни... Вотъ они жадные, трясущіеся надъ золотомъ... вотъ они, созидающіе дворцы на костяхъ бѣдняковъ... вотъ они завистливые, ненасытные, истребляющіе другъ друга за мірскія блага... вотъ они, наполнившіе землю криками вражды, потоками крови, преступленіями порока!

Реветъ и плещетъ это мутное море.

Хохочетъ въ немъ Звѣрь своими семью пастями... вѣчный Звѣрь... дышитъ смрадомъ въ этомъ торжествующемъ морѣ зла.

Его жена захлебнулась въ этомъ морѣ... его жена!

О. Геннадій ускорялъ шагъ.

Его грудь томилась криками.

Его губы потрескались отъ жажды, а воспаленный взглядъ блуждалъ по мертвой степи.

Инстинктивно онъ сорвалъ голубой полузасохшій цвѣтокъ. Поднесъ его къ лицу, вдохнулъ его нѣжный, тоскливый запахъ. Но тотчасъ съ гнѣвомъ отбросилъ его въ пыль дороги.

— Ты лжешь своимъ ароматомъ... лжешь!

Какъ на змѣю, ступилъ на него.

— Въ тебѣ таится ядъ!

Пыльный ковыль устало припадалъ къ землѣ вокругъ него.

Отчаянно вздымали вихри въ небо безформенныя лапы, словно моля о каплѣ влаги.

... Дорога вбѣжала на пригорокъ, перегнулась.

Изъ лѣсной чащи забѣлѣла стѣна монастыря.

Золотые купола монастырской церкви ослѣпили его яркимъ блескомъ.

А изъ дымящейся дали взглянулъ на него, какъ притаившееся чудовище, громадный городъ.

У знакомыхъ воротъ о. Геннадій ударилъ въ гулкій колоколъ.

Тотчасъ въ пріоткрывшуюся калитку выглянуло маленькое сморщенное лицо послушника, съ синимъ грушевиднымъ носомъ.

Спиртный запахъ заструился въ воздухѣ.

— Никакъ, о. Геннадій?—осклабилось лицо,—милости просимъ... во имя Господне!

Отпахнулъ калитку.

— Ужъ не опять ли къ намъ на послушаніе?

— Не пришелъ еще часъ мой.

— Охъ, не вѣмы ни дня, ни часа, егда гнѣвъ владычній сразитъ... Къ игумену?

— Да.

— Пожалуйте за мною, провожу васъ,— онъ теперь въ новомъ помѣщеніи. А ужъ самъ на строгія очи его не покажусь.

— Все зашибаете, отецъ?

Монахъ пожевалъ губами, и по лицу его прошла жалкая усмѣшка.

— Соблазняетъ князь міра сего и въ уединеніи.

По пустынному двору, покрытому муравою, мимо молчаливыхъ келій, изъ которыхъ доносились сонные вздохи, они прошли въ тѣнистый садъ, окружавшій церковь. Снаружи церковь была ярко расписана изображеніями святыхъ. Грубое произведеніе монастырскаго художника,—ихъ лица ничего не выражали, кромѣ тупого равнодушія. Они не уставая смотрѣли круглыми глазами въ тѣнистые закоулки сада, а на церковныхъ дверяхъ, какъ предводитель этого равнодушнаго воинства, пестрѣлъ въ полинявшей кольчугѣ Михаилъ-Архангелъ съ желтымъ огненнымъ мечомъ. У ногъ его на ступенькахъ, прислонясь къ деревянной колоннѣ небесно-голубого цвѣта, сладко храпѣлъ тучный инокъ, съ багровымъ безбородымъ лицомъ. Во снѣ онъ блаженно улыбался. Вокругъ его раскрытаго рта суетились мухи.

— О. Савватій! Проснитесь, о. Савватій,—трясъ его за жирное плечо послушникъ.

Пухлое тѣло Савватія колыхалось, и голова безпомощно кивала.

— О. Савватій! Проснитесь... во имя Господне! Гости. Къ о. настоятелю.

Тихо отдѣлившись отъ колонны, Савватій склонился

на плиты и загородилъ двери, вытянувъ ноги въ рыжихъ сапогахъ. И изъ складокъ его рясы выпало и покатилось что-то звенящее. Инокъ быстро поднялъ это, сверкнувшее на солнцѣ, и спряталъ въ карманъ.

— Утомися зѣло!—вздохнулъ онъ.

И взглянулъ на о. Геннадія смѣющимися глазами.

— Силенъ врагъ надъ рабами твоими, о, Господи! Рыщетъ по свѣту, искій, кого поглотити... даже иноковъ не щадитъ.

Пріотворилъ дверь церкви.

— Черезъ святаго отца не побрезгуете перешагнуть?

— А развѣ о. настоятель въ церкви?

— Уединяется.

О. Геннадій осторожно шагнулъ черезъ жарко дышащее тѣло и вошелъ въ прохладный притворъ въ то время, какъ монахъ сокрушенно говорилъ безмолвному тѣлу:

— Савватій! Савватій... Сколь легко овладѣваетъ нами діаволъ. Не говорилъ ли тебѣ игуменъ: борись... Стой на стражѣ, Савватій!

Что-то мелодично заструилось, прервавъ наставленіе.

О. Геннадій обернулся.

Инокъ смотрѣлъ на него въ полъ-глаза, и тотчасъ унесъ руку въ карманъ, отирая другою блестящіе усы.

Покачивая маленькой головкой и бормоча что-то благочестивое, онъ отворилъ небольшую дверку и пригласилъ о. Геннадія подниматься вверхъ по темной лѣстницѣ колокольни, а самъ шелъ позади, осторожно шаря руками въ темнотѣ, и по временамъ сквозь легкій смѣхъ слышалось тихое переливаніе.

— О. настоятель святой человѣкъ,—бормоталъ онъ, задерживаясь на ступенькахъ,— діаволъ не имѣетъ надъ нимъ никакой власти. Вчера онъ трижды обошелъ вокругъ обители съ иконами и проклялъ діавола, запретилъ ему соблазнять иноковъ. Запретилъ соблазнять... святой человѣкъ! А діаволъ...

Тутъ что-то со звономъ покатилось внизъ по ступенькамъ, и внизу разбилось на хрустящіе осколки.

Инокъ съ сокрушеніемъ вздохнулъ:

— О, Господи!..

Они съ трудомъ поднимались вверхъ въ черной тьмѣ по скрипящимъ ступенямъ.

— Купцомъ прикинулся, діаволъ-то, — бормоталъ инокъ,—ну, и трапезы привезъ. Разсказывалъ, будто въ городѣ бунтъ и военачальника убили. А трапеза-то у него... охъ, сокрушеніе!

Они уже были вверху у закрытаго трапа.

Инокъ трижды постучалъ и пѣвуче произнесъ:

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

— Аминь! — отвѣтилъ суровый голосъ изъ-подъ колоколовъ.—Кто осмѣлился нарушить мое распоряженье, данное во имя Господне?

— Во имя Господне нарушаю его я, смиренный Петръ, ради святаго гостепріимства. Къ тебѣ, авва настоятель, грядетъ гость... во имя Господне!

— Кто?

— О. Геннадій.

Трапъ, скрипя, поднялся и отпахнулся.

Вверху виднѣлось жерло большого колокола съ неподвижнымъ языкомъ. Изъ-подъ колокола, нагнувшись надъ лѣстницею, смотрѣло худое строгое лицо въ черной бородѣ, начинавшейся у самыхъ глазъ,—близко сидящихъ, быстрыхъ, острыхъ, черныхъ, какъ угли.

Онъ впился глазами въ монаха.

— Пьянъ?

— Грѣшенъ, авва отче!

— Пьяницы, любодѣи... слуги Ваала! Что мнѣ съ вами дѣлать?!

— Слабъ, авва отче.

— Изыди вонъ, рабъ плоти, съ осужденіемъ настоятеля твоего!

— Прости, авва отче...

Боязливо отступая, инокъ оступился и съ шумомъ пополъзъ по лѣстницѣ, какъ въ преисподнюю, вздыхая и стеня.

Смолкъ внизу гдѣ-то...

...Подъ колоколами были постланы цыновки.

У простѣнковъ между пролетами стояли скамьи и стулья, черное распятье съ аналоемъ передъ нимъ, а у одного изъ пролетовъ—большой бѣлый деревянный столъ, сплошь заваленный книгами въ кожаныхъ переплетахъ. Книги лежали и на полу у стола,—большія тяжелыя Четьи-Минеи. На рѣшеткахъ у пролетовъ мирно сидѣли голуби,—бѣлые, лиловые, пѣгіе. Они съ любопытствомъ вытягивали головки, смотрѣли на отца Геннадія глазками въ красныхъ ободкахъ. Взлетали, садились на колоколъ, скользя нѣжными лапками... улетали. Колоколъ отзывался на порывы горячаго вѣтра глухимъ шопотомъ, и, временами, какой-то неясный гулъ исходилъ изъ его мѣднаго тѣла. А въ пролеты лились жгучіе лучи солнца, золотя цыновки, и смотрѣла, курясь, желтымъ окомъ степь.

И въ этомъ пустынномъ уединеніи, наполненномъ воркованіемъ голубей и томными вздохами степи, о. Геннадій почувствовалъ, что вся напряженность его исчезаетъ. Вмѣстѣ съ слабостью, заставившей его почти упасть на стулъ, поднялась со дна души вся бунтующая скорбь, вся необъятная тоска, вразъ охватившая, сдавившая его здѣсь, у цѣли его стремленій.

Онъ сидѣлъ и молчалъ, уронивъ лицо въ ладони.

И волосы закрывали ему руки.

Игуменъ стоялъ передъ нимъ, возвышаясь худой высохшей тѣнью, и, перебирая четки, острымъ взглядомъ смотрѣлъ на его склоненную голову и безсильно опустившіяся плечи.

— Не опять ли къ намъ на послушаніе?

На отрицательный жестъ Геннадія, игуменъ помолчалъ, тихо положилъ на плечо ему руку, и голосъ

его глухо прозвучалъ откуда-то издалека, какъ изъ подземелья, суровыми и мертвыми тонами:

— Со скорбью пришелъ?

Глубокою могилою показался о. Геннадію міръ.

Заживо-погребенный, онъ извивается и бьется на днѣ ея въ сыромъ и тѣсномъ гробѣ; стучитъ въ крышку съ крикомъ отчаянія...

Некому услышать!

Только этотъ суровый монахъ стоитъ и прислушивается къ его крикамъ.

Съ тяжелымъ стономъ, потрясшимъ его сильное тѣло, поднялъ о. Геннадій искаженное лицо и запекшимися губами—быстро-быстро,—сталъ говорить, словно изливая изъ груди потоки мутной крови, мѣшавшей дышать, давившей сердце болью и мозгъ кошмарными снами. Образы падшаго міра, возбуждаясь, бросалъ онъ монаху: въ объятьяхъ извивающіяся женскія тѣла, золотистыя, жаркія, прекрасныя въ своемъ грѣховномъ трепетѣ... И только теперь онъ остро почувствовалъ всю прелесть любимаго тѣла, когда оно стало чужимъ.

Въ чемъ же эта проклятая жгучая прелесть грѣха?

Вѣдь душа ея ему принадлежала... ему!

Болѣла его болями, скорбѣла его скорбями; какъ солнце—освѣщала его тернистый путь.

Или это былъ долгіе годы предательскій обманъ?

Такъ чему же вѣрить, если ложь—свѣтъ солнца, сіянье звѣздъ, бирюза неба? Такъ стоитъ ли жить въ этомъ мірѣ, гдѣ нельзя даже вѣрить камню, положенному подъ голову въ пустынѣ,—потому что подъ нимъ можетъ оказаться змѣя?!

Или онъ не внесъ въ отношенія сладость грѣха?

Онъ—аскетъ.

Онъ въ семинаріи спалъ на голыхъ доскахъ, питался однимъ хлѣбомъ съ водою, и отблескъ этой суровости остался на немъ до сихъ поръ.

И ея тѣло ушло отъ него...

Ея тѣло отдалось другому; ея милое, прекрасное тѣло, онъ видѣлъ самъ,—оно страстно и знойно трепетало въ другихъ объятіяхъ, какъ никогда не трепетало въ его!

Онъ не можетъ потушить въ себѣ этой яркой картины грѣха; она давитъ мозгъ его; она острыми иглами впивается въ сердце. Едва закроетъ глаза,—она вспыхиваетъ и дрожитъ въ вѣчномъ движеніи. Она встаетъ на горизонтахъ въ тысячѣ отраженій. Въ остромъ красномъ туманѣ она ходитъ, двигается, говоритъ... и кровь въ немъ переливается, какъ расплавленное олово, бьетъ въ виски, мучитъ стонами и лепетомъ грѣха.

Въ полномъ отчаяньѣ о. Геннадій охватывалъ голову пылающими ладонями.

— Отецъ! Отецъ!.. Отецъ! Я всю жизнь боролся съ грѣхомъ во всѣхъ его проявленіяхъ. Я обличалъ жадность, преслѣдовалъ сребролюбіе, укорялъ чревоугодіе, гналъ пьянство... Я поражалъ гнѣвомъ моимъ блудъ! Я видѣлъ порокъ въ наготѣ его, какъ можетъ видѣть только священникъ: малакію, трясущуюся отъ истощенія, упорную и наглую содомію. Растлитель и скотоложникъ съ плачемъ припадали къ ногамъ моимъ. И тѣ, кого мучатъ нечистыя грезы! Волнами липкаго грѣховнаго потопа казалась покрытой мнѣ земля. И только плавалъ по ней чистый ковчегъ моей семьи... моей семьи. Но и сюда... какъ тать, проникъ грѣхъ и засмѣялся своимъ блуднымъ смѣхомъ.

Онъ залился краской стыда отъ этихъ словъ и, уронивъ лицо въ ладони, глухо и отчаянно спрашивалъ:

— Такъ, значитъ, грѣхъ непобѣдимъ?!

Голуби въ звонкомъ полетѣ хлопали крыльями вокругъ колокольни и, воркуя, выгибали зобы на откосахъ пролетовъ... красивые, милые... цѣловались, любили...

— Такъ, значитъ, безсильно Добро?!

Какъ комокъ пламени, золотистый голубь пытался сѣсть на голову о. Геннадія, обдавая его вѣяньемъ крыльевъ.

И улетѣлъ.

И въ лучахъ солнца вздымался и падалъ, и уносился въ легкой погонѣ за голубкой. Огненно-жаркая степь приняла его въ золотыя объятья.

У темнаго колокола черною тѣнью стоялъ игуменъ. И, по мѣрѣ того, какъ говорилъ о. Геннадій, лицо его наливалось кровью гнѣва, и дикій огонекъ вспыхивалъ въ глазахъ. Онъ слегка наклонился, точно впитывалъ въ себя горькія слова, и борода его странно шевелилась. Внезапно выпрямившись, онъ съ дикой силой оттолкнулъ въ плечо о. Геннадія и быстро зашагалъ вокругъ колокола, точно въ крадущейся погонѣ за кѣмъ-то невидимымъ, но таившимся тутъ. И вдругъ, остановившись у пролета, весь облитый лучами заходящаго солнца, широкимъ жестомъ сталъ крестить пролетъ:

— Проклятый! Проклятый!

Отъ пролета къ пролету переходилъ онъ и ограждалъ ихъ широкимъ крестомъ.

— Изыди! Сгинь! Заклинаю тебя... именемъ Божіимъ!

Гнѣвно плевалъ въ пролеты.

— Плюю на тебя! Проклятый!

Голуби закружились испуганной тучей, громко хлопая крыльями,—бѣлые, желтые, синіе, странно молчаливые.

Игуменъ остановился передъ о. Геннадіемъ.

Въ дикомъ возбужденіи протянулъ руку.

— Смотри!

О. Геннадій прослѣдилъ направленіе его руки, и взглядъ его утонулъ въ золотистой глубинѣ вечерѣющей дали.

— Это царство діавола! — глухо говорилъ игуменъ.— Сойди сейчасъ на сто двадцать ступенекъ этой колокольни, и ты — въ его царствѣ! Отъ его дыханья не спасаютъ святыя стѣны обители. Стѣны храма не спасаютъ отъ него. Имъ проникнутъ каждый камень стѣнъ; отъ каждаго цвѣтка идетъ его дыханье: каждая травка...

сорви, вдохни ея запахъ... онъ войдетъ въ тебя съ ея ароматомъ и будетъ хохотать въ твоей плоти радостнымъ хохотомъ обладанія! Онъ входитъ въ тебя изъ воздуха, изъ солнечнаго луча... изъ звѣзды, если ты любуешься ею! Онъ шумомъ бури, пѣсней рѣки прельщаетъ тебя. Онъ зоветъ тебя сотней голосовъ, сотней глазъ смотритъ на тебя ласково и нѣжно. Предатель! Проклятый! Хитрый! Наглый! Онъ крадется въ мірѣ безшумными шагами. Смотри! Смотри! Эта желтая степь — его лицо! Румянецъ неба—румянецъ его щекъ. Солнце и луна — глаза его. Ты видишь? Видишь?

И, въ самомъ дѣлѣ, казалось о. Геннадію, что въ пролеты смотритъ хитрое, жаркое лицо и смѣется.

— Вся природа грѣхомъ пропитана! — продолжалъ игуменъ. — Смотри... тамъ, за горизонтами, въ этой огненной дали, живутъ люди. Башни вавилонскія они построили себѣ! Слышишь шумъ голосовъ ихъ? Топотъ ихъ ногъ? Ихъ вой? Ихъ пѣсни? Дикій хороводъ ихъ жизни? Это скелеты, еще не попавшіе въ склепы... они кружатся и стучатъ костями, полные гніенья. Въ нихъ копошатся черви, еще прежде, чѣмъ они лягутъ въ могилы. Слышишь? Тамъ, вдали... они стучатъ и лязгаютъ, и кишатъ, и кружатся желтыми волнами! И золотитъ ихъ око діавола, лаская и грѣя ихъ, рождая въ нихъ блудную похоть. Но близокъ день! Ударитъ Господь своей гнѣвной десницей по солнцу и лунѣ, по звѣздамъ и землѣ. И вспыхнетъ міръ, сгоритъ, на судъ предстанетъ... на страшный судъ!!

Онъ поднималъ худыя черныя руки.

— Иди! Вотъ мой отвѣтъ! Иди къ женѣ своей. И крикни ей: кайся, близокъ судъ... на колѣни! Да, да! Пусть томится въ молитвахъ, пусть исходитъ въ слезахъ. Пусть носитъ вериги. Пусть пищею ей будетъ хлѣбъ. И питьемъ вода. И земля постелью. Пусть закроетъ глаза и не смотритъ на міръ съ красотой его діавольской! И пока душа ея не изойдетъ въ слезахъ и вздохахъ

покаянья, стой надъ ней, кричи ей: кайся, блудница!..

... Внезапно игуменъ кинулся подъ колоколъ.

Схватилъ веревку и сталъ раскачивать языкъ, крича:

— Къ повечерію! Къ повечерію!

Гулкій ударъ ахнулъ въ воздухѣ.

Еще... еще.

Игуменъ склонялся и вразъ откидывался.

Языкъ ударялъ въ оба края, и колоколъ, чуть покачиваясь, гудѣлъ и пѣлъ. Ахающіе звуки вылетали въ пролеты и плыли, и тонули въ синѣющей дали.

— Помоги!!

О. Геннадій схватился за веревку.

Они вдвоемъ колыхались, напрягая руки, заражаясь весельемъ звуковъ, посылая въ воздухъ гулкіе удары.

Замеръ послѣдній звукъ.

Они осторожно стали спускаться по темной лѣстницѣ. Внизу игуменъ споткнулся о сонное тѣло монаха: тотъ уснулъ, собирая блестящіе осколки.

Игуменъ гнѣвно перешагнулъ черезъ него.

Въ пустынной церкви гулко звучали ихъ шаги.

Гудящимъ голосомъ игуменъ пѣлъ и читалъ, то скрываясь въ нѣдрахъ алтаря, то появляясь на клиросѣ, напомнная сошедшаго со стѣнъ святого. Отъ легкаго вѣтра тихо стучали въ стекла вѣтки кленовъ. О. Геннадій съ удивленіемъ озирался: никто изъ монаховъ къ повечерію не пришелъ.

Послѣ службы игуменъ подошелъ къ нему и, съ хмурой усмѣшкой, сказалъ:

— Когда замѣтишь мерзость запустѣнія на мѣстѣ святѣ, знай: близокъ конецъ! Пойдемъ. Я покажу тебѣ прелесть міра сего и власть князя тьмы.

Онъ гулко зашагалъ впереди крѣпкими ногами.

Молча переступилъ черезъ спящаго инока на ступеняхъ храма и углубился въ тѣнистыя аллеи. И всюду по пути ихъ,—въ густѣющей тѣни аллей, на крыльцахъ

келій, въ ихъ нутрѣ, видномъ сквозь распахнутыя окна,—лежали въ разнообразныхъ позахъ иноки.

— Вечеръ, вечеръ приближается, — гнѣвно бормоталъ игуменъ, — а для нихъ уже ночь... ночь смерти!

На пустынномъ дворѣ въ муравѣ тоже виднѣлись неподвижныя фигуры,—словно шли онѣ всѣ куда-то въ сторону, къ неясной цѣли, и на пути охватилъ ихъ сладкій сонъ. Игуменъ шелъ все дальше, дальше, крестясь и отплевываясь, пока калитка въ стѣнѣ не вывела на широкую лужайку, сбѣгавшую къ рѣкѣ, и окруженную темною стѣной лѣса и кустарниковъ.

У стѣны близъ калитки, подъ густымъ кленомъ стоялъ живой скелетъ, съ узкой сѣдой бородой до пояса, изможденный, съ лицомъ, покрытымъ морщинами, но съ безумно-напряженнымъ, пылающимъ, точно провалившимся взглядомъ. Онъ былъ въ грязной рубахѣ и портахъ, и стоялъ на одной ногѣ, другую поджавши подъ себя. Перебиралъ огромныя черныя четки. А на деревѣ вокругъ него висѣли крестики, ленты, образки,— дары богомольцевъ.

Игуменъ остановился.

— Побѣждаешь ли, братъ Зосима?

Зосима заговорилъ, точно хриплые часы на старой башнѣ:

— Кто Богъ великій, яко Богъ нашъ...

— Соблазняютъ ли видѣнія?

— Бѣсы!—хрипѣлъ Зосима,—бѣсы!

Онъ раскрывалъ ротъ, какъ засыпающая рыба.

— Пытались столкнуть меня... нынѣ ночью... плевали въ лицо. Но силою Господней держался я! И раскрыли они передо мною Адъ. Ходилъ я въ пламени... невредимый! Грѣшники, грѣшники... скрежетали, стонали, извивались въ пламени, протягивали ко мнѣ свои мерзкія руки, просили меня о каплѣ влаги. И взмолился я ко Господу: „избави меня, Господи, отъ

сего гнуснаго вида!“ И сила Божія подняла меня въ небо. И окружили меня въ бѣлыхъ одѣяніхъ старцы и сказали мнѣ: „Зосима! Проси, чего желаешь ты для грѣшнаго міра“. И отвѣтилъ я: „Чтобы попалилъ его огонь!!“ Тогда, какъ громъ, прозвучалъ мнѣ голосъ: „Не пришелъ еще часъ его, Зосима“! И сила Божія въ легкомъ вѣтрѣ перенесла меня сюда.

Глаза его дико пылали.

— Благослови, авва отче, продолжать искусъ мой!

Игуменъ осѣнилъ его крестомъ.

— Стой, Зосима... молись за міръ... молись за насъ грѣшныхъ!

Они пошли.

А позади Зосима пѣлъ, какъ испорченная труба.

— Ты еси Богъ, тво-о-ря-ай чудеса...

Игуменъ быстро шелъ вдоль опушки лѣса.

Приближались къ нимъ ритмическіе звуки.

Выростали въ веселую струнную пѣсню.

Внезапно за поворотомъ показалась кишащая куча иноковъ. Они кругомъ сидѣли на травѣ. И посреди этого круга въ странномъ танцѣ крутились два инока, присѣдая и выпрямляясь, выбрасывая ноги изъ-подъ черныхъ одеждъ. Они гукали и свистѣли въ такъ струнъ; то подпирались въ бока руками, то, вывертывая ладони, выкрикивали веселыя слова.

Игуменъ въ гнѣвѣ поднялъ руки, словно готовясь къ проклятію, и какъ колоколъ прозвучалъ его голосъ:

— Слуги діавола! Не сатанинское ли повечеріе справляете?!

Какъ вѣтеръ сдулъ монаховъ.

Крутясь по землѣ, пригибаясь, уползая, метнулись они чернымъ дождемъ въ чащу, и только шелестъ листьевъ указывалъ, гдѣ они таились.

Лишь одинъ,—хромой, съ рыжей бородой до пояса и выпуклыми круглыми глазами,—остался и стоялъ темной тушей.

Игуменъ вплотную подошелъ къ нему.

— Во имя Отца и Сына и Святаго духа!—сказалъ онъ, точно заклиная.

— Аминь!—спокойно отвѣчалъ монахъ.

— Рабъ плоти! Отвѣтствуй! Какою цѣною купилъ Господь твою душу?

— Цѣпою Своей пречистой крови.

— Безумный и лукавый рабъ! За какія же блага мірскія продалъ ты ее діаволу?

Монахъ спокойно улыбнулся.

— Я обманулъ діавола на этой сдѣлкѣ, авва отче... Я посрамилъ его! Онъ хотѣлъ соблазнить меня водою веселія... Ну, я ее выпилъ. Я, какъ Христосъ въ Канѣ, не только превратилъ воду въ вино, но и выпилъ его. Діаволъ вселилъ въ душу мою тоску, но я убилъ ее веселіемъ. Я, какъ Давидъ, скакаше и играя! И душа моя осталась чиста передъ Господомъ, ибо, по завѣту апостола, что ни дѣлалъ,—дѣлалъ во славу Божію. И діаволъ бѣжалъ посрамленный! Если же чѣмъ прегрѣшилъ...

Онъ слегка склонилъ голову.

— Накажи, авва отче!

Заслышавъ спокойный разговоръ, тамъ-и-сямъ изъ кустовъ показались черныя фигуры. Робко подходили. Образовали кругъ. И молча склонялись передъ настоятелемъ въ поясномъ поклонѣ.

— Дѣти безумія!—съ горечью заговорилъ игуменъ,— въ веселіи ли душевномъ отдаетесь во власть діавола? Развѣ не видите знаменій на землѣ и на небѣ? Близокъ день гнѣва Господня! Я въ уединеніи моемъ одинъ молюсь за васъ... Сыны погибели! Чѣмъ укротить мнѣ въ васъ похоть плоти? Вѣдь, земля могила для васъ! Обитель—гробъ! Неустанно должны вы отпѣвать свое тѣло, а свободнымъ духомъ устремляться въ небо!

Онъ обвелъ ихъ острымъ взглядомъ.

— На колѣни!!

Одна за другой попадали на землю черныя фигуры.

— Пойте погребальный канонъ!

Онъ стоялъ въ срединѣ круга и регентовалъ длинными руками. Звуками унылаго пѣнія огласилась поляна,—эти люди отпѣвали себя.

Въ мрачномъ равнодушіи слушалъ о. Геннадій пѣніе, и ему казалось, что онъ присутствуетъ при погребеніи міра...

Солнце сѣло.

Багровый румянецъ окрасилъ небо.

Точно кровью пропитались степныя дали за пурпурной рѣкою.

...и гдѣ-то въ вышинѣ клекталъ степной орелъ...

IV.

Ночь одѣла землю темнымъ, нѣжнымъ, таинственнымъ покровомъ. Отдыхая отъ дневного зноя, степь сладко дышала ароматами и смотрѣла, немигающая, въ небо, гдѣ горѣли въ черной пропасти звѣзды.

Съ пригорка о. Геннадій еще разъ взглянулъ во тьму долины. Едва бѣлѣла спящая обитель. А за нею, на горизонтѣ, чудовищный городъ бросалъ въ небо снопы бѣлаго свѣта, словно вѣки громаднаго глаза. Тусклымъ окомъ зла показался онъ о. Геннадію. Въ головѣ его тупо стучали слова игумена:

— Міръ—царство сатаны!

Да, онъ теперь чувствовалъ это всѣмъ существомъ своимъ. Образъ Зла онъ видѣлъ лицомъ къ лицу. Зло—это земля, ибо она, какъ блудница, извивается въ сладкомъ трепетѣ грѣха, раздражая похоть яркими красками, нѣжными звуками. Зло—это солнце, ибо оно зажигаетъ кровь и заставляетъ ее бурно биться въ жилахъ. Недаромъ святые скрывались въ пустыни и под-

земелья отъ прелестей міра. Міръ отравленъ грѣхомъ.

Міръ умираетъ!

И живитъ его только мутная кровь сатаны...

Потопъ грѣха плещетъ и бьетъ золотистыми волнами, заливаетъ землю.

Внезапно,—снова, снова,—съ острой болью вспыхнули въ его воображеніи образы грѣховнаго міра. Манили женщины изъ оконъ, и крались къ нимъ мужчины. И у женщинъ... было лицо его жены!

Но этотъ образъ гасъ въ приступѣ мрачнаго возмущенья.

Какъ вопль проклятья, слышался ему крикъ игумена съ колокольни. Вотъ черная тѣнь его раскачивается и бьетъ въ мѣдный колоколъ.

— Бей! Сильнѣе бей! Возвѣщай гибель... пока огненно-гнѣвная рука не напишетъ на тухнущемъ небѣ: конецъ!

Мрачная тоска давила его.

— Чего же медлитъ Богъ? Пусть потухнетъ солнце. Пусть упадутъ звѣзды. Пусть вспыхнетъ земля отъ гнѣва устъ Господнихъ!

Глядя въ черное небо, онъ шепталъ:

— Приди!..

... Остановился, удивленный.

Кто-то звалъ его изъ тьмы:

— О. Геннадій!

Нагналъ и пошелъ рядомъ, заглядывая въ лицо.

О. Геннадій тотчасъ узналъ Власа, съ его клочковатой бородой и маленькими безпокойными глазками. Угловатый, быстрый, живой, лохматый, какъ тѣнь, сплетенная изъ кружевъ ночи, онъ оживилъ сонный сумракъ возбужденными словами. Шумъ и гамъ, крики и вопли большого города принесъ онъ въ себѣ; сѣялъ ихъ по стенѣ жестами рукъ; населялъ ночную тьму образами сказки, хлынувшей на о. Геннадія набатнымъ

звономъ, топотомъ ногъ, моремъ кричащихъ лицъ, красными крыльями геройства.

Выбилъ его изъ круга его мыслей.

Вспугнулъ, встревожилъ.

... — Закрылись заводы, лавки, магазины. Народъ, какъ черная рѣка, запрудилъ улицы. Шли... и пѣли... и кричали тысячи народа, какъ въ одну грудь. Весело было... и жутко! Стояли солдаты, поднявши ружья. А впереди шелъ человѣкъ, тучный, плотный... и въ рукахъ у него знамя!

— Знамя бунта!—угрюмо сказалъ отецъ Геннадій,— знамя грѣха!

— Нѣтъ, нѣтъ!..—строго вскричалъ Власъ...

И изъ словъ его въ почной тьмѣ зазвучали залпы.

— Пули... въ окна... въ стѣны! И тотъ упалъ... А рядомъ шла дѣвушка... въ бѣломъ! И она схватила знамя. И крикнула что-то. Крикнула—и пошла впередъ Но пуля... ей въ грудь попала!

— Убили?!

— Платье на груди стало краснымъ, какъ знамя.

Передъ о. Геннадіемъ такъ ярко встала эта бѣлая дѣвушка въ черномъ морѣ толпы.

И у нея было... преображенное лицо его жены.

... красное пятно на груди...

— Власъ!—вскричалъ онъ съ тоскою.—Скажи мнѣ, Власъ! Но въ чемъ же ваша правда?!

Власъ не слышалъ его.

Власа давили кровавыя видѣнья, и онъ говорилъ хрипящимъ шопотомъ:

— Кровь... вездѣ кровь... горячая, дымящаяся!.. Мы звали на землю Правду, а Кривда посылала намъ пули. Изъ переулковъ выходили солдаты, солдаты... и стрѣляли! И на дорогѣ, на камняхъ, на стѣпахъ—запеклась кровь.

О. Геннадій расширенными глазами смотрѣлъ во тьму.

Кровавые образы съ воплемъ разбѣгались и пропадали гдѣ-то во впадинахъ, въ низинахъ. И всталъ надъ степью изъ словъ Власа Духъ Гнѣва, съ сверкающимъ лицомъ. И освѣтилъ тьму молніей, преломившейся въ лужахъ крови.

. . . . . .

... Вмигъ всплыло лицо сына.

Онъ тамъ!

Онъ тамъ — въ этомъ бунтующемъ городѣ, среди кричащаго потока людей. О, то, что онъ подозрѣвалъ, теперь стало увѣренностью: правда ихъ — его правда! И путь его съ ними... Но въ чемъ же ихъ правда? Куда ихъ путь? Что это новое, что подняло надъ землею красное знамя бунта? Знамя Гога и Магога, о которыхъ предвѣщало Писаніе? Знамя бурныхъ лѣтъ Антихриста? Возстаетъ братъ на брата, слуга на господина, сынъ на отца... подъ нимъ, подъ этимъ знаменемъ! Падаютъ устои общества, колышатся троны, отвергаются власти... подъ нимъ, подъ нимъ!

— Знамя грѣха?!..

Его сынъ... подъ нимъ, подъ нимъ!

О. Геннадій мутно смотрѣлъ передъ собою.

Степь молчала, нѣмая, задумчивая.

Тихо мерцали миріады міровъ.

Но о. Геннадій не видѣлъ ихъ.

Снова закружились передъ нимъ навязчивые образы: бѣлыя женскія тѣла. Но на груди ихъ пылали пятна крови.

... Пятна крови!..

. . . . . .

Дома о. Геннадія ожидала новость: вернулся сынъ.

Онъ сидѣлъ съ матерью въ залѣ за самоваромъ и тихо разговаривалъ съ нею.

О. Геннадія поразила таинственность, съ какою его встрѣтили. Юлія Львовна сейчасъ же затворила дверь на крючокъ, а Георгій, опершись на столъ, съ какою-

то темной внимательностью смотрѣлъ на отца, точно ожидалъ увидать чужого и опасался этого. Изжелта-блѣдное, какъ восковое, лицо его нервно подергивалось, а въ большихъ глазахъ отражался внутренній пожаръ. Въ углахъ губъ бродила саркастическая усмѣшка, придававшая злое и старое выраженіе его юному лицу съ квадратной бородкой. При видѣ отца онъ озарился нервной радостью и точно метнулся изъ-за стола къ нему.

Порывисто обнялъ.

— Какъ ты измѣнился,—съ удивленіемъ разсматривалъ сына о. Геннадій,—словно подмѣнили тебя!

Онъ внимательно присматривался къ сыну.

Видѣлъ въ немъ много новаго.

Казалось,—все въ душѣ его было изломано и торчало острыми углами. Настроенія, чувства—какъ волны—то упадали въ мягкую и нѣжную глубину, то вразъ, пѣнясь, вздымались въ бурливую высь. Онъ не сидѣлъ,—все ходилъ, ходилъ своими длинными странными ногами; шагалъ и порывисто обертывался; не садился, а бросался на стулъ и вразъ вскакивалъ, точно каждый нервъ его худого стройнаго тѣла жилъ безпокойной жизнью.

Сдѣлалъ мягкій жестъ рукою.

— А, вѣдь, знаешь, отецъ,—я къ тебѣ, какъ къ товарищу, пришелъ!

По-дѣтски засмѣялся.

Заговорилъ быстро, смотря въ полъ:

— Арестовали конспиративную квартиру. Пришлось бѣжать. Спѣшно! Массовые обыски. Въ городѣ негдѣ укрыться. Я весь день скрывался въ лѣсу. Но возможно, что прослѣдили. Могутъ явиться сюда. Каждую минуту. Надо быть готовымъ! Приготовить отступленіе. Мнѣ бы только до утра. А тамъ дальше... дальше...

— Георгій!—тихо вскричалъ о. Геннадій,—съ тобою случилось что-то ужасное?!

— Ну... нельзя этого сказать... если я здѣсь!— Но въ глазахъ его метнулось темное пламя.

— Въ чемъ ты замѣшанъ, Георгій?

— Партійное дѣло.

И вдругъ, нервно смѣясь, взглянулъ на отца и мать.

— Есть у васъ бритва?

— Бритва?!

— Или, все равно, ножницы. Надо устроить водевиль съ переодѣваньемъ. Сбрить бороду. Да и переодѣться бы не мѣшало.

— Ганя,—сказала Юлія Львовна,—у насъ, кажется, была гдѣ-то бритва? Я поищу.

Она вышла.

Георгій быстро ходилъ, насвистывая.

О. Геннадій сидѣлъ, опустивъ голову на руки.

Тишина и молчанье обнимали домъ, полныя тревожныхъ вопросовъ.

— Георгій,—глухо сказалъ о. Геннадій,—кто была... эта дѣвушка въ бѣломъ?

Тотъ рѣзко обернулся.

Почти уронилъ руки на столъ, опираясь.

— Что?! Откуда ты знаешь?

— Прихожанинъ разсказывалъ дорогой.

Столъ дрожалъ подъ руками Георгія.

— Она была, отецъ... Она была...

Губы не слушались его.

— Она...

Глаза ихъ встрѣтились, темные, мутные. И смотрѣли въ душу другъ-другу. Враз увидали тамъ черныя пропасти. И необъятная печаль, непонятная, смутная, вошла въ душу о. Геннадія.

. . . . . .

Вошла Юлія Львовна со старой поломанной бритвой.

— Вотъ и отлично! И отлично!—повторялъ Георгій, какъ въ смутномъ снѣ,—вотъ и устроимъ мы все... все хорошо!

Но рука его дрожала, беря бритву.

Мертво улыбался.

— Преображусь... возьму посохъ... и дальше... какъ странникъ!

Повторялъ, не замѣчая:

— Дальше... дальше!

Снова искоса взглянулъ въ глаза отцу.

И токи прошли между ними.

...Токи печали...

Тамъ, за темною оболочкою глазъ, видѣли они глубокое смутное дно, гдѣ жили тусклые призраки съ остановившимся взглядомъ.

И сидѣли молча, не задавая вопросовъ, каждый съ своей думой.

Въ домъ вошла безшумная тревога, прокралась въ комнаты и сѣла въ уголъ, слѣпая. И кто-то тамъ, за стѣнами дома, казалось, крался, тускло заглядывалъ въ окна, сторожилъ и ждалъ. Рѣзкимъ казался свѣтъ лампы. Юлія Львовна инстинктивнымъ движеніемъ полуопустила огонь.

— Никто не долженъ знать, что я былъ здѣсь, — точно откуда-то издалека сказалъ Георгій.

— Слышишь, Юлія?

О. Геннадій мутно взглянулъ на жену.

— Никто не долженъ знать!

Настойчиво повторилъ:

— Никто!

Она вздрогнула и сжалась.

И опять лицо ея стало побитое.

Чужимъ взглядомъ мелькомъ взглянула на мужа, словно ожидая удара.

...Еще полночи не было.

Никто не думалъ о снѣ.

Точно по уговору, отецъ и сынъ взяли шляпы и вышли.

Бурьяномъ огорода, за прялами, вдоль коноплей вышли въ степь. Семья неподвижныхъ и сонныхъ

мельницъ словно разступилась передъ ними. И степь обняла ихъ теплыми объятьями, сухимъ ароматомъ травъ, сумракомъ далей. Говорили о случайномъ и неважномъ. Напряженно чувствовали другъ въ другѣ трепетъ вопроса, но избѣгали его.

И внезапно разгорѣлся споръ.

Изъ-за чего—они бы не сказали...

Но вотъ они уже стояли другъ передъ другомъ подъ звѣзднымъ небомъ—два міра, готовые столкнуться съ шумомъ бури.

Степь наполнилась образами спора.

...ШелъХристосъ своей блѣдной походкой, съ лучистыми глазами. Потрясалъ скрижалями Моисей, съ лицомъ багровымъ отъ гнѣва. Выбѣгалъ изъ пещеръ, угрожая, быстрый и сухой Илія. Выростали стѣны древнихъ городовъ, и съ нихъ въ ночной тьмѣ нѣжно звали блудницы... и шли на ихъ зовъ воины въ блестящихъ шлемахъ, военачальники, вожди и цари. Падали царства отъ заразы пороковъ и выростали новыя, чтобы утопать въ похоти и наполнять землю разгуломъ плоти. И раскрывалось надъ ними небо, вспыхивало сѣдое лицо... дышало гнѣвомъ и местью...

И подъ огненной бурей о. Геннадій метался и кричалъ:

— Отравлена грѣхомъ каждая пылинка міра!

Поднималъ руки, точно призывая гибель:

— Потухнетъ солнце, упадутъ звѣзды, не дастъ свѣта луна...

Но изъ бурныхъ словъ сына выбѣгалъ кто-то темный, худой, кричащій. Вскрывалъ горящія раны. Проклиналъ небо, стоналъ и падалъ, цѣловалъ землю, прижимался къ ней... и вставалъ... и выросталъ... Въ гнѣвѣ, въ ярости, въ страсти разрушалъ вѣчныя стѣны. Перестраивалъ землю. Кричалъ въ шумной радости:

— Побѣда!

И отзывались смѣющимся воплемъ дали:

— Побѣда!

Дрожала земная грудь, и колыхались на ней травы:

— Побѣда!

Глухой гулъ шелъ съ темнаго неба:

— Побѣда!

Но съ лицомъ звѣря казался о. Геннадію этотъ кричащій; онъ не вѣрилъ въ этого кричащаго, съ гнѣвомъ отталкивалъ его.

— Ты человѣка сдѣлалъ своимъ богомъ! Сгустокъ грязи, комокъ грѣха! Георгій! Георгій! Вѣдь, ты свергаешь религію?!

— Есть только одна религія—религія Природы!

— Уничтожаешь мораль?!

— Есть только одна мораль—мораль земли. А ваша,—взятая на прокатъ съ неба, хозяйка публичнаго дома вашего общества!

— Опомнись, Георгій!!

— Да, да! Эта почтенная старушка съ провалившимся носомъ давно пережила себя. Химера! Химера! Пора сдать ее въ архивъ...

Рѣзко отбрасывалъ руку.

— Къ крысамъ, къ крысамъ ее!

Теперь они стояли, какъ враги, и, точно ловя руками звѣзды, нападали другъ на друга.

— Что же есть для тебя святого, если сама добродѣтель...

— Лицемѣрная маска разбойниковъ!

— Но святость семьи, семьи?!

— Гдѣ люди соединены не сердцемъ, а желудкомъ?

— Но цѣломудріе?!

— Сгорающее отъ тайныхъ желаній, доводящихъ до невѣроятныхъ извращеній? Развѣ не для него существуютъ публичные дома, охраняемые вашимъ государствомъ, и больницы, гдѣ люди разлагаются заживо!

— Долгъ?!

— Передъ субботами?

Его голосъ сталъ грознымъ отъ негодующаго волненія.

— Ваша идея долга нужна рабамъ! Сверху до низу построено на ней все ваше гнилое общество. Всѣ язвы его—язвы долга! Человѣкъ по природѣ своей жаждетъ прекраснаго, а мораль говоритъ ему: ты долженъ, ты не долженъ! Ибо въ ней выражается господство однихъ надъ другими. Рабъ жаждетъ свободы, но онъ долженъ повиноваться господамъ. Это выгодно господамъ, и потому это долгъ! Человѣкъ долженъ охранять свою семью, хотя бы она давно превратилась въ тайный притонъ, гдѣ живутъ враги, обманывая и ненавидя другъ-друга!

— Георгій!

— Да, да! Но семья—основа общества; съ распадомъ ея погибнетъ все ваше неправедное общество, и потому охранять этотъ притонъ разврата—долгъ! Хотя бы въ ея адской атмосферѣ гибли дѣти... А, впрочемъ,—погибать, заражаясь вашей моралью, въ семьѣ, въ школѣ, въ церкви,—это долгъ дѣтей! Какой-нибудь цезарь Неронъ... кровавый звѣрь... Да что говорить! Вотъ что такое вашъ долгъ! Это—чудовище, рожденное моралью и религіей, моралью и религіей господъ, которыми они сами отравились.

— Георгій! Въ тебѣ говоритъ гордость сатаны!

— Это гордость свободнаго духа!

— Блаженны кроткіе...

— Ложь! Блаженны только смѣлые духомъ, ибо они станутъ людьми... въ братскую семью они сольются, и покорятъ землю, и измѣнятъ свою природу: возвышенной, прекрасной сдѣлаютъ ее!

И онъ вскричалъ въ порывѣ вдохновенья:

— Они идутъ... трудовые братья земли... они идутъ... Да, да! Одиноки они были: ихъ раздѣляли химеры и обманы. Но скоро они бросятъ землѣ и небу свое мощное слово: міръ—это мы... потому что мы—одно! Они сдѣлаютъ землю Раемъ,—храмъ любви и братства создадутъ изъ нея. И тогда то, что вы зовете грѣхомъ, порокомъ, преступленьемъ,—исчезнетъ съ лица земли.

— Никогда!—страстно вскричалъ о. Геннадій.—Нѣтъ, нѣтъ! Никогда не исчезнетъ грѣхъ!

— Его смѣнитъ радость!

— Никогда не исчезнетъ ненависть, раздирающая людей.

— Она растворится во всемірномъ братствѣ.

— Зависть...

— Счастливые не завидуютъ.

— Жадность!

— Болѣзнь неудовлетворенныхъ.

— Убійство!

— Братьевъ не убиваютъ.

— Обманъ, ложь... измѣна!

— Ихъ не будетъ въ царствѣ братской любви.

Тогда онъ крикнулъ:

— Блудъ?!

Ждалъ отвѣта съ страннымъ интересомъ.

Но Георгій безстрашно схватился съ этимъ вѣчнымъ чернымъ призракомъ грѣха, и тѣмъ, кто произвелъ его изъ темнаго сознанья, бросалъ свои страстныя слова.

— Атомъ къ атому свободно стремится въ творчествѣ міра. Опытъ свой организовала природа и передавала его въ творческомъ актѣ... пока не создала человѣка. А они, пошлые земли... неугасимое стремленіе къ творчеству жизни назвали блудомъ! Мораль, Религія, Право,—вся эта выжимка изъ господства однихъ надъ другими,—наложила свою грязную руку на великое творчество жизни. Бросила женщину подъ власть мужчины... убила ея духъ, сузила мозгъ. Бросила мужчину и женщину въ цѣпи семьи для пользы государства господъ, чтобы сдѣлать изъ общества людей—заводскую конюшню, для производства больныхъ и развращенныхъ рабовъ. И протестъ возмущеннаго инстинкта окрестила пошлыми словами. Да!.. Грѣхъ, порокъ, преступленье — это протестъ природы, выбитой изъ нормальнаго русла; это исковерканный и искажен-

ный инстинктъ, доводящій людей до послѣдняго паденія ихъ, прекраснаго по природѣ, существа. Отчего у звѣрей нѣтъ измѣны? Нѣтъ прелюбодѣянія? Нѣтъ распутства? Нѣтъ растленій? Нѣтъ дѣтей рахитниковъ, дѣтей, развращенныхъ чуть не съ пеленокъ въ семьѣ и въ школѣ? Звѣри цѣльны! Они свободно творятъ жизнь. Они сильно и красиво любятъ. А человѣкъ...

Мрачное вдохновенье охватило Георгія, и онъ сталъ бросать рѣзкія слова, точно тяжелые камни:

Человѣка еще не было!

Человѣкъ будетъ.

Человѣкъ—это нѣсколько клѣточекъ въ мозгу.

Остальное—звѣрь!

Этотъ звѣрь испорченъ. Инстинкты его извращены... уже цѣлые вѣка. Оттого такъ кровавы и страшны муки рожденія человѣка. Вѣдь, вся исторія человѣчества и состоитъ въ зубовномъ скрежетѣ испорченнаго звѣря и мятежномъ метаніи человѣка. Людей разъединяло рабство. Но въ одну семью сольетъ ихъ братство, ибо въ мірѣ уже неудержимо растетъ братство клѣточекъ мозга.

Тогда вырастетъ новый человѣкъ!

Онъ исправитъ въ себѣ звѣря.

Облагородитъ его.

На красивомъ и сильномъ звѣрѣ вырастетъ онъ въ недосягаемую высь, когда, отбросивъ логику неба, будетъ жить по логикѣ земли.

И не будетъ у него иного бога,—кромѣ Истины.

Иной религіи—кромѣ Красоты.

Иной морали—кромѣ Гармоніи жизни.

Звѣрь—это жизнь міра!

Человѣкъ—это пониманіе міра!

Къ Красотѣ жизни черезъ Истину человѣка — вотъ путь исторіи будущаго.

...На крыльяхъ умственной бури уносился Георгій вдаль... вдаль...

Степь расцвѣтала цвѣтами.

Звенѣли пѣсни.

Мужчина и женщина, повитые полевыми цвѣтами, улыбались, какъ дѣти, нѣжныя дѣти земли, лучамъ солнца, золотымъ далямъ, утопающимъ въ зелени воздушнымъ постройкамъ вдали отъ черныхъ громадъ заброшенныхъ городовъ. И природа ихъ была прекрасна! Наслѣдственность дала имъ здоровье, силу, красоту. Они были цѣльны! И были вѣчно вмѣстѣ, одинъ и другая. И наполнялась земля отъ любви ихъ красивыми, сильными дѣтьми, играющими среди полевыхъ цвѣтовъ. Изъ дѣтей выростали смѣлые люди, завоеватели міра... граждане царства Красоты... Радужный мостъ въ безконечность развитія!

Уже давно молчалъ о. Геннадій.

Со смутнымъ интересомъ наблюдалъ онъ сына. Его страстное возбужденіе волновало его, покоряло, и, въ то же время, рождало темное предчувствіе. Неясное и глухое подозрѣнье возникало въ немъ.

— Георгій,—думалъ онъ,—онъ рожденъ сражаться съ драконами...

Глухо стучало сердце въ предчувствіи откровенія.

Просилась мысль какая-то...

И не могла!

А Георгій, весь трепетный и гнѣвный, кричащій отъ необъятной внутренней боли, вразъ овладѣвшей, вразъ прорвавшейся въ страстныхъ словахъ, проникнутый горькимъ негодованьемъ, уже бился съ призраками, уже наполнялъ степь образами Крови. Вспыхнули пожары. Затрещали залпы. Стеня, бѣжали, сгибаясь, тѣни, кровяня землю. Выростали висѣлицы, впивались въ небо...

Яркое, какъ молнія, вспыхнуло въ мозгу о. Геннадія.

Вспыхнула мысль.

Озарила мозгъ пожаромъ.

— Георгій!—вскричалъ онъ съ ужасомъ.

Тотъ вразъ смолкъ и стихъ.

Понялъ тайную мысль отца,—его догадку.

Поднялъ лицо съ блѣдной улыбкой къ звѣздамъ.

— Георгій! Георгій! Тамъ... въ городѣ...

Сынъ медленно и глухо отвѣчалъ:

— Да...

О. Геннадій схватилъ его за плечи, держалъ крѣпко и сильно, словно боясь, что вотъ онъ растаетъ передъ нимъ во мракѣ ночи, какъ призракъ бреда.

— Ты?!

И опять сынъ отвѣтилъ откуда-то издалека:

— Да.

Отецъ разжалъ пальцы, отнялъ руки.

Молча стояли они, неподвижные, нѣмые.

Георгій переходилъ взглядомъ съ звѣзды на звѣзду, съ странной, съ блѣдной улыбкой. И, быть можетъ, не видѣлъ ихъ отдѣльно: онѣ сливались передъ нимъ въ серебристый пожаръ, полный вихрей, круговоротовъ и бурь.

Отецъ смотрѣлъ въ лицо его, освѣщенное звѣздной бурей.

И міръ горѣлъ, крутился, падалъ передъ нимъ въ этомъ лицѣ... рождался въ новыхъ образахъ. Это прекрасное лицо... лицо его сына... любимое лицо... лицо преступника?

Мысли метались.

Добро и зло перемѣшались.

Такъ развѣ можетъ добро рождаться зломъ?

Любовь—ненавистью?!

Но тогда... откуда же эта, рожденная преступленьемъ, святость?

...Они больше не сказали ни слова.

Молча вернулись домой.

Ночью о. Геннадій зашелъ въ кабинетъ, гдѣ помѣстился сынъ.

Тьма.

Сонно шелестятъ деревья сада за раскрытымъ окномъ...

Подошелъ къ постели сына, долго стоялъ темной тѣнью, чувствовалъ, что сынъ не спитъ... будто ждетъ чего-то.

Тогда онъ широкимъ крестомъ перекрестилъ его. Нагнулся. Поцѣловалъ въ лобъ. И, точно отдаваясь порыву, поцѣловалъ еще... въ лицо... и еще... крѣпко, долго, въ губы. Съ легкимъ вздохомъ Георгій обнялъ его за шею, какъ въ дѣтскіе годы, прижался къ нему. И такъ, молча, они оставались долго, не говоря, но понимая, какъ затерявшіеся на граняхъ прошлаго и будущаго, впервые угадавъ другъ-друга.

И стало вздрагивать и трепетать въ его объятьяхъ это молодое тѣло.

Онъ угадалъ тайную горесть.

Ощутилъ влажный запахъ слезъ.

— О чемъ ты... Георгій!

И снова спросилъ:

— Раскаянье?..

— О, нѣтъ, нѣтъ... нѣтъ!

Молчаніе.

Отецъ мыслью ходилъ по его міру.

И уже научился понимать его.

Тихо спросилъ, припавъ щекой къ мокрой щекѣ сына:

— Кто была... эта дѣвушка въ бѣломъ?

Тогда, привставъ на постели, бѣлѣя во тьмѣ, Георгій зашепталъ въ страстной горечи:

— ...Она отдала все... все, все отдала... дѣлу народа. Молодость, счастье, жизнь! Отецъ, отецъ! Она была, какъ дочь мнѣ. Я душѣ ея отдалъ все, что было во мнѣ святого. Я ей мечту мою отдалъ! И она несла ее...

гордая, смѣлая... прекрасная! Да, да... она была прекрасна! Отецъ, отецъ! Развѣ она умерла?! Нѣтъ, нѣтъ!.. Она не умерла... не можетъ умереть! Она какъ зарница... какъ молнія будущихъ далей... блеснула... провозвѣстница грозъ. О, ихъ много придетъ... дѣвушекъ въ бѣломъ... ихъ много придетъ, гордыхъ, смѣлыхъ, прекрасныхъ... и міръ отъ нихъ зазвенитъ серебрянымъ свѣтомъ! Но... онѣ будутъ... онѣ будутъ для меня...

Закончилъ въ отчаянной вспышкѣ:

— Не она!

— Ты любилъ ее?—беззвучно спросилъ о. Геннадій.

Георгій крѣпко, до боли, сжалъ ему руки.

— Я любилъ ее, отецъ... люблю ее!

Едва о. Геннадій забылся тревожнымъ сномъ, передъ нимъ въ ночной мглѣ встали неясныя очертанія колокольни. Въ пролетахъ ея металась черная фигура игумена. Чугунный языкъ съ гуломъ ударялся въ мѣдные бока, плодя звуки медлительнаго звона, отъ котораго колебалась тьма, какъ трауръ, и, какъ въ предсмертной агоніи, вздрагивала земля. На горизонтахъ, бѣлѣя, кружились скелеты въ хрустящемъ танцѣ. Тоскою одолѣвало о. Геннадія сознаніе конца. Но сквозь колокольный гулъ онъ слышалъ поспѣшные шаги, твердые быстрые шаги по скрипучей лѣстницѣ колокольни. Онъ прислушивался къ нимъ. И въ сердце его лилась надежда. Все быстрѣе раскачивался игуменъ въ послѣднемъ безумномъ усиліи. Но уже кто-то вошелъ, кто-то схватился съ нимъ... И подъ вой скелетовъ звякнулъ колоколъ и смолкъ. Двѣ тѣни боролись тамъ, вверху. И съ бьющимся сердцемъ о. Геннадій узналъ сына, потому что лицо его освѣщалось гнѣвомъ. Вотъ схватилъ онъ игумена, поднялъ и бросилъ въ

пролетъ. Но тотъ чернымъ ворономъ съ карканьемъ носился. И тучи вороновъ хлопали крыльями и кричали. А Зосима стоялъ на одной ногѣ и гнусавилъ нараспѣвъ:

— Кто Богъ великій, яко Богъ нашъ...

Но уже въ воздухѣ поплылъ радостно-тревожный набатъ.

И вмигъ небо окрасилось пурпурнымъ заревомъ. Съ воплемъ разсыпались скелеты. Отъ радостныхъ криковъ задрожала степь, и дали отозвались отвѣтнымъ эхомъ:

— Побѣда!

Трепетали, колыхаясь, знамена... мелькали въ воздухѣ тысячи радостныхъ рукъ, и смутно чудились кричащія лица:

— Побѣда!

И радость охватила о. Геннадія при видѣ торжествующей жизни.

Вдругъ смолкло все...

Склонились знамена.

Онъ взглянулъ...

— Дѣвушка въ бѣломъ!

Она шла, смотрѣла на звѣзды и блѣдными руками перебирала цвѣты.

И зналъ онъ: это была Красота, любимая его сыномъ...

Вдругъ онъ увидалъ крадущіяся тѣни звѣрей... за ней, за ней! Спѣшили волки съ раскрытыми пастями, теряя жадныя слюни, а за ними крались хитрыя лисы и переваливались медвѣди. Быстрыя, крпвляясь на вѣтвяхъ, скакали обезьяны; тигры протягивали мохнатыя лапы. И съ злыми глазами тянула къ ней съ дерева, точно съ тропа, змѣя свое острое жало.

Тоска и боль, жалость и гнѣвъ сжали ему сердце.

Онъ хотѣлъ бѣжать... къ ней, къ ней... на помощь!

Но ноги не слушались его.

Съ крикомъ проснулся...

...Сквозь яростный лай и визгъ собакъ въ ворота гулко стучали. На дворѣ звучали голоса. Потомъ вразъ во всѣ ставни, на дворѣ и на улицѣ, забили крѣпкія руки.

— Вставайте! Отворяйте!

Насмѣшливый голосъ звонко говорилъ:

— Именемъ закона!

О. Геннадій вмигъ схватился, метнулся въ комнату Георгія, нащупалъ въ темнотѣ постель.

Она еще тепла... пуста!

Окно раскрыто.

Онъ выглянулъ.

И увидалъ во тьмѣ, на дорожкѣ сада, высокую плотную фигуру жандарма.

Отпахнулись ставни.

Въ стёкла глянули лица.

Точно темная сила окружила домъ.

И съ топотомъ ворвались въ дверь, какъ толпа неуклюжихъ медвѣдей, раскачивая фонарями. Стучали шпорами и грубо задѣвали мебель. Словно ворвался черный потокъ, заливая комнаты мутной волной.

Зажигали лампы, свѣчи.

— По предписанію главноначальствующаго, — слышалъ, какъ во снѣ, о. Геннадій.

Передъ нимъ стоялъ полковникъ.

На жесткомъ гладко-бритомъ лицѣ его, похожемъ на совиную маску, скрещивались тѣни фонарей и лампъ. И оттого онъ казался призракомъ, у котораго вытягивался и исчезалъ носъ, а глаза свѣтились змѣинымъ блескомъ. По рѣзкому движенію его руки тяжелыя фигуры бросались, толпясь, въ сосѣднія комнаты, шумно двигали мебель, съ кѣмъ-то перекликались въ раскрытыя окна. На подволокѣ топали тяжелыя ноги, и съ потолка осыпалась известка и пыль.

О. Геннадій чувствовалъ себя въ кошмарномъ снѣ.

Проводилъ рукою по лицу, точно желая проснуться.

Но мрачная грёза продолжалась.

— У васъ есть сынъ?—спрашивалъ полковникъ.

— Есть.

— Его зовутъ Георгій?

— Георгій.

— Онъ здѣсь?

О. Геннадій спокойно смотрѣлъ въ лицо полковника.

— Нѣтъ!

— Онъ здѣсь, говорю я вамъ!—дерзко крикнулъ полковникъ.—Безполезно запираться,—его слѣды прослѣжены!

О. Геннадій отвѣчалъ ему въ тонъ:

— Его здѣсь нѣтъ, говорю я вамъ!

Но въ это время вокругъ дома загудѣло и застонало, словно налетѣла, преслѣдуя жертву, туча ночныхъ птицъ.

— Нашли! Нашли!

О. Геннадій вздрогнулъ.

Впился глазами въ дверь.

Изъ дверей и въ двери метались юркіе человѣчки въ штатскомъ, что-то кричали гнусавыми голосами, какъ вспугнутое стадо обезьянъ.

Въ сѣняхъ возились, топали, и кого-то тащили.

Съ грубымъ смѣхомъ втолкнули въ дверь женщину,—полуобнаженную, въ короткой юбкѣ, съ шалью, упавшей на одно плечо.

Она дрожала.

Поправила шаль.

Темнымъ взглядомъ животнаго нашла взглядъ о. Геннадія и ушла имъ въ сторону.

За нею ввели, крѣпко держа, высокаго человѣка въ разорванной рубахѣ.

— Въ банѣ нашли!..

О. Геннадій положилъ руку на столъ и мутно взглянулъ на полковника.

— Полковникъ! Эта женщина... моя жена. Отпустите ее!

— А это... вашъ сынъ?

— Нѣтъ.

— Кто же?

Что-то мутное охватило на мигъ о. Геннадія и подчинило себѣ.

— Этотъ человѣкъ передъ вами... спросите.

— Кто вы?

— Сынъ... мѣстнаго дьякона.

— А!—саркастически разсмѣялся полковникъ,—очень пріятно...

И, откинувшись на стулѣ, обратился къ Юліи:

— Гдѣ же вы изволили быть?

— Я... услыхала шумъ... вышла... Испугалась...

— А вы?—уже не скрывая насмѣшки, обратился жандармъ къ Александру.

— Услыхалъ шумъ,—подавленно отвѣчалъ Александръ, не замѣчая совпаденія словъ.

— И вышли?

— Думалъ, что воры...

— И встрѣтились въ банѣ?

Легкій смѣхъ прошелъ среди жандармовъ.

О. Геннадій крѣпко оперся о столъ, такъ что тотъ подвинулся и заставилъ вскочить полковника.

— Полковникъ!—вскричалъ онъ гнѣвно,—это не имѣетъ отношенія къ моему сыну. Прошу не забывать, что здѣсь домъ священника!

— Здѣсь все имѣетъ отношеніе къ вашему сыну!—съ внезапнымъ бѣшенствомъ крикнулъ полковникъ, впрочемъ, мѣняя тонъ.—Знаете ли вы, въ чемъ обвиняется вашъ сынъ? Вашъ сынъ... убійца!

Юлія Львовна пронзительно вскрикнула:

— Убійца... нѣтъ, нѣтъ! Вы лжете!

Кинулась впередъ, блѣдная.

Шаль упала съ плечъ ея, но она не замѣтила.

— Мой сынъ... вы лжете! Онъ не можетъ быть убійцей! Нѣтъ, нѣтъ!

— Онъ здѣсь?—быстро кинулъ ей вопросъ полковникъ.

Она взглянула на мужа, схватилась за грудь, сдержалась, глухо проговорила:

— Нѣтъ.

— Его уже нѣтъ?

— Нѣтъ.

— Значитъ, только-что былъ?

— Нѣтъ. И не былъ... нѣтъ!

Схватившись за голову, она упала въ безпамятствѣ.

О. Геннадій бросился къ ней, вырвалъ ее изъ грубыхъ рукъ жандармовъ и, прикрывая ее шалью и держа за талію на рукѣ, другую руку рѣзко протянулъ къ полковнику.

— Полковникъ!—крикнулъ онъ,—это издѣвательство!

— Что-съ?!

Полковникъ вскочилъ.

— Прошу не забывать: я — представитель закона!

— Земного? А я представитель закона, начертаннаго въ Евангеліи! Не дѣлайте другимъ того, чего не желаете себѣ,—сказано тамъ. Ибо въ ню же мѣру мѣрите...

Съ глухимъ намекомъ докончилъ:

— Возмѣрится и вамъ!..

— Что это? Угроза?! — вспыхнулъ полковникъ.

О. Геннадій обдалъ его мрачнымъ взглядомъ.

... Со двора кричали:

— Нѣтъ!

Входили съ докладомъ, беря подъ козырекъ:

— Нѣтъ!

— Да здѣсь всѣ сговорились? — вскричалъ полковникъ, — все равно! Мы не могли ошибиться. Вашъ ли сынъ, или кто другой... мы найдемъ его на днѣ моря. Обыскать весь домъ! Осмотрѣть печи! Взломать полъ!

Задвигались ящики, застучали вьюшки, посыпались на полъ изъ шкафовъ книги.

... Стали съ трескомъ взламывать полъ...

V.

Черная туча нависла надъ поповскимъ домомъ, придавила его.

Духовенство не заѣзжало болѣе къ о. Геннадію, а въ вечернія зори близъ дома звучали похабныя пѣсни приспѣшниковъ старосты. О. Геннадій не исправлялъ разрушеній, словно въ память той ночи. Сбитыя съ петель двери построекъ жалобно скрипѣли отъ вѣтра, открывая взломанные полы погребовъ и амбаровъ. Въ бурьянѣ двора валялись кадушки, доски, упавшія съ крышъ; вѣтеръ игралъ обрывками бумагъ и перьями прорванной перины.

Какъ-то утромъ съ крикомъ вбѣжала служанка:

— Бѣда случилась... бѣда!

— Ну, что еще тамъ такое?!

— Вымазали дегтемъ ворота!

О. Геннадій поднялъ голову.

Лицо его было блѣдно, но спокойно.

— Это — Голгоѳа! — сказалъ онъ.

И съ этихъ поръ не опускалъ головы.

Съ застывшимъ выраженіемъ гордаго спокойствія, съ темнымъ „внутреннимъ“ взглядомъ, онъ ходилъ и двигался, какъ автоматъ. Ровнымъ, но далекимъ, голосомъ пѣлъ и читалъ, совершалъ требы и богослуженіе. Съ особенной тихою важностью говорилъ съ женой, словно и вся обыденная жизнь превратилась для него въ богослуженіе. Но волосы мало по-малу сѣдѣли надъ его еще молодымъ лицомъ.

Юлія Львовна неслышно сновала, какъ тѣнь, изъ комнаты въ комнату. Украдкою, косящимъ взглядомъ, наблюдала мужа, полная животнаго страха.

— Онъ знаетъ... вѣдь, онъ знаетъ... онъ знаетъ! — день и ночь стучала въ ней мысль.

Удивлялась, страшилась его молчанья.

— Отчего же онъ молчитъ... отчего?!

Лицо ея худѣло и покрывалось морщинами; глаза тускнѣли отъ скрытыхъ слезъ. Полная страховъ ожиданья, живя подъ гнетомъ какихъ-то нарастающихъ, отовсюду грозящихъ, ужасовъ, она перестала слѣдить за костюмомъ и прическою...

Только сынъ соединялъ ихъ.

Вечерами, въ темнотѣ, они тихо говорили о немъ. Волны общественной бури доходили до нихъ, разбиваясь о домъ ихъ слухами. И они жадно ловили слухи, жадно ждали извѣстій.

Извѣстій не было!

Быть можетъ... онъ пойманъ? Воображали его въ темницѣ, въ кандалахъ. Казнятъ его... а они не узнаютъ!

По цѣлымъ днямъ о. Геннадій уходилъ въ книги, перечитывалъ библію, ища отвѣта на свои мучительные запросы. Необъятный міръ открылъ передъ нимъ поступокъ сына, міръ, полный пугающихъ и странныхъ, непонятныхъ, образовъ. Въ борьбѣ Добра и Зла хотѣлъ онъ разобраться подъ угломъ этого факта. И гулкій крикъ борьбы облекался передъ нимъ въ причудливыя видѣнья, мучилъ его снами, — когда онъ видѣлъ борьбу Бога и Сатаны, темныхъ и свѣтлыхъ силъ... и его сынъ вмѣшивался въ эту борьбу, всегда освѣщенный багровымъ заревомъ мірового пожара.

... Иногда вечерами онъ уходилъ въ степь, къ кресту на знакомомъ курганѣ, и тамъ стоялъ, неподвижный и темный, со скрещенными руками.

Послѣ знойныхъ дней бушевали бури.

Бѣжали по степи во тьмѣ чудовища, съ воемъ и стономъ пригибаясь къ землѣ. Вставали до тучъ въ сѣдыхъ лохмотьяхъ дождя, какъ дикія грёзы... ахали, падали... Освѣщенныя сверху невидимой луной, испуганнымъ стадомъ спѣшили тучи, холодныя, слѣпыя.

Шурша въ сухой травѣ, подкрадывался вѣтеръ, проводилъ по лицу о. Геннадія влажными лапами и убѣгалъ...

А съ горизонтовъ вставали вопли бури.

И мрачные голоса ночи будили въ о. Геннадіи неясныя, но большія мысли. Суровые бурные стоны ея говорили ему больше, были ближе ему, чѣмъ нѣжная и страстная улыбка дня. Точно идеи боролись передъ нимъ и проносились въ воздухѣ мысли, мысли о великой борьбѣ, тамъ, за горизонтами... Вставали одинокіе Маккавеи... всегда побѣждаемые! Тамъ Моисеи въ гнѣвѣ убиваютъ египтянъ, поднимаютъ скрижали и зовутъ изъ плѣна народъ... чтобы быть побитыми камнями. Тамъ пророки встаютъ... чтобы умереть въ темницѣ!

Онъ всматривался въ тьму.

Тамъ, во мглѣ и бурѣ, гдѣ-то бродитъ его сынъ, быть можетъ, укрываясь во впадинахъ земли, въ сырыхъ и грязныхъ ямахъ... такой же гонимый, какъ онъ... такой же одинокій! Идетъ, идетъ... не имѣя пристанища, подъ дождемъ и вѣтромъ.

Но міръ предастъ его!

Развѣ онъ, о. Геннадій, не знаетъ людей? Самымъ близкимъ и милымъ нельзя вѣрить.

— Нельзя! Нельзя!

Снова вспыхивали передъ нимъ образы грѣховнаго міра.

Но онъ холоднымъ взглядомъ, — со стороны, — смотрѣлъ на нихъ: они больше не волновали его.

Билъ въ колоколъ на колокольнѣ своей черный игуменъ, бѣшено бросая проклятья...

Но приходилъ сынъ.

И мыслью уходилъ за нимъ о. Геннадій по холодному міру.

А буря дышала въ лицо ему.

... И пришло изъ тусклыхъ сумерекъ окружающей ночи что-то новое, еще непонятное; безшумно постучало въ окна, улыбнулось улыбкою неяснаго лица, еще

незнакомаго, но уже близкаго, будящаго и радость, и смутную тоску.

Не въ первый разъ долетала къ поповскому дому насмѣшливая пѣсня:

Му-ужъ мо-ой свяще-е-е-енникъ,
А я по-о-па-дья-а...

Наглый смѣхъ дрожалъ въ вечернемъ сумракѣ.

Блѣдными тѣнями, молча сидѣли и слушали за чайнымъ столомъ попадья и о. Геннадій эти пѣвучіе звуки вражды, душившіе ихъ костлявыми пальцами. Она ничего не смѣла говорить, молча сносила, слегка уводя голову въ плечи, какъ побитая. А онъ думалъ о терновомъ вѣнкѣ, и попадья въ темнотѣ различала на лицѣ его горькую улыбку. Вражда, наглѣя, уже подходила къ самымъ окнамъ, выводила на площадь чужую тайну и плевала на нее, обнаженную:

Выходи-ка, дорогая,
На свиданьице ко мнѣ!
Обниму тебя, лаская,
У дьякона на гумнѣ...

Но разъ пѣсня смѣнилась криками.

Выросъ шумъ драки.

Въ вечернемъ сумракѣ вокругъ дома метались кричащія тѣни, жалобно стонали подъ тупыми звуками ударовъ, молили о пощадѣ.

И пѣсня смолкла...

— Кто эти нежданные друзья?—съ удивленіемъ думалъ о. Геннадій.

Перебиралъ въ памяти знакомыя лица.

— Кто они?

Но память ничего не подсказывала.

Неужели онъ плохо знаетъ своихъ прихожанъ? Неужели въ вѣчной борьбѣ съ грѣхомъ онъ просмотрѣлъ то милое, что вокругъ таилось, то человѣческое, что, какъ невидимый ковчегъ, несется по волнамъ звѣринаго потопа въ невѣдомое свѣтлое царство...

Какъ-то, выйдя во дворъ рано утромъ, онъ, пораженный, остановился передъ воротами.

И сердце его крѣпко забилось.

За ночь кто-то выкрасилъ ворота зеленою краской.

...исчезло дегтяное пятно...

Однажды пришелъ дьяконъ.

— Ну, прощайте,—заявилъ онъ,—живите, какъ хотите, а я отъ васъ ухожу!

— Какъ? Куда? Когда?

— Получилъ назначеніе. Богатѣйшій приходъ! Однихъ браковъ за годъ двѣсти. А нашъ братъ только браками и живетъ. Настоятелемъ же тамъ о. Любоправдовъ... строгій человѣкъ, приходъ въ рукахъ держитъ. Ужъ тамъ не будутъ расплачиваться пятаками за „утоленіе печалей“! Нѣ-этъ! На все своя такса!

По тусклому лицу дьякона прошла мягкая улыбка.

— Эхъ, о. Геннадій! Все я понимаю... да, вѣдь, дѣти! Всякій человѣкъ по-своему живетъ. Зналъ я одного архирея: тотъ чай только съ солеными огурцами пилъ. Всякому своя линія положена.

Онъ неуклюже растопырилъ руки:

— Забудемъ лихо! Обнимемся...

О. Геннадій мелькомъ взглянулъ на жену.

Та сидѣла выпрямившись, съ тупымъ взглядомъ.

— Когда же въ отъѣздъ, дьяконъ?

— Сегодня въ ночь.

...Вечеромъ пришелъ Александръ.

Какъ-то безшумно проникъ онъ въ залъ, первый разъ съ тѣхъ поръ. Сталъ въ дверяхъ и темный лихорадочный взглядъ золотистыхъ глазъ остановилъ на о. Геннадіи.

— Проститься пришелъ,—сказалъ онъ глухо.

Юлія Львовна не шевелилась, какъ застывшая.

Оба смотрѣли на о. Геннадія.

Чего-то ждали.

Взгляды ихъ пытливо спрашивали и боялись,—боялись молчанія и спрашивали его.

О. Геннадій молча взялъ шляпу и пошелъ изъ комнаты. Но въ дверяхъ пріостановился—и вдругъ протянулъ руку Александру.

Ушелъ.

...Быстро прошелъ мимо во тьмѣ молчащихъ мельницъ, таинственно шевелившихъ лапами. Возбужденно шагалъ по степи.

Всѣ мысли сосредоточилъ на сынѣ.

— Бѣдный, бѣдный... умерла его дѣвушка въ бѣломъ.

Искалъ его мыслью за угрюмыми далями, разговаривалъ съ нимъ и спорилъ, напряженно всматривался въ воющую тьму, словно надѣясь увидать его тѣнь. И въ звукахъ бури чудился ему его голосъ, зовущій на помощь:

— Ко мнѣ! Ко мнѣ!

Буря вздымалась съ земли до тучъ, хохотала и плакала въ глубинѣ неба, тушила мигающія звѣзды и, падая внизъ, шумно ревѣла въ черныхъ лощинахъ.

...ко мнѣ! Ко мнѣ!

Отъ дальнихъ горизонтовъ, изъ ночной мглы, отъ шумящихъ травъ шелъ этотъ крикъ.

Терзалъ его.

. . . . . .

Ночью Юлія Львовна металась въ бреду.

Косматая, горящая, она лепетала что-то запекшимися губами, кусала ихъ до алой крови, крѣпко сжимала бѣлые зубы. Пыталась бѣжать, вскакивая съ постели. Отталкивала о. Геннадія. Смотрѣла въ темноту пустыми, какъ ямы, глазами... что-то видѣла тамъ, исторгавшее крики, точно вопли заблудившейся въ бурныхъ тучахъ чайки. Кто-то, страшно больной, несчастный, бился въ ней, стоналъ въ темныхъ подпольяхъ, молилъ и плакалъ...

О. Геннадій терпѣливо ухаживалъ за нею.

Клалъ на голову ледъ.

Сдерживалъ бурные порывы.

Она смирялась передъ силою его рукъ, стихала и шептала трепещущими губами:

— Але-кса-ндръ...

Липкія слезы обливали ея лицо.

Когда она стихла и лежала обезсиленная, нѣмая, неподвижная, о. Геннадій тихо прошелъ въ кабинетъ, въ надеждѣ отыскать гдѣ-то въ дальнемъ ящикѣ лѣкарство.

Поставилъ на столъ оплывшую свѣчу.

Заглянулъ въ ящикъ, въ другой,—ничего не нашелъ. Задумался, облокотившись на столъ. Вѣтеръ дышалъ въ раскрытое окно, колебалъ пламя свѣчи. Откуда-то сильно пахло цвѣтами.

Вдругъ о. Геннадій вздрогнулъ и выпрямился.

Прямо передъ нимъ на столѣ лежалъ вѣнокъ изъ свѣжихъ полевыхъ цвѣтовъ, дышавшихъ ароматомъ. И по тому, какъ лежалъ вѣнокъ, видно было, что бросилъ его кто-то черезъ окно.

Онъ быстро взялъ его.

На немъ алѣла лента...

Вспыхнулъ.

Понялъ.

Въ страстномъ благодарномъ порывѣ онъ прижалъ къ губамъ пахучіе цвѣты. И вдругъ замѣтилъ письмо, крѣпко перехваченное концомъ ленты.

— Отъ сына!—Все всколыхнулось въ немъ.

Дрожащими руками развязалъ письмо, разорвалъ конвертъ...

— Да, да! Отъ сына!

...и онъ читалъ, жадно читалъ это милое письмо, облокотившись у оплывшей свѣчи. Онъ читалъ это письмо изъ подполья, гдѣ таился сынъ его...

Поднялъ отуманенные глаза.

Кто-то стоялъ у окна.

— Власъ!—вмигъ догадался онъ.

И метнулся къ окну и чему-то крѣпко обрадовался.

— Ты?

— Я, батюшка! Я давно тутъ, въ саду... поджидалъ тебя. Сказать тебѣ надо... тайное! Теперича Егорій твой въ надежномъ мѣстѣ. А зовутъ его Миколаемъ.

— Видѣлъ его?

— Нѣту.

— А письмо... это ты?

— Я. И ежели тебѣ надо будетъ ему письмо... кликни меня.

— Да какъ же ты... передашь?..

— Черезъ товарищей.

Ночь дышала влажнымъ дыханьемъ за спиною Власа. Но отъ лица его исходилъ на о. Геннадія какой-то мягкій и нѣжный свѣтъ...

— Прощай, батюшка,—тихо сказалъ Власъ.

О. Геннадій съ счастливой и радостной улыбкой протянулъ ему руку.

...Сидѣлъ у постели жены, задумавшись, смутно улыбаясь чему-то.

Взглянулъ и увидѣлъ: Юлія Львовна смотрѣла на него темнымъ взглядомъ.

— Очнулась?

Положилъ руку на ея косматую голову и печально улыбнулся ей:

— Юля! Зачѣмъ такъ много скрытаго страданья? Развѣ это нужно?

Юлія смотрѣла, не понимая.

Онъ слегка отвернулся.

— Не надо больше печали!

Помолчалъ и тихо добавилъ:

— Я отпускаю тебя!

Юлія порывисто приподнялась на постели.

— Куда?!

— ...Къ нему.

Она упала лицомъ въ подушку.

— Ты знаешь? Ты знаешь?

Все отчаяннѣе рыдала.

— Ты знаешь...

Подняла къ нему мокрое отъ слезъ лицо.

— Ты гонишь меня?

— Ахъ, не гоню... пойми!..

Она схватила руку его и цѣловала ее.

— Я не уйду отъ тебя... не гони! Я люблю тебя! Тебя одного... слышишь?! Буду у ногъ твоихъ лежать... какъ собака...

— Не унижайся, Юля!

— Нѣтъ!.. Нѣтъ... буду въ глаза тебѣ смотрѣть!.. А то... это не то! Это прошло! Это сильнѣе меня... Я не знаю... Это не то! Я не знаю...

Брала и крѣпко сжимала руки его воспаленными ладонями.

— Вѣдь, это родное... свое!

Обнимала его оголенными руками.

— Это родное... свое!

Опять откидывалась въ отчаяніи.

— Дѣвочкой... я любила смѣхъ... любила смѣхъ... Смѣялась... смѣялась... Это оттого!

— Юля!—сказалъ о. Геннадій,—это забыто.

— Простилъ?—вскричала она. И пытливо насторожилась.

— Простилъ?—настаивала она.

— Мнѣ не въ чемъ тебя прощать, Юля!

Тогда она внезапно забилась передъ нимъ въ припадкѣ безумнаго отчаянія.

— Не прощай, нѣтъ, нѣтъ... прокляни меня! Ганя! Прокляни!!

И поднимая къ нему лицо, въ слезахъ и пятнахъ, напряженно шептала:

— Это было... это было... не разъ!!

Онъ смотрѣлъ на нее... на ея постарѣвшее и опухшее лицо, со слѣдами такъ долго скрытыхъ отъ него стра-

стей и горя, смотрѣлъ и удивлялся, что нѣтъ въ немъ ни ревности, ни злобы... все исчезло. Точно съ далекаго неба смотрѣлъ онъ внизъ на нее, и удивлялся мыслямъ своимъ. Вотъ прошлое передъ нимъ плачетъ и стонетъ. Кто-то въ комъ-то получилъ свободу и первое движеніе его—лучистая слеза... вздохъ по красотѣ, неотысканной въ тайныхъ исканьяхъ по грязнымъ и глухимъ дорогамъ...

...И снова степь приняла его въ пылающія объятья, прижала, какъ мать, къ ароматной груди своей.

И казалось ему,—онъ перешагнулъ черезъ себя прежняго, скорлупу „ветхаго человѣка“ стряхнулъ съ себя.

Что-то дрожало въ немъ... свѣтлое!

Не прощенье... а пониманье.

Великое пониманье жизни!

Все жило, трепетало, искало вокругъ него, стремилось вдаль, вглубь, къ совершенству, къ цѣльности; стонало, грубо сдавленное; гибло, искаженное; проклинало, оскорбленное; инстинктивно мстило за себя—и сквозь мрачныя тѣснины исковерканной жизни лилось свѣтлымъ потокомъ мечты въ царство еще невѣдомой, но властно грядущей Красоты.

Онъ уносился на свѣтлыхъ волнахъ вдаль... вдаль...

И не было времени.

Не было пространства.

Внутри хрустальной слезы уносился онъ по безднамъ міра.

И не былъ онъ больше одинокъ!

Гдѣ-то вблизи него таилось близкое, протягивало къ нему милыя нѣжныя руки братства. Бодрыя улыбки чудились ему... звали смѣлые голоса. И въ груди его разросталось свѣтлое стремленье, жажда—протянуть имъ руки, слиться съ ними въ радостномъ чувствѣ.

Степь шептала ему сказки травъ и цвѣтовъ.

Вѣтеръ нѣжно смѣялся въ лицо ему.

...И гдѣ-то въ вышинѣ клекталъ степной орелъ...

А. ЗОЛОТАРЕВЪ.

ВЪ СТАРОЙ ЛАВРѢ.

Былъ канунъ весенняго Николина дня. Темнѣло. Теплая, ласковая ночь, тихо обнимая своей черной пеленою все, что ни встрѣчалось у нея на пути, неслышно надвигалась изъ-за Днѣпра на Старую Лавру.

Дальнія и ближнія пещеры, сберегавшія въ своихъ темныхъ и сырыхъ подземельяхъ нетлѣнные останки первыхъ устроителей святой обители и созидателей ея славы, уже тонули въ ночномъ сумракѣ среди густой зелени, которая сплошь одѣвала дикіе крутые склоны высокаго лаврскаго берега. А въ потемнѣвшихъ лѣсныхъ зарослях совсѣмъ-совсѣмъ близко, чуть не надъ самыми усыпальницами строгихъ подвижниковъ и дѣвственниковъ, робко и стыдливо звучали первыя соловьиныя пѣсни.

Но вверху, на горѣ, гдѣ стоялъ старинный лаврскій соборъ во имя Успенія Пресвятой Богородицы, и гдѣ къ высокимъ лаврскимъ стѣнамъ вплотную придвинулись крѣпостные валы и мірскія постройки, еще не замерли отголоски дневной жизни и движенія. На высокой колокольнѣ медленно погасали послѣдніе блѣдно-желтоватые отблески долгой и поздней весенней зари, и въ эти мгновенья вся Старая Лавра стояла, озаренная тихимъ, готовымъ померкнуть, отраженнымъ свѣтомъ.

По обширному монастырскому двору толпились или расхаживали цѣлыми вереницами, въ различныхъ направленіяхъ, несчетные богомольцы.

По временамъ въ гулкій шумъ шаговъ по каменнымъ плитамъ, въ тихій шелестъ одеждъ и смутный

осторожный говоръ черезъ открытыя окна собора вливались разрозненные, безсвязные отрывки всенощнаго пѣснопѣнія. Суровый лаврскій напѣвъ, оставляя подъ тяжелыми, загроможденными сейчасъ лѣсами, сводами всю свою дикость и смятеніе, прилеталъ сюда, подъ открытое небо, тихимъ и гармоничнымъ, и въ немъ радостно дрожали вырвавшіеся на свободу нѣжные переливы малорусской народной пѣсни.

Всюду здѣсь чувствовалось предпраздничное благоговѣйное настроеніе. Казалось, вся Старая Лавра жила сейчасъ напряженно особою, чуждою для остальнаго міра, жизнью. Богатая вѣрою давно умершихъ поколѣній, она ревниво берегла въ своихъ стѣнахъ тысячи вѣрующихъ, пришедшихъ почтить память великаго святого, и, обвѣянная молитвенными звуками, встрѣчала надвигавшуюся ночную темноту строгая, высокая, въ своей вѣковой святости недоступная призрачному и мимолетному весеннему очарованію.

Страстная весенняя ночь, безпокойная отъ затаеннаго въ ней нелюдского говора и шума, тихо ползла между тѣмъ снизу наверхъ. Все ближе, все тѣснѣе сжимала она въ своихъ крѣпкихъ объятіяхъ и оба далекіе берега разлившейся рѣки, и цѣпи прибрежныхъ холмовъ горной стороны, строенія и деревья, лаврскія церкви и башни, крѣпостные валы и арсеналы—и все, что такъ рѣзко, такъ непохоже и чуждо было другъ другу еще такъ недавно при ясномъ дневномъ свѣтѣ. Исчезали, сливались со тьмою монастырскія стѣны, а надъ ними и поверхъ ихъ. по-своему, тихо, уже шептались очнувшіяся отъ дневного забытья деревья, протягивая свои развѣсистыя, длинныя вѣтви. Монастырскіе сады, гдѣ въ холѣ и нѣгѣ росли деревья, выходцы далекихъ странъ полуденнаго Востока, когда-то пересаженныя сюда вмѣстѣ съ новою вѣрою, тѣсно сплетались въ ночной тьмѣ съ пышной лѣсною зарослью, искони покрывавшей прибрежные склоны, выступы и кручи.

И если подъ чернымъ покровомъ ночи обезцвѣчивалась веселая, нарядная одежда земли, то на смѣну яркимъ цвѣтамъ и причудливымъ обликамъ распустившихся деревьевъ просыпались яркія, радостныя, такъ же неисчерпаемо-разнообразныя благоуханія и пѣсни... А на потемнѣвшемъ небесномъ сводѣ загоралась, какъ всегда, блестящая, загадочная, еще не понятая никѣмъ на землѣ, картина вѣчности, сотканная изъ безчисленныхъ звѣздъ.

Въ природѣ начиналась своя торжественная, многозвучная всенощная, полная творческаго вдохновенія и восторга.

Вдругъ, въ эту нѣжную восторженную музыку весенней ночи ворвались, брошенные невидимою человѣческою рукою съ высокой лаврской колокольни, громкіе многогласные звуки благовѣста: долгая монастырская служба закончилась. Густая толпа монаховъ и богомольцевъ, расплываясь во всѣ стороны, быстро наполнила собою всѣ дорожки и выходы Лавры. Вѣрующіе шли на ночлегъ, измученные и усталые, но растроганные, умиленные, бережно унося съ собой незабываемое настроеніе сладостнаго забытья, рожденное въ чуткихъ сердцахъ искреннею молитвою въ святомъ мѣстѣ, гдѣ развилась и окрѣпла когда-то новая вѣра ихъ предковъ.

И куда ни шли вѣрующіе, всюду—за ними и впереди нихъ—несся торжественный праздничный благовѣстъ. Гулкіе металлическіе звуки, какъ-будто заботясь о чистотѣ и силѣ молитвеннаго настроенія, безъ жалости вытѣсняли и гнали, далеко прочь отъ лаврскихъ святынь, вкрадчивые голоса страстной, безстыдной весенней ночи. И святая Старая Лавра, словно очнувшись отъ обнявшаго было ее весенняго очарованія,—вся, каждымъ камнемъ своего помоста, всѣми своими могильными плитами и памятниками, сѣдыми стѣнами, башнями и церквами,—зазвучала въ отвѣтъ, гулко отражая, какъ огромный резонаторъ, привычные звуки своихъ коло-

коловъ и посылая ихъ въ теплый и чуткій воздухъ неспящей весенней ночи.

До самаго шумнаго города неслись они, властные и негодующіе, благовѣствуя и призывая къ молитвѣ. Но никто не слышалъ голоса Старой Лавры, тамъ, на новыхъ оживленныхъ улицахъ большого, болѣе стараго, чѣмъ сама Лавра, города, гдѣ горѣло электричество, гдѣ звенѣли трамваи, дребезжали экипажи, и гуляла нарядная, беззаботная толпа людей—и только одинокіе каменные гиганты, стоявшіе на высокихъ холмахъ красавца-города, чуть-слышно отзывались на родственный звонъ.

Зато безъ помѣхи, далеко за разлившійся Днѣпръ, неслись лаврскіе призывы, но и тамъ безслѣдно погасали въ мягкой зелени хвойныхъ лѣсовъ,—уже обезсиленные, уже побѣжденные ласковыми чарами ночи...

Звонъ смолкъ такъ же рѣзко и неожиданно, какъ и начался. И, какъ всегда, послѣ сильнаго шума, наступила чуткая, жадная до звуковъ, растревоженная тишина.

На затихшую Лавру вновь отовсюду неудержимо хлынули странные, неуловимые и обманчивые голоса весенней ночи. Неизвѣстно, какъ и откуда являвшіеся, они мучили своей многозвучностью ненасытное воображеніе людей, ушедшихъ отъ міра. То совсѣмъ ясно, такъ что можно было разобрать слова и напѣвъ, доносилась, должно быть съ Днѣпра, хоровая пѣсня; то звучали обрывки далекой музыки. Порою, совсѣмъ близко, можетъ быть, въ самой Старой Лаврѣ, раздавался заразительный женскій смѣхъ, слышался прерывистый шопотъ... И сильнѣе припадали на ночной молитвѣ святые подвижники, помощи искали у Всемогущаго Бога въ борьбѣ противъ дьявольскихъ козней...

Ночь совсѣмъ опустилась надъ Старою Лаврой. Еще тѣснѣе сомкнулись потемнѣвшіе и обезлюдѣвшіе каменные великаны, разошлись по домамъ ближніе богомольцы и по своимъ келіямъ монахи.

Но долго еще тѣ изъ дальнихъ богомольцевъ, что не успѣли заблаговременно устроиться или, опоздавшись въ дорогѣ, только-что прибывали къ святой Лаврѣ,—долго еще бродили взадъ и впередъ около безмолвной и затихшей Лавры въ поискахъ за удобнымъ для недолгаго и немудраго ночлега пристанищемъ.

Ночная тьма скрыла отъ глазъ многоликій, разнорѣчивый и многоцвѣтный народный потокъ, который, вотъ уже сколько вѣковъ, непрерывно вливался и выливался изъ Старой Лавры. Но зато въ ночной тиши сталъ слышенъ шорохъ и шумъ, размывающій шумъ и плескъ этого народнаго водоворота, образовавшагося на святомъ мѣстѣ, гдѣ расцвѣла когда-то чудесами и подвигами новая побѣдоносная вѣра.

И, казалось, можно было чувствовать, какъ электризуются, сталкиваясь другъ съ другомъ, какъ ускоряютъ и замедляютъ свой бѣгъ, обмѣниваясь своими живыми силами и скоростями, безчисленныя частицы народнаго океана...

На небольшомъ балконѣ высокаго каменнаго зданія лаврской гостинницы, который, вися надъ садомъ, выходилъ къ Днѣпру, сидѣли трое,—дѣвушка и двое юношей. Они вмѣстѣ были захвачены сегодня притягательной силой стариннаго людского водоворота и брошены на мгновенье въ его головокружительную, влекущую глубину.

Оба юноши были студентами духовной академіи—товарищи по курсу и неразлучные друзья. Одинъ изъ нихъ, Платонычъ—прозвище, которое быстро утверждалось за нимъ всюду, гдѣ бы онъ ни появлялся,—былъ какою-то стихійной, безудержной натурой. Ему было тѣсно въ тѣхъ жизненныхъ рамкахъ, куда ставила его судьба, и вся жизнь его была полна смятенія и страсти. Не могъ онъ долго сидѣть на одномъ мѣстѣ; спокойная жизнь ему претила; онъ бѣжалъ отъ полумонастырской, полуказарменной обстановки академиче-

скаго житья и съ безумною щедростью расточалъ свои громадныя физическія силы въ отчаянномъ пьянствѣ или въ самыхъ сказочныхъ ночныхъ похожденіяхъ...

Обычно Платонычъ являлся въ свою „alma mater", главнымъ образомъ, какъ онъ самъ признавался, „стомаха ради" и для ночлега, да и то зачастую ночевалъ гдѣ-то,—а гдѣ, пожалуй, онъ и самъ не всегда смогъ бы разсказать, до того необычна и причудлива была его жизнь.

Академическая инспекція пробовала было бороться съ такимъ страннымъ поведеніемъ Платоныча путемъ всяческихъ отеческихъ убѣжденій, внушеній и угрозъ. Но послѣ напрасныхъ усилій, убѣдившись сама въ полной невозможности передѣлать мятущагося человѣка, махнула на него рукою и ограничилась пониженіемъ отмѣтки за поведеніе. Это поставило Платоныча въ очень выгодное положеніе: ему, не въ примѣръ прочимъ, стало сходить многое, за что на другихъ обрушивались неудовольствіе и гнѣвъ начальства.

Постоянно ищущій новыхъ знакомствъ, новыхъ людей и встрѣчъ, Платонычъ какъ-то не могъ, не умѣлъ,—да и не хотѣлъ,—удерживаться отъ вмѣшательства въ жизнь, которая бѣжала мимо другихъ людей, изрѣдка задѣвая ихъ вниманіе, но не побуждая ихъ къ дѣйствіямъ.

Товарищи скоро узнали и тоже привыкли къ тому, что итти вмѣстѣ съ Платонычемъ даже до ближайшей академической пивной значило непремѣнно очутиться въ какомъ-нибудь непредвидѣнномъ положеніи—или въ гостяхъ у радушныхъ людей съ обильнымъ угощеніемъ, или участникомъ въ уличномъ происшествіи, которыя почему-то удивительно часто встрѣчались на пути Платоныча.

И если его спутники упирались, не хотѣли вмѣшиваться, боясь непріятныхъ осложненій, то Платонычъ съ добродушной улыбкой большого, сильнаго, увѣреннаго въ своей силѣ человѣка говорилъ:

— Это въ васъ человѣческая подлость просыпается. Пойдемте! Со мной не пропадете, а глядишь, можетъ быть, тамъ Платонычъ и пригодится.

И онъ шелъ, увлекая за собою колеблющихся; шелъ, нисколько не заботясь, куда заведетъ его новое встрѣтившееся ему на пути происшествіе.

У Платоныча въ натурѣ какъ будто не было той перегородки, которая стоитъ передъ всѣми людьми, мѣшая имъ сблизиться съ перваго раза. Онъ быстро свыкался съ людьми самыхъ различныхъ жизненныхъ обстановокъ.

— Апостольская у меня натура, — говорилъ онъ не то съ жалобою, не то просто признаваясь въ ясномъ для него свойствѣ его характера, — только нечего мнѣ проповѣдывать, а въ академическаго Бога я, ей-Богу, пробовалъ, но никакъ не могу повѣрить.

Глубоко равнодушный къ тому, что скажутъ и какъ на него посмотрятъ люди, Платонычъ шелъ всюду навстрѣчу, гдѣ была нужна его помощь. Его можно было застать, напримѣръ, за выгрузкой ломовыхъ телѣгъ на крутыхъ приднѣпровскихъ спускахъ, гдѣ онъ возбуждалъ искреннее удовольствіе возчиковъ и своей силою, и своею—какой-то не обидною ни для кого—готовностью помочь: въ его помощи чувствовалась не простая прихоть досужаго человѣка, а что-то шедшее изнутри, чему самъ Платонычъ не въ силахъ былъ сопротивляться.

Эти свойства Платоныча сдѣлали изъ него личность извѣстную для всего населенія прилежащихъ къ духовной академіи кварталовъ; а окрестные ребятишки, которымъ онъ помогалъ всегда съ особой любовью и охотою, разнесли славу „нашего Платоныча“ далеко за предѣлы Подола.

Часто непрошенныя вмѣшательства Платоныча въ чужую жизнь кончались впустую, какъ онъ самъ признавался съ искреннимъ недоумѣніемъ и грустью:

послѣ его заступничества еще сильнѣе болѣли спины, вырученныя имъ изъ бѣды на одинъ разъ.

Случалось и такъ, что самому Платонычу приходилось плохо.

Однажды полиція, относившаяся, положимъ, вполнѣ благодушно къ Платонычу, какъ и онъ къ ней, не выдержала и рѣшила возбудить противъ него дѣло о сопротивленіи властямъ. Дѣло было явно-неправое и плохо подстроенное, но академическое начальство, боясь непріятной огласки, поспѣшило замять его. А инспекторъ академіи, полнолицый монахъ, съ трудомъ скрывая за мягкимъ, стелющимся голосомъ и кротков монашескою улыбкою начальническое раздраженіе, сказалъ Платонычу:

— Я вполнѣ извиняю васъ... Я знаю... вами двигала христіанская любовь и милосердіе. Но послушайте меня — я это говорю вамъ, какъ вашъ старшій братъ,— оставьте, наконецъ, эти свои похожденія: ваша христіанская сантиментальность васъ до добра не доведетъ...

Но Платонычъ не унимался и послѣ монашеской угрозы. Онъ продолжалъ даже, казалось, съ бо́льшей порывистостью и безпокойствомъ свое упорное и страстное искательство.

Порою, уставая отъ своихъ поисковъ, онъ запивалъ и тогда уже жилъ совсѣмъ въ какомъ-то чаду, въ мірѣ своихъ увлеченій и фантазій. Чаще всего періоды запоя бывали съ нимъ послѣ неудачныхъ попытокъ возвратить на потерянную дорогу какую-нибудь „удивительнѣйшую дѣвушку“, которыя вообще въ его жизни играли, какъ онъ самъ признавался, мистическую роль. Тогда Платонычъ долго, безсвязно и тяжело жаловался на свою проклятую натуру, на жизнь, которая портитъ и уничтожаетъ лучшихъ своихъ дѣтей... И былъ только одинъ человѣкъ во всей академіи, который съ захватывающимъ интересомъ слушалъ длин-

ную повѣсть его приключеній и такъ же, какъ онъ, искренно страдалъ отъ неразрѣшимости жизненныхъ загадокъ.

Это и былъ второй академикъ, сидѣвшій въ эту ночь рядомъ съ дѣвушкой, Николай Алексѣевичъ Розовъ; чаще его называли просто—„Юношею“.

Прозвище это далъ ему самъ Платонычъ въ первый же день обоюднаго знакомства. На громадной попойкѣ, устроенной послѣ сдачи вступительныхъ экзаменовъ въ академію, оба они выдѣлились, оказавшись на двухъ противоположныхъ полюсахъ: одинъ пилъ больше всѣхъ, и дольше всѣхъ сохранилъ то, что на особомъ языкѣ академическаго ресторана называлось status quo, другой не пилъ совсѣмъ, и—что страннѣе всего—сумѣлъ до конца не нарушить единства компаніи, ни словомъ, ни жестомъ не выказавъ обиднаго для пьющихъ людей брезгливаго неудовольствія или учтиваго превосходства трезваго человѣка надъ пьяными. У него такъ же естественно и просто выходило то, что онъ ничего не пилъ, какъ у Платоныча страстная, вдохновенная выпивка. И какъ-то сразу всѣ въ нихъ почувствовали внушающую къ себѣ уваженіе силу, нѣчто общее, хотя и проявленное наружу такимъ различнымъ образомъ. А когда, въ концѣ торжества, Платонычъ, неожиданно поднявшись изъ-за стола, медленно сталъ осматривать своими благодушно-улыбавшимися изъ-подъ выцвѣтшихъ бровей глазками пьяную, растерзанную, залитую виномъ комнату, гдѣ на полу, рядомъ съ „воспріемниками“—старыми студентами, лежали безгласныя тѣла только-что возведенныхъ въ академическое достоинство, и вдругъ, сильно пошатнувшись, торжественно, немного театрально, сказалъ:—„Юноша! Ты долженъ меня поддержать,“—то всѣ, кто еще уцѣлѣлъ за столомъ, а прежде всѣхъ самъ Розовъ, поняли, что этотъ призывъ относится именно къ нему.

Съ той поры началась все возраставшая дружба

этихъ людей. Платонычъ иначе и не обращался къ своему другу, какъ „Юноша“. И эта кличка привилась къ Розову: такъ она казалась удачной, вполнѣ примѣнимой къ его нравственному и физическому облику.

Положимъ, тѣ, кто зналъ Розова еще въ семинаріи, распускали сначала упорные, назойливые слухи, что Юноша—далеко не то, чѣмъ онъ кажется; что очень недавно, въ семинаріи, жизнь его текла слишкомъ бурно, разгульно и невоздержно... Соглашались, что съ нимъ случился какой-то переворотъ, но въ объясненіе высказывали догадку, что самолюбивый по характеру Розовъ рѣшилъ сдѣлать себѣ карьеру монашествомъ. Изъ его прошлаго разсказывали даже немало позорныхъ исторій, но эти надоѣдные разсказы о прошломъ Юноши такъ мало соотвѣтствовали тому, что всѣ видѣли въ немъ сейчасъ, что какъ-то не вѣрилось имъ, и мало-по-малу они исчезли. Догадка о монашеской карьерѣ тоже потеряла свой смыслъ послѣ того, какъ Юноша на первыхъ же порахъ проявилъ свое полное безразличіе не только къ академическому начальству, но и къ профессорамъ, явно раздраживъ нѣкоторыхъ изъ нихъ своими особыми взглядами и тѣмъ, что во всѣхъ своихъ занятіяхъ онъ преслѣдовалъ свою особую цѣль, неясную, но явно-далекую тому, о чемъ учила и что защищала академическая наука.

Юноша только первый мѣсяцъ ходилъ на академическія лекціи, не пропуская ни одной. Затѣмъ, очевидно, убѣдившись въ полной безполезности для себя этого занятія, онъ рѣзко и рѣшительно, несмотря на замѣчанія и внушенія со стороны инспекціи, прекратилъ свои посѣщенія.

Взамѣнъ лекцій онъ обложился грудою книгъ и съ рѣдкою настойчивостью и упорствомъ сталъ заниматься. Съ лихорадочной поспѣшностью переходилъ онъ отъ одной книги къ другой, бросаясь изъ одной отрасли знаній въ другую, часто совершенно проти-

положную. Кажется, не было области, въ которую не попытался бы заглянуть Юноша.

На второмъ курсѣ Юноша вдругъ, заручившись содѣйствіемъ знакомыхъ студентовъ и переодѣвшись въ студенческую тужурку, принялся ходить въ университетъ. И тамъ онъ безсистемно, съ тою же странной поспѣшностью, точно онъ боялся пропустить то, что ему было необходимо, какъ сама жизнь, перебѣгалъ съ одной лекціи на другую, проникая даже на практическія занятія медицинскаго и естественнаго факультетовъ.

Около его стола въ камерѣ для занятій постоянно лежали цѣлыя кипы книгъ на древнихъ и новыхъ языкахъ, которые Юноша изучалъ какъ-то попутно, сразу принимаясь за чтеніе интересующихъ его книгъ. И странно было видѣть рядомъ съ житіями святыхъ книги по ботаникѣ и зоологіи, рядомъ съ заплѣсневѣлыми, пожелтѣвшими фоліантами святс-отеческой христіанской письменности — новыя чистыя обложки періодическихъ журналовъ, которые Юноша всегда умѣлъ доставать.

Извѣстно было, что Юноша хорошо зарабатываетъ своими переводами. У него часто брали деньги, и, если онѣ у него были, онъ всегда давалъ, не считая и не требуя возврата. Самъ же онъ тратилъ деньги, какъ казалось, только на покупку и выписку новыхъ книгъ.

Этотъ ненасытный и неудовлетворимый духъ искательства былъ, повидимому, той общей линіей, по которой соприкасались характеры Юноши и Платоныча, и которая заставляла ихъ вести долгіе, преимущественно ночные разговоры, когда одинъ изъ нихъ возвращался въ спящую уже всѣми своими окнами академію послѣ своихъ скитаній, а другой только-что кончалъ свое полуночное сидѣніе за книгами или за своими переводами.

Долго, обнявшись, ходили они по длиннымъ и тем-

нымъ коридорамъ, тускло освѣщеннымъ газовыми рожками, оба далекіе, оба чужіе окружавшему ихъ глубокому сну.

Да и въ физическомъ обликѣ обоихъ друзей, несмотря на явно бросавшееся въ глаза различіе внѣшности, было—несомнѣнно было,—общее, неуловимое, но запечатлѣвшееся и въ томъ, и въ другомъ.

Платонычъ былъ человѣкъ здороваго, можно сказать—богатырскаго тѣлосложенія. Онъ выросъ, обвѣянный просторомъ и ширью сѣверной великорусской природы. Семинарская жизнь, какъ-то странно, не смогла наложить на него своего неизгладимаго отпечатка, и весь онъ былъ могучимъ осколкомъ старинной, не уходившейся еще, не успѣвшей отлиться въ спокойныя формы стихійной жизни.

— Много во мнѣ, Юноша, звѣря сидитъ,—признавался онъ въ своихъ задушевныхъ бесѣдахъ.

Юноша—почти одинаковаго роста съ Платонычемъ, но тонкій, слабогрудый, съ небольшой русой бородкой и длинными кудрявыми волосами, во всемъ своемъ видѣ,—въ прямомъ вопросительномъ взглядѣ усталыхъ, прикрытыхъ очками глазъ, въ мягкихъ, обдуманныхъ движеніяхъ, въ тихомъ грудномъ голосѣ—хранилъ слѣды укрощенной и побѣжденной или надорвавшейся силы.

Юноша не помнилъ родительской ласки. Онъ чуть ли не всю свою жизнь прожилъ въ стѣнахъ учебныхъ заведеній и, можетъ-быть, по наслѣдству отъ умершихъ рано отца и матери, можетъ-быть, отъ душныхъ, безрадостныхъ казенныхъ интернатовъ—получилъ безостановочно-разрушавшую его организмъ чахотку.

И какъ избытокъ здоровья не въ силахъ былъ изгнать изъ массивной фигуры Платоныча его душевнаго безпокойства, постоянно прорывавшагося наружу,—мало того, какъ будто даже давалъ этому безпокойству удовлетворительное объясненіе, какъ слѣдствію неосознанной и не нашедшей себѣ примѣненія громадной

физической силы,—такъ привыкшій къ долгой и упорной борьбѣ съ болѣзнью организмъ Юноши далеко схоронилъ въ себѣ всѣ признаки напряженія и страсти, оставивъ на лицѣ ясное, спокойное настроеніе. Это кроткое спокойствіе рождало къ Юношѣ чувство неизъяснимой симпатіи, переходившей въ горячую привязанность у тѣхъ изъ знавшихъ Юношу, кто хотя разъ испыталъ на себѣ всю силу затаившейся въ немъ молодой ласки и нѣжности.

За послѣднее время, должно быть, болѣзнь стала сказываться у Юноши все сильнѣе и сильнѣе, и вмѣстѣ съ тѣмъ,—Платонычъ ясно замѣтилъ это,—въ Юношѣ съ небывалою силою, хотя только на короткія мгновенья, вспыхивала не утоленная жажда жизни; вспыхивала—и еще быстрѣе, неожиданнѣе погасала, словно лишенная внутренней силы и огня. Еще страннѣе казалось Платонычу, что онъ самъ впервые подъ страшно знакомой внѣшней физической и умственной оболочкой своего друга сталъ видѣть что-то новое, почему-то ускользавшее раньше отъ его вниманія, а теперь вдругъ вставшее передъ сознаніемъ Платоныча неразрѣшимой и настоятельной загадкой, какъ и все вокругъ.

Платонычъ теперь относился къ Юношѣ съ бо́льшею, чѣмъ когда-либо, трогательною нѣжностью. Онъ даже изрѣдка называлъ Юношу его ласкательнымъ именемъ, причемъ краткое слово „Коля“ звучало у Платоныча непривычно и цѣломудренно-ласково. И тревожное, торопящееся безпокойство, съ какимъ Платонычъ вмѣшивался въ жизнь, замѣтною струею влилось въ это нѣжное, заботливое и любящее отношеніе къ Юношѣ, точно раздвоились уже ихъ жизненныя дороги, и точно немного издали уже смотрѣлъ Платонычъ на готоваго остановиться и отстающаго друга.

Въ этотъ годъ, когда только-что повѣяло весеннимъ тепломъ, они оба, одинаково равнодушные къ приближавшейся экзаменаціонной горячкѣ, стали вмѣстѣ исче-

зать изъ стѣнъ Братскаго монастыря, гдѣ стояла опостылѣвшая имъ обоимъ академія.

А товарищамъ, любившимъ Юношу и знавшимъ объ его неизлѣчимой болѣзни, тоскливо было видѣть груды забытыхъ, оставленныхъ книгъ, которыя, какъ осколки разбитой надгробной плиты, въ безпорядкѣ валялись около опустѣвшаго стола Юноши.

Платонычъ не могъ жить, не качаясь, какъ маятникъ, между какими-нибудь жизненными противоположностями. Всею душою ненавидя обыденщину, онъ всегда искалъ причудливой обстановки. И само собою случалось такъ, что друзья проводили свое время то въ Старой Лаврѣ и въ близлежащихъ монастыряхъ—Выдыбецкомъ, что стоялъ на берегу противъ мѣста, гдѣ, по преданію, старый Перунъ затонулъ,—и въ Новомъ монастырѣ у прославившагося своею праведною жизнію старца Іоны,—гдѣ всюду у Платоныча было избранное знакомство среди монаховъ, такихъ же, какъ онъ, мятущихся и томящихся великимъ томленіемъ духа; то въ домахъ разврата, среди женщинъ и дѣвушекъ, брошенныхъ безжалостной рукою жизни въ цѣпкія сѣти рабства и порока. И здѣсь, въ этихъ домахъ, тоже обнесенныхъ, какъ высокими стѣнами, людскимъ презрѣніемъ, въ странно-убранныхъ комнатахъ, откуда и жизнь, и люди казались совсѣмъ-совсѣмъ иными, чѣмъ изъ чистыхъ и уютныхъ монашескихъ келій,—Платонычъ также имѣлъ избранное знакомство и былъ желаннымъ гостемъ.

Появленіе Платоныча въ сопровожденіи Юноши вызывало на первыхъ порахъ искреннюю буйную радость, и скоро между Юношею и его новыми знакомыми устанавливалась глубокая привязанность, хотя онъ и не искалъ ея.

Юноша, какъ всегда, рѣдко и очень мало говорилъ. Онъ никогда не разспрашивалъ дѣвушекъ ни объ ихъ прошлой, ни объ ихъ настоящей жизни. Онъ ничѣмъ

не проявлялъ какого-либо особаго интереса или жалостливаго участія къ ихъ судьбѣ, какъ будто не было въ немъ ни страстнаго возмущенія, ни любящаго негодованія.

Въ противоположность Платонычу, Юноша не стремился ничего поправить, ничего измѣнить. Чужой и далекій, онъ безъ малѣйшаго смущенія и возбужденія видѣлъ неприличныя, безстыдныя движенія и слышалъ тяжелыя, порочныя слова: казалось, глубоко и навсегда въ душѣ его была схоронена неискоренимая, раньше смерти родившаяся страсть къ женщинѣ.

И одинаково нѣжно, одинаково дружелюбно относился Юноша ко всѣмъ, какъ будто жилъ онъ очень высоко и далеко отъ людей, и не видно уже было ему всей громадной разницы между болѣе добрыми и болѣе злыми; между болѣе чистыми и болѣе порочными, какъ будто всѣ люди были одинаковы.

— Зачѣмъ вы пришли къ намъ, вы—такой монахъ, такой строгій?—спросила какъ-то Юношу одна изъ дѣвушекъ, когда обидныя насмѣшливыя слова раздались на его счетъ. Она любила молчаливаго, необычнаго посѣтителя, и ей хотѣлось защитить его отъ грубой насмѣшки.

— Я пришелъ къ вамъ прощаться съ жизнію,— отвѣтилъ Юноша, какъ всегда съ тихой улыбкой и, должно быть, въ шутку.—Развѣ вы не знаете: скоро завянетъ человѣческая жизнь отъ избытка сознанія? Развѣ вы не знаете, что однѣ уже вы остались, невинныя жрицы и жертвы, на алтарѣ человѣческой жизни, которая умираетъ и скоро умретъ отъ избытка сознанія?

Непонятенъ былъ отвѣтъ. „Словно аракулъ какой сказалъ“,—смѣялись дѣвицы. Но въ пѣвучихъ словахъ отвѣта была одна правда—яспая и доступная спрашивающимъ,—о самомъ Юношѣ, который пришелъ прощаться съ жизнію.

Какъ закатные солнечные лучи, съ трудомъ про-

низывающіе душную, тяжелую толщу земныхъ испареній, усталымъ, холодѣющимъ взглядомъ смотрѣлъ Юноша на то, что медленно плыло мимо его сознанія, не задѣвая въ немъ воли, не шевеля его чувства.

Но вотъ однажды, не такъ давно, съ Юношею произошла сцена, которая поразила Платоныча; ему показалось, что онъ какъ будто поджидалъ ея, и въ то же время она, точно клиномъ, врѣзалась въ его сознаніе и выбила оттуда забытые было разсказы о прошломъ Юноши.

Какъ-то въ одномъ изъ кабачковъ, куда самъ Платонычъ затащилъ Юношу, чтобы показать ему „ей-Богу, чудеснѣйшую личность“,—Юноша вдругъ и неожиданно не только для Платоныча, но, повидимому, и для самого себя вышелъ изъ своего созерцательнаго состоянія.

Вся нѣжность, весь избытокъ юной, неиспользованной ласки, которыя все время чувствовались въ Юношѣ, точно весенній потокъ, прорвались съ неудержимою силою наружу.

Платонычъ съ удивленіемъ вспоминалъ впослѣдствіи, что самъ онъ, Платонычъ, незамѣтно для себя, уступилъ на этотъ разъ свою постоянную руководящую роль въ прогулкахъ Юношѣ и самъ совершенно не помнилъ, какъ всѣ они втроемъ очутились почти совсѣмъ на другомъ концѣ города, на Днѣпрѣ, въ лодкѣ.

А дальше, совсѣмъ уже какъ во снѣ, отрывисто, безсвязно, съ поразительною яркостью въ ненужныхъ мелочахъ, помнилъ Платонычъ эту ночную прогулку въ лодкѣ.

Плывутъ мимо мягкія красивыя очертанія высокаго городского берега. Влюбленными глазами смотритъ Платонычъ на дорогой, болѣе близкій, чѣмъ родина, городъ своихъ скитаній, угадывая за чудно-измѣнившейся, точно вывернутой наизнанку, ночною картиною берега знакомыя городскія строенія и сады... А рядомъ въ его безпокойномъ сознаніи бѣжитъ безсвязною

вереницею цѣлая стая воспоминаній... Тянетъ свѣжимъ запахомъ полей и лѣсовъ съ луговой стороны Днѣпра... Весело звучитъ рѣзвая полая вода, подмывая рыхлые берега; должно быть, идетъ на убыль... Дрожатъ надъ водою огни затопленныхъ приднѣпровскихъ слободокъ, и стоитъ совсѣмъ низко надъ оживающей весенней землею изогнутый на ущербѣ мѣсяцъ...

Быстро несется утлая лодчонка, плавно покачиваясь подъ размашистыми, привычными къ греблѣ, сильными движеніями Платоныча... Крѣпче и сильнѣе прижимается къ Юношѣ молодая, веселая дѣвушка.

Пѣсенъ проситъ у Юноши дѣвушка... Начинаетъ пѣть Юноша. Странно—зачѣмъ это?—поетъ весною объ осенней ночи... почему это?—поетъ такъ тоскливо, что Платонычу и всѣмъ имъ троимъ въ лодкѣ становится одиноко и холодно, и хочется плакать.

Ночка темная. Ночь осенняя...
Ни одной-то нѣтъ въ небѣ звѣздочки...

—поетъ Юноша, и кажется Платонычу, что съ каждымъ звукомъ его голоса, съ каждымъ словомъ его пѣсни оживаетъ все, что подслушано было у природы и схоронено въ словахъ и напѣвѣ старинной пѣсни: растетъ далеко, на много верстъ кругомъ, дремучій сѣверный лѣсъ; шумитъ непогодливая, безпріютная осень; стучатъ по иззябшимъ мокрымъ листьямъ частыя капли дождя... И плачетъ въ долгую, темную, беззвѣздную, одѣтую, какъ саваномъ, тучами ночь, одинокій, покинутый человѣкъ:

...Лишь одинъ-то есть милъ-сердечный другъ,
Да и тотъ со мной не въ ладу живетъ...

Быстро, порывисто обнимаетъ Юношу дѣвушка. Страстно и долго цѣлуетъ его, куда ни попало,—въ лицо, въ губы, въ волосы,—безъ счету, безъ мѣры...

А онъ, въ забытьи, безсильный, неспособный вырваться изъ крѣпкихъ дѣвическихъ объятій, говоритъ чудныя, ласковыя слова:

— Не троньте меня. Не надо. Я боюсь любви, боюсь жизни. Я скоро уйду изъ жизни, уйду навсегда.

А она повторяетъ за нимъ такимъ же умоляющимъ голосомъ:

— Ты—мой. Я никому не отдамъ тебя. Ты такой же, какъ я—обреченный. И я никому не отдамъ тебя ни за что. Ты—мой.

И цѣлуетъ его безъ конца...

И точно проснулся Платонычъ на мгновеніе, затѣмъ, чтобы освободить задыхавшагося Юношу, и словно преступленіе какое сдѣлалъ—все кругомъ вдругъ притихло и замерло: не было мѣсяца, перестала шумѣть полая вода, остановились прибрежныя горы, потухли далекіе огни въ слободкѣ... Только слышно было, какъ тихо-тихо плакала одинокая—одна во всемъ мірѣ—женщина въ лодкѣ, да рядомъ съ нею, наклонившись и приникнувъ къ ея распустившимся волосамъ, сидѣлъ Юноша, недвижимый и въ забытьи...

Платонычъ совсѣмъ больнымъ привелъ своего друга въ академію. На утро онъ, раскаиваясь въ происшедшемъ, твердо рѣшилъ прекратить на время совмѣстныя путешествія. Онъ даже—положимъ, самъ совершенно не вѣря своимъ словамъ—началъ говорить Юношѣ о необходимости беречься, лѣчиться. Но, когда Юноша съ изумленіемъ поглядѣлъ на него изъ-подъ очковъ своими ясными спрашивающими глазами и, тихо улыбаясь, сказалъ:—развѣ-жъ ты не видѣлъ, что я самъ оттолкнулъ отъ себя жизнь? развѣ не вмѣстѣ съ тобою оскорбили мы вчера жаждавшаго жизни человѣка?—Платонычъ смолкъ, и—снова началась ихъ прежняя жизнь.

И въ эту ночь въ Старой Лаврѣ тоже съ дѣвушкой сидѣли они оба. На этотъ разъ дѣвушка была, по всему видно, не здѣшняя, только-что прибывшая сюда откуда-то издалека. Настроеніе опасной дороги наложило свою яркую печать на ея смѣлое, рѣшительное лицо, на ея увѣренныя, легкія движенія, даже на ея одежду, за

грубыми и рѣзкими линіями которой чувствовалось что-то скрытое, не нашедшее себѣ выраженія и раздражающее любопытство.

Пріятели встрѣтили ее совершенно случайно въ Царскомъ саду, въ тотъ самый моментъ, когда Платонычъ уже изложилъ Юношѣ планъ путешествія на сегодняшній вечеръ.

Она шла впереди ровнымъ, неторопливымъ шагомъ, поднимаясь по широкой, прилегавшей къ улицѣ, аллеѣ сада, и осматриваясь кругомъ съ жаднымъ любопытствомъ новаго человѣка.

Платонычъ очень скоро ее замѣтилъ и сталъ наблюдать. Когда они поровнялись съ нею, дѣвушка, какъ будто она поджидала ихъ, обернулась и, пристально поглядѣвъ, звучнымъ голосомъ, но, какъ имъ обоимъ показалось, съ затаенной усмѣшкой, спросила:

— Скажите, пожалуйста, далеко отсюда до Лавры?.. Мнѣ кажется, вы должны хорошо знать туда дорогу.

Платонычъ длинно и пространно началъ объяснять незнакомкѣ дорогу; Юноша, не останавливаясь, прошелъ дальше. Черезъ нѣсколько мгновеній его догналъ Платонычъ, уже весь трепетавшій и заполненный новою встрѣчей.

— Симпатичнѣйшая личность, братъ! Должно быть, курсиха, что ли. Прямо въ точку бьетъ. Прозорливица, да и только! Вы что же, говоритъ, какимъ богамъ пошли молиться? Вѣдь ваша-то академія, сказывали мнѣ, внизу стоитъ... Ей-Богу, рѣдкостная дѣвица...—И вдругъ неожиданно закончилъ:—пойдемъ, братъ, и мы напрямѣйшимъ путемъ въ Лавру. Ну ихъ ко всѣмъ чертямъ!... Пора Платонычу и свои старые грѣхи замаливать.

А незнакомка усѣлась между тѣмъ на одну изъ скамеекъ сада. По предложенію Платоныча, сѣли и друзья, но уже не сидѣлось Платонычу.

Скоро они шли мимо дѣвушки, и Платонычъ тономъ

давнишняго знакомаго, добродушно улыбаясь и густо ударяя на каждомъ словѣ, говорилъ:

— Что же вы, уважаемая, въ нашу Лавру-то, никакъ, раздумали? Сегодня тамъ народищу тьма будетъ...

— Да, раздумала,—просто отвѣтила та. — Поздно ужъ. Да и нечего мнѣ тамъ дѣлать. Чего я тамъ не видала? Юродивыхъ, что ли? такъ ихъ вездѣ много, хоть отбавляй...—Послѣднія слова дѣвушка произнесла грубымъ, рѣзкимъ, какъ будто не своимъ голосомъ.

— А что, васъ это сушитъ? — добавила она послѣ короткой минуты неловкаго молчанія и вдругъ, уловивъ что-то очень для себя смѣшное въ лицѣ Платоныча, разсмѣялась звонкимъ, веселымъ, почти дѣтскимъ смѣхомъ.

Платонычъ въ свою очередь разсмѣялся и, весь сіяя отъ радостнаго возбужденія, скорѣе крикнулъ, чѣмъ сказалъ:

— Да вы, ей-Богу, милѣйшій человѣкъ: я такъ и зналъ. Мы съ вами очень славно проведемъ время. И нисколько не поздно. Пойдемте! Съ Платонычемъ никогда и нигдѣ не пропадете.

И Платонычъ, болѣе всего самъ увлекаясь, сталъ рисовать заманчивыя картины посѣщенія Лавры и ея окрестностей съ такимъ, какъ онъ, бывалымъ и знающимъ человѣкомъ.

Дѣвушка сначала слушала быструю, расплывавшуюся въ постоянныхъ отклоненіяхъ въ сторону, рѣчь Платоныча, затѣмъ вдругъ снова звонко и весело разсмѣялась:

— Да вы меня, должно быть, за старушку-богомолку приняли, что хотите заразъ всѣми своими монастырями угостить? Съ меня будетъ и одной Лавры, да и то не больно усердствуйте, а то сбѣгу: я къ святости не привыкла, да и времени у меня нѣтъ свободнаго по святымъ мѣстамъ ходить.

Съ этими словами, все еще заливаясь веселымъ

смѣхомъ, дѣвушка встала со скамейки и присоединилась къ пріятелямъ.

— Васъ какъ зовутъ, святоша?—обратилась она къ Юношѣ, когда они всѣ втроемъ двинулись въ путь.

Платонычъ сдержалъ свое слово: всю дорогу до Лавры онъ оживлялъ каждый уголокъ города своими неистощимыми разсказами изъ давно прошедшей, зачастую легендарной исторіи города, которые у него перемѣшивались съ только-что происшедшими событіями изъ жизни теперешнихъ людей, нерѣдко изъ своихъ собственныхъ скитаній и встрѣчъ.

Платонычъ поразительно хорошо зналъ городъ и любилъ его глубокою, ревнивою любовью. Онъ, во что бы то ни стало, хотѣлъ все показать своей новой знакомой, хотѣлъ внушить ей свою любовь, надъ которой она посмѣивалась.

Изъ-за того, стоитъ ли заходить въ Никольскій монастырь, у нихъ съ дѣвушкой возникъ крупный споръ. Но Платонычъ настоялъ на своемъ, да и Юноша заступился за него.

— Недалеко отсюда есть любимое мѣсто Платоныча. Нужно Платоныча уважить,—сказалъ онъ своимъ тихимъ, пѣвучимъ голосомъ дѣвушкѣ и чуть-чуть дотронулся кончиками своихъ тонкихъ пальцевъ до ея руки.

Любимое мѣсто Платоныча было за Никольскимъ монастыремъ, на обрывѣ, какъ разъ надъ самою Аскольдовою могилою. Славно здѣсь такъ было, хорошо. Море было кругомъ, безбрежное для человѣческихъ глазъ море исторіи; и отовсюду, куда ни падалъ взоръ, неслись его баюкающія неисчислимыя волны: отъ стараго города съ его церквами, нависшими надъ обрывами, отъ наддѣпровскихъ урочищъ, отъ далекаго Заднѣпровья.

Солнце склонялось къ западу. И, должно быть, его косые вечерніе лучи, которые падали какъ-то непривычно, совсѣмъ сзади, или обновленная весенняя обстановка, щедро, безъ остатка насыщавшая всѣ чув-

ства, сообщали издавни знакомой пріятелямъ картинѣ новый, неизвѣданный оттѣнокъ.

Вдали, подъ лучами солнца, блестѣлъ широко разлившійся Днѣпръ. Всюду за нимъ неизмѣримо-далеко разстилалось Заднѣпровье, и все время казалось, что чѣмъ ниже опускается солнце, тѣмъ шире и безпредѣльнѣе становится, точно раздвигается, безконечная равнина. А сзади отъ многочисленныхъ церквей города, то здѣсь, то тамъ, иной разъ вмѣстѣ, иной разъ съ перерывами, поднимался торжественный благовѣстъ, и похоже было на то, что не люди звонятъ, а сами между собой переговариваются уцѣлѣвшіе отъ старины вѣщіе каменные гиганты въ этотъ—всегда печальный, всегда тоскливый—часъ, когда хочетъ заходить солнце.

Можетъ-быть, случайную спутницу еще сильнѣе поразила эта совсѣмъ новая для нея картина и разбудила въ ней свои воспоминанія, свои чувства; можетъ быть, она заразилась настроеніемъ Платоныча, и въ чудной рамѣ залитаго вечернимъ свѣтомъ Заднѣпровья и стараго города ей почудились яркія картины былого, которыя, торопясь и разбрасываясь, рисовалъ сейчасъ Платонычъ необычнымъ для него сжатымъ и выразительнымъ языкомъ лѣтописей.

И трудно было-бъ догадаться въ эту минуту,—что изъ разсказовъ Платоныча было дѣвушкѣ больше всего по душѣ, что ярче рисовалось въ ея воображеніи: нашествіе ли дикихъ кочевниковъ, которые, какъ волны океана, въ продолженіе цѣлыхъ вѣковъ съ шумомъ и ревомъ катились по безбрежной степи, бились и разбивались здѣсь о днѣпровскія высоты; или видѣла она Днѣпръ, весь покрытый ладьями, и слышала ликующіе крики бойцовъ, отважно отправлявшихся на далекій Царьградъ... и что родило бы въ ея душѣ сейчасъ болѣе близкій, болѣе родственный отзвукъ: веселыя пѣсни буйныхъ языческихъ игрищъ на крутыхъ горахъ, или тихіе молитвенные гимны литургіи вѣрныхъ въ мрачныхъ над-

днѣпровскихъ урочищахъ, когда-то звучавшіе бокъ-о-бокъ и одинаково угасшіе теперь,—трудно было бы догадаться.

Только смягчилась какъ-то веселая и бойкая дѣвушка,—замерла, затихла и на мгновенье стала совсѣмъ-совсѣмъ другая, стала похожа на ребенка, который слушаетъ, затаивъ дыханье, страшную сказку.

Но вотъ дѣвушка опять вся встрепенулась. Снова раздался ея звонкій смѣхъ и веселый голосъ, только уже не казались ея насмѣшки такими обидными: ближе стала она своимъ спутникамъ, сблизились они въ эти тихія минуты.

— Странно это,—обратилась она къ Платонычу:— вы какой-то ископаемый, метафизикъ, во всякую нечисть вѣрите; жизнь, кажется, свою прожигаете самымъ безтолковымъ образомъ, но я, пожалуй, рада, что съ вами встрѣтилась. Отвыкла я отъ такихъ людей, которые въ сказки прошлаго вѣрятъ. И давно я такъ не смѣялась, какъ сегодня: съ вами легко... Дѣтскаго, что ли, въ васъ много. Такой вы большой да длинный, а у васъ все чудеса на каждомъ шагу, всюду разныя смѣшныя несуразности. Чуть не за каждымъ кустомъ бука сидитъ, и всѣ люди какъ-то на людей не похожи—какіе-то все оборотни.

Смѣялась дѣвушка, смѣялся Платонычъ, молча, какъ всегда, сидѣлъ Юноша. И тихо было внизу, гдѣ, утопая въ ярко-зеленой сказочной листвѣ, стояла Аскольдова могила, навѣвая грустное раздумье.

— А городъ свой вы совсѣмъ по-дѣтски любите, Платонычъ, — вдругъ своимъ новымъ раздумчивымъ голосомъ сказала дѣвушка.— Знаете, я когда-то свою мать такъ любила. Сказкою казалось мнѣ мое дѣтство, а мать моя—волшебницей, которая спасала и меня, и всѣхъ, кто былъ съ нами... Любила я ее въ ту пору, и чѣмъ дальше въ глубину дѣтства, тѣмъ нѣжнѣе... Потомъ я выросла, узнала, что многое было не такъ...

Иного и вовсе не было... Тяжело мнѣ стало, не выдержала... ушла я отъ своей матери.

Дѣвушка на мгновенье остановилась и внимательно поглядѣла на Платоныча.

— Откуда у васъ такая любовь? Для васъ это чужой городъ: вы сѣверянинъ,—какъ будто просто, невзначай были сказаны послѣднія слова, но страстная жажда прозвучала въ нихъ, страстная жажда глубже заглянуть въ большого человѣка съ нетронутой дѣтской любовью.

— Золотыя ваши слова, милѣйшая прозорливица; сѣверянинъ я, это вѣрно; настоящій сѣверянинъ,— быстро заговорилъ Платонычъ, и было видно, что онъ радъ вопросу, что онъ радъ случаю излить все, что накопилось страннаго и непонятнаго ему самому въ его жизни.

— Родился въ дремучемъ лѣсу, среди озеръ и медвѣдей, а только и то правда, что баюкали меня пѣснями и сказками объ этомъ дивномъ легендарнѣйшемъ городѣ. Да только все это какъ-то тонуло подъ сознаніемъ, не трогало меня, пока я не попалъ учиться въ семинарію, въ нашъ губернскій городъ, тоже сказочный, былинный городъ,—знаете, въ тотъ, откуда Васька Буслаевъ вышелъ, что ни въ сонъ, ни въ чохъ не вѣрилъ и въ самой Іордань-рѣкѣ выкупался голымъ тѣломъ, а не въ рубашечкѣ... Жутко у насъ тамъ: взглянешь на городъ—словно покойникъ лежитъ. Высокія церкви и башни, какъ погребальныя свѣчи, надъ нимъ горятъ, ей-Богу. Тамъ я, знаете, впервые и свою бездоннѣйшую тоску почувствовалъ, тоску по не удавшейся исторіи, тоску по заживо погребеннымъ историческимъ возможностямъ; тамъ я и пить, должно быть, отъ этой самой тоски началъ. Только не отъ кустовъ, за которыми спрятались буки, дорогая моя, не отъ кустовъ, а отъ поля, отъ ровнаго поля страхъ мой и тоска эта у меня началась. Есть у насъ тамъ поле—

кровью все залито, далекое и пустынное—подъ самымъ городомъ. На него городъ нашъ смотритъ и молчитъ, и оно тоже молчитъ и тоже смотритъ,—Платонычъ туда плакать уходилъ. Сижу, бывало, цѣлыми часами—молчитъ городъ, молчитъ поле—и заливаетъ меня такая тощища, точно я всѣ невыплаканныя, всѣ затаенныя слезы прошлаго въ себя впитываю. Непонятной кажется человѣческая жизнь, и одна мысль, бывало, мечется у меня въ головѣ,—куда исчезла буйная вольница, и зачѣмъ такъ тихо, какъ въ могилѣ, зачѣмъ такъ страшно стало на бѣломъ свѣтѣ?.. Вы, можетъ-быть, не вѣрите, а я плакалъ безутѣшно, какъ малый ребенокъ, а потомъ шелъ, пилъ до потери сознанія и буйствовалъ. Такъ и говорили про меня: „вонъ, Платонычъ по Васькѣ Буслаевѣ заскучалъ: поминки справляетъ"...

— Вотъ, тогда-то, знаете, и вспомнился и всталъ предо мною спасительнымъ призывомъ далекій южный городъ, городъ, который навѣвалъ мнѣ первыя дѣтскія грёзы. Въ сказочной дымкѣ всталъ онъ предо мною, краснымъ солнышкомъ, городъ богатырскаго веселья и удали, городъ подвижниковъ и мучениковъ новой вѣры. И я издали всею душою полюбилъ его, полюбилъ за то, что не похожъ онъ былъ на другіе города; за то, что, какъ казалось мнѣ, не было въ немъ корысти этой самой городской; за то, что пилъ и гулялъ онъ много, а потомъ вѣрою мучился, вѣры искалъ, изъ-за вѣры боролся... И рѣшилъ я, во что бы то ни стало, сюда попасть, ибо непреоборимѣйшая увѣренность родилась во мнѣ, что только здѣсь, и нигдѣ въ другомъ мѣстѣ, тоску я свою навсегда схороню. Даже подлѣйшую вещь Платонычъ устроилъ, чтобы сюда попасть. Всѣмъ я въ ней каялся, и вамъ покаюсь, уважаемая... Терпѣть не могла меня семинарская инспекція, такъ я, чтобъ поведеніе свое напослѣдокъ загладить, къ ректору явился и сказалъ ему и, замѣтьте, самымъ искреннѣйшимъ образомъ сказалъ, что мнѣ моя раз-

гульная жизнь опротивѣла, что хочу я ѣхать въ академію, именно сюда, въ городъ древляго русскаго православія, и здѣсь въ монахи постричься. Вотъ!.. Сказалъ я такія слова, а „дѣдушка“,—какъ звали мы ректора,—страшно обрадовался, повѣрилъ мнѣ сразу. Славнѣющая душа была у старика, и любилъ онъ меня крѣпко. Если бы не онъ, не одинъ бы разъ меня изъ семинаріи выкинули. Не знаю за что, а меня старики да дѣвицы—всѣ любятъ, ей-Богу. И вы полюбите меня, уважаемая, ужъ я знаю, хоть и смѣетесь сейчасъ надъ Платонычемъ... Обнялъ меня дѣдушка, поцѣловалъ три раза, самъ весь дрожитъ отъ радости, а лицо этакое вдохновеннѣйшее стало.—Зѣло великій подвигъ ждетъ тебя, рабъ Божій Александръ,—говоритъ, а самъ чуть не плачетъ.—Смятенная душа, радужная, какъ бурное море, душа у тебя, а сердце чистое, сердце горячее... Людей, говоритъ, ты любишь безъ разбору, любишь со всячинкой и жизни своей для нихъ не пожалѣешь. Такіе люди, какъ ты, на большое дѣло Господомъ Богомъ въ нашъ міръ посылаются. Только оставь, оставь дерзновеніе свое передъ діаволомъ, не устремляйся зря самовольно, не устремляйся безъ зова Господня и жди откровенія...—И многое онъ мнѣ въ такомъ же духѣ говорилъ. Славный старикъ, кротчайшая душа! Не иначе, какъ черезъ него, меня и въ академію сюда такъ легко приняли: написалъ „дѣдушка“ о моемъ чистосердечнѣйшемъ покаяніи... А, пожалуй, не совсѣмъ обманывалъ я тогда старика: была махонькая правда въ моихъ словахъ, изгибъ я чувствовалъ въ своей жизни, и хотѣлось мнѣ совсѣмъ по-новому зажить, да вотъ не вышло, ей-Богу, не вышло.

И Платонычъ улыбнулся своей недоумѣвающей дѣтской улыбкою.

Сзади послышались размѣренные, частые шаги и сдержанный людской говоръ. Дѣвушка, а за нею и Платонычъ оглянулись. По длинному выступу обрыва

шла гуськомъ цѣлая вереница богомольцевъ—мужчинъ и женщинъ,—съ котомками за плечами и большими дорожными палками въ рукахъ. Они остановились невдалекѣ отъ скамейки, выстроились въ рядъ и замерли. Выраженіе тихаго, умиленнаго восторга появилось на грубыхъ, загорѣлыхъ лицахъ усталыхъ странниковъ. Послышались тяжелые вздохи и одиночныя радостныя восклицанія.

Радостное чувство, охватившее усталыхъ, издалека пришедшихъ людей на его любимомъ мѣстѣ мгновенно передалось Платонычу и въ свою очередь усилило его настроеніе: еще вдохновеннѣе и свободнѣе полилась его рѣчь:

— Помню, даже пить, родная моя, переставъ, право. А по пріѣздѣ сюда цѣлые дни именинникомъ ходилъ и отъ большущей своей радости былъ не лучше пьянаго. Только какъ-то осеннимъ вечеромъ — еще экзамены не закончились—и забрелъ я, знаете ли, ненарокомъ,—вотъ, должно быть, такъ же, какъ и эти богомольцы,—на это самое мѣсто, гдѣ мы теперь съ вами сидимъ.

—Вечеръ былъ, помню, тусклый, непривѣтливый, съ лицомъ умирающаго ребенка. Какъ взглянулъ я отсюда на Заднѣпровье... да... точно ожгло меня всего, и все мое праздничное, именинное настроеніе въ одну секунду сгорѣло. Смотрю и глазамъ своимъ не вѣрю: тамъ, вдали, наше новгородское поле притаилось и на меня изъ-за Днѣпра смотритъ,—пустынное и молчаливое, и городъ сзади тоже молчитъ... Не вынесъ я, дорогая, этого нѣмого взгляда; не вынесъ этого молчанія; куда силища моя дьявольская дѣлась,—такъ и сѣлъ вотъ тутъ, на откосѣ, да и замеръ... Сижу, а около меня самое настоящее колдовство началось. Вамъ опять смѣшно, дерзновеннѣйшая. Вы, конечно, въ чародѣйство не вѣрите, и я тоже, а вотъ въ тотъ часъ повѣрилъ, не могъ не повѣрить, потому какъ на моихъ глазахъ это обыкновеннѣйшее, всѣмъ знакомое, Заднѣ-

провье стало расти, расти, и не въ даль, а куда-то назадъ, въ глубь исторіи, въ глубь временъ... безконечнѣйше расти, до самыхъ началъ земли, до колыбели человѣчества... Безбрежнымъ кладбищемъ разстилалось оно передо мною, пустынное, молчаливое, залитое кровью, а изъ темной бездны прошлаго полэла на меня несказаннѣйшая, безумная, неудержимѣйшая вселенская тоска: откуда пришли люди, куда и зачѣмъ они идутъ?

— Запилъ я въ тотъ вечеръ, отчаяннѣйше запилъ, и ночью своимъ любимымъ дѣломъ занимался: фонари на улицахъ тушилъ. Смерть не люблю, когда люди ночи стыдятся... И снова, милѣйшій вы человѣкъ, сталъ я метаться безъ устали, безъ передышки. Не знаю, никакъ не могу понять, чего Платонычу нужно: святости или разгула,—и никто мнѣ этого до сихъ поръ не можетъ толкомъ сказать. Не одинъ разъ хотѣлъ я уйти отсюда, какъ вы отъ своей матери, за правдой, искать ее по всему бѣлому свѣту, да „дѣдушкины" слова въ сердце запали — жду откровенія, Божьяго зова жду, хотя въ Бога давнымъ-давно пересталъ вѣрить... Да.

Словно въ пропасть какую сорвался быстрый потокъ словъ Платоныча. Стало тихо.

Дѣвушка невольно посмотрѣла въ ту сторону, гдѣ, сливаясь съ яснымъ небомъ, синѣли далекіе края Заднѣпровья, и куда сейчасъ по гладкому, ровному полю дружною вереницей бѣжали веселые солнечные лучи.

„Скоро зайдетъ солнце",— подумала дѣвушка, и ей стало не по себѣ. Она порывисто оглянулась назадъ, гдѣ въ пролетѣ между постройками висѣлъ въ небѣ красный огненный шаръ. Отъ надвигавшейся тьмы хотѣла уйти дѣвушка, въ солнечныхъ лучахъ хотѣла спрятаться, защиты искала у солнца отъ темныхъ стихійныхъ настроеній, которыми заражалъ ее этотъ, случайно встрѣтившійся на перекресткѣ ея дороги, мятущійся человѣкъ.

— Да и не одинъ я, милѣйшая прозорливица, не одинъ Платонычъ здѣсь жертвенникъ невѣдомому Богу построилъ и проповѣдниковъ новой вѣры ждетъ: искони, дорогая, повелось, что русскіе люди отсюда, съ днѣпровскихъ высотъ, вѣру себѣ высматриваютъ — самую просторнѣйшую вѣру, чтобъ въ ней и душѣ, и тѣлу было вольготно. И несмѣтная сила въ этомъ городѣ искателей вѣры перебывала и по-сейчасъ ходитъ, всего чаще прикровенно, тайно отъ всѣхъ.

— Вотъ, хоть бы есть у насъ съ Юношею товарищъ одинъ, изъ гимназистовъ онъ, Алешею звать. Не взлюбилъ я его сначала до ненависти, не взлюбилъ за трезвенность: кассиромъ всѣмъ намъ служитъ, деньги къ нему отъ соблазна кладутъ, а онъ ихъ бережетъ и самъ никогда не развернется. Только одно мнѣ было странно въ немъ. Ужъ очень онъ много и упорно такъ по городу и его окрестностямъ гуляетъ; почувствовалъ, что неспроста все это. Сталъ приглядываться. Вижу, и въ самомъ дѣлѣ: тѣломъ-то онъ трезвъ, а душа у него хмѣльная, крѣпко хмѣльною мыслію напоилъ себя человѣкъ. Бродитъ въ немъ эта мысль, кидаетъ его изъ стороны въ сторону, тяжело ему, мучится, а хмѣля своего никому не обнаруживаетъ. Любо мнѣ это стало, и захотѣлось его допросить; подошелъ я къ нему прямо, безъ обиняковъ, и растрогалъ его. Симпатичнѣйшая личность оказалась! Даже выпили мы съ нимъ на радостяхъ, другъ друга нашедши.

— Напрасно, говорю, Алеша, вы сюда въ христіанство обращаться пріѣхали. Ректоръ нашъ въ церковный этикетъ влюбленъ, а инспекція, не стыдясь, говоритъ, что академическій Богъ въ нашемъ Братскомъ соборѣ живетъ, да и то только за той загородкой, гдѣ намъ, академикамъ, стоять приказано; тутъ, того и гляди, Юліаномъ Отступникомъ сдѣлаешься. — Вѣрно,—отвѣчаетъ.—Зналъ я, Платонычъ, объ этомъ раньше, предостерегали меня, только вѣдь я скорѣе къ городу пріі-

ѣхалъ за отвѣтомъ,—говоритъ,—чѣмъ къ людямъ. Вся, говоритъ, эта...—обиднѣйшее слово вырвалось у человѣка, не рѣшаюсь я его вамъ повторить, уважаемая,—у меня послѣднія крупицы вѣры не только въ Бога, но и въ человѣка вытрясла, а вотъ, какъ погляжу на здѣшнія горы да на городъ,—опять затеплится огонекъ въ сердцѣ, и чувствую, что есть какая-то здѣсь правда, которой доискаться нужно. Знаешь,—говоритъ,—Платонычъ, нигдѣ такъ деревья хорошо не шумятъ, какъ здѣсь. Тутъ среди нихъ должны быть такія, что при языческой вѣрѣ расти стали, крещенье Руси видѣли... Деревья,—говоритъ,—до самой старости невинны и наивны—они мнѣ когда-нибудь всю правду прошумятъ, а если нѣтъ, то я сумѣю отрясти прахъ отъ ногъ своихъ...

Звонкій смѣхъ прервалъ слова Платоныча.

— Вы меня уморите со смѣха своими разсказами, раньше, чѣмъ мы успѣемъ дойти до Лавры,—захлебываясь отъ смѣха, говорила дѣвушка. — Что ни человѣкъ, то юродивый, одинъ у поля, другой у лѣса отвѣта ищетъ...

— Да вы постойте, разсудительнѣйшая, не смѣйтесь, — горячо началъ возражать Платонычъ. — Вѣдь Алеша гоненіе теперь отъ начальства терпитъ за свои прогулки, а деревья-то все еще не прошумѣли ему нужной для него правды, и неизвѣстно, комедіей или трагедіей это все кончится...

— Вотъ такъ-то у меня въ прошломъ году очень веселый по началу случай былъ... Вотъ здѣсь, внизу, подъ самой Аскольдовой могилой разыгрывался... страннѣйшее, необычайнѣйшее происшествіе, правду сказать. Если бы его не запротоколили, такъ, пожалуй, я бы и самъ не повѣрилъ. Да на другой день мы вмѣстѣ, вкупѣ и влюбѣ со знакомымъ приставомъ Геннадіемъ Федорычемъ распивали этотъ протоколъ и прежде, чѣмъ его разорвать, торжественно, на манеръ многолѣтія, прочитали. Ну и убѣдился я тогда, что не во

снѣ все мнѣ приснилось, ибо обстоятельнѣйшій человѣкъ Геннадій Федоровичъ: во всемъ городѣ никто лучше его протокола не составитъ, протоколы въ экстазѣ пишетъ, даровитѣйшая личность, какой-то Іоаннъ Дамаскинъ протоколовъ...

— Только, Платонычъ, ради всѣхъ вашихъ святыхъ, пожалуйста, покороче: безъ вашихъ длинныхъ словъ и безъ дѣйствующихъ въ пьяномъ видѣ лицъ,—все еще смѣясь, говорила дѣвушка.

— Э-эхъ,—съ глубокимъ вздохомъ сказалъ Платонычъ, быстрымъ движеніемъ головы откидывая назадъ свои волосы.—Не понимаете, должно быть, вы меня совсѣмъ! Не могу я безъ большущихъ словъ: безъ нихъ мысли не на что упереться. Для меня всѣ человѣческія слова коротки: ни однимъ изъ нихъ не могу я достать до дна своихъ мыслей и чувствъ... А пьяныхъ людей, милѣйшая обличительница, вы ужъ при мнѣ оставьте. Я себя трезвымъ какъ-то не могу представить, хоть и надоѣла мнѣ эта водка проклятущая. Повѣрите ли, дорогая, я сейчасъ бы бросилъ ее,—ей-Богу, бросилъ бы, если-бъ нашелся человѣкъ, который принесъ бы мнѣ „пиво новое“, опьянилъ бы, захватилъ бы всего меня какой-нибудь дерзкой, могучей мечтою, порывомъ—только бы не быть трезвымъ. Я до смертнаго отчаянія ненавижу трезвыхъ людей. Ходятъ они по землѣ и всѣ чудеснѣйшія краски съ нея стираютъ; вездѣ свою скучнѣйшую, сѣрую трезвость водружаютъ,—все живое каменѣетъ и умираетъ отъ одного прикосновенія трезвыхъ рукъ, съ корнемъ вырываютъ они самые лучшіе, самые красивые цвѣты жизни — гордыя человѣческія мечты. Сами скучные и трезвые, они лгутъ, они клевещутъ на веселящійся міръ, даже бѣшеную хмѣльную пляску безконечнѣйшаго звѣзднаго хоровода хотятъ они засадить въ душную, тѣсную тюрьму своей трезвой мысли, хотятъ и тамъ водворить тошнотворнѣйшій принципъ порядка, законности и постепеннѣйшаго развитія...

— Платонычъ, голубчикъ! Избавьте отъ своего обличительнаго слова противъ трезвости и акаѳиста пьянству,—со смѣхомъ взмолилась дѣвушка.—Я и сама не рада, что васъ перебила. Разсказывайте лучше, чѣмъ началось ваше необычайное происшествіе съ протокольнымъ концомъ?.. Вѣроятно, какъ всегда у васъ,—выпивкой?

— Опять прозрѣли, уважаемѣйшая, выпивкою, но—воля ваша — смѣяться, ей-Богу, тутъ не надъ чѣмъ. Да, въ пивной познакомился я съ этимъ человѣкомъ, о которомъ хочу разсказать. Студентъ онъ былъ, естественникъ, и не понравился онъ тоже мнѣ съ перваго раза, хоть самъ Юноша его гдѣ-то выкопалъ, привѣтилъ и мнѣ, какъ большущаго ума человѣка, рекомендовалъ. Смотрю, чудной какой-то человѣкъ: надъ всѣмъ онъ все что-то подсмѣивается, старикомъ выглядитъ; погасшимъ вулканомъ самъ себя зоветъ и наукой своей передъ нами величается.— Мы,—говоритъ,— естественники, вашего вездѣсущаго Бога ни подъ микроскопомъ, ни въ телескопъ доглядѣть не могли. Вся,—говоритъ,—ваша религія и философія въ пьяномъ видѣ выдумана, наука трезвыхъ людей разрушитъ всѣ эти галлюцинаціи.

— Ладно. Только весною въ прошломъ году, около этого самаго времени, зашелъ я въ нашу академическую пивную съ лекціями по священному писанію, и давай родословную Христа на всю пивную громогласно изучать: „отъ Авраама до Давида—четырнадцать родовъ, и отъ Давида до переселенія въ Вавилонъ—четырнадцать родовъ“. Вдругъ слышу голосъ-то „потухшаго вулкана“: — Все это враки!—кричитъ, самъ весь такой острый, трясущійся. — Человѣческія поколѣнія нужно десятками тысячъ считать, сама земля цѣлые милліоны лѣтъ живетъ, а не ваше нищенское число лѣтъ. Намъ, говоритъ, геологамъ, все это доподлинно извѣстно. Геологія—это первѣющая наука, всѣмъ земнымъ наукамъ

наука. Вы,—говоритъ,—тутъ человѣческими родами, а мы—цѣлыми земными формаціями считаемъ, и все, что на землѣ было, по песчинкамъ да по косточкамъ возстановить можемъ...

— Помню, отчаяннѣйшее зло меня тогда взяло. И самъ я, признаться, дорогая, въ эти счисленія нисколько не вѣрю: всегда, знаете, гдѣ математика и числа начинаются, меня острѣйшее сомнѣніе беретъ, — а тутъ на „потухшій вулканъ“ дьявольски-досадно стало. Думалось мнѣ тогда, что очень дешево ему и его вѣра и невѣріе достается.—Знать,—говорю,—я твоей геологіи и всѣхъ твоихъ земныхъ періодовъ и формацій не хочу, а вотъ по Христовой родословной я сейчасъ по всей настоященскія поминки справлю. Поминай,—дразню его,—если хочешь, и ты всю земную родословную, только не стоитъ, видно, вся твоя Земля одного такого Человѣка, коли даже мертвымъ не удержался онъ на ней, а на небо вознесся. Ты,—говорю,—теперь хоть геологовъ своихъ со всей земли собери и съ ними всѣ свои формаціи обыщи, хоть всю землю по пылинкѣ перетряси,—а слѣдовъ его нигдѣ не отыщешь...

— И стали мы съ нимъ о своихъ вѣрахъ водкою состязаться. „Авраамъ роди Исаака, Исаакъ роди Іакова“... что есть силъ, возглашаю я и пью и за Авраама, и за Исаака, и за Іакова... А онъ тамъ свои мудреныя формаціи выкликаетъ и тоже водкою каждую поминаетъ. Любопытствующихъ собралось тогда около насъ несмѣтное количество: всѣмъ хотѣлось знать, кто побѣдитъ—Земля, родившая человѣка, или Человѣкъ, родившійся на Землѣ?... Единственнѣйшій разъ въ жизни, дорогая, я съ такимъ блаженнѣйшимъ увлеченіемъ пилъ. Ей-Богу!.. Геологъ мой дерзко состязался, но слабенекъ онъ былъ вообще до питья, да и меньше какъ-то у него вышло. Помню, когда я до переселенія въ Вавилонъ добрался, онъ уже всѣ свои вторичные и третичные періоды исчерпалъ и самъ демонстративнѣйшимъ образомъ на

землю недвижнымъ пластомъ легъ. Послѣдніе четырнадцать родовъ я уже одинъ... добросовѣстнѣйше пилъ и каждый разъ, провозглашая поминаніе, пробовалъ разбудить „потухшій вулканъ“, но онъ былъ недвижимъ...

— Полюбилъ я его съ того дня, дорогая,—больше родного брата полюбилъ. Вижу, не однимъ смѣхомъ живъ человѣкъ, въ геологію свою всѣмъ нутромъ своимъ вѣритъ и при случаѣ жизни для нея не пощадитъ. Очень сильно тронуло это меня, да и всѣхъ насъ, прозвали мы его „Геологомъ“ и окончательно въ нашу избраннѣйшую, пьющую и поющую компанію включили.

— Спустя нѣсколько дней сидѣли мы такъ-то свою компаніей опять въ пивной, уважаемая, уже изрядно выпивши, и Геологъ съ нами, и снова разспорились о Богѣ. Только никто изъ насъ въ тотъ вечеръ не могъ—да и не хотѣлъ—противостать Геологу. Странное что-то съ человѣкомъ дѣлалось, и намъ всѣмъ отъ него передавалось. Не говорилъ, а пѣлъ онъ въ тотъ вечеръ, пѣлъ, какъ поетъ струна передъ тѣмъ, какъ ей оборваться. Задушевнѣйшимъ образомъ говорилъ, хотя многіе изъ насъ и до сихъ поръ недоумѣваютъ—смѣялся онъ тогда, или всему, что говорилъ, самъ вѣрилъ.

— Слѣдовало бы мнѣ вашему Богу сегодня похвальное надгробное слово сказать: вѣдь Богъ вашъ,—говоритъ, а самъ съ головы до пятокъ смѣется,—давнымъ давно умеръ. Это намъ, геологамъ, доподлинно извѣстно. Только его, какъ слѣдуетъ, не отпѣли, панихиды всенародной, вселенской панихиды по немъ еще не было, такъ онъ теперь всѣмъ чуткимъ и совѣстливымъ людямъ по ночамъ является и честнаго погребенія за свою усердную многовѣковую службу человѣчеству требуетъ... Большой и очень безпокойный мертвецъ изъ вашего Бога живаго вышелъ: ноги въ землѣ, а голова въ небо упирается,—такого еще отродясь земля не держала, даже,—говоритъ,—отъ боли и страху дро-

жать, какъ встарь, стала. Это ужъ,—опять прибавляетъ,—намъ, геологамъ, доподлинно извѣстно. Давно бы мертвое тѣло убрать пора, потому солнце заслоняетъ, холоднѣе на всей землѣ стало, да и дышать нечѣмъ, съ каждымъ годомъ невыносимѣе становится жить на землѣ, гдѣ большущее мертвое тѣло неубраннымъ лежитъ... И живо бы убрали мы его, мы, люди науки,—смѣлые и безстрашные могильщики—да хорошо знаемъ, что при общей человѣческой безтолковости и народномъ суевѣріи безъ надгробныхъ молитвъ и всепароднаго отпѣванія нельзя: никакого толку не будетъ! Очень ужъ хорошо вы, богословы, слабыя струнки человѣческаго сердца знаете, и опять что-нибудь отчаянно сверхъестественное, въ родѣ воскресенія изъ мертвыхъ, устроите. Въ этомъ,—говоритъ,—и трагедія наша, приходится на компромиссы итти. Одни изъ насъ на пустяки размѣниваются, Бога вашего подъ шумокъ по частямъ въ землю закапываютъ. Другіе, скрѣпя сердце, и противъ своихъ убѣжденій, согласились и на вселенскую панихиду, лишь бы навсегда съ умершимъ Богомъ раздѣлаться. Да. Только,—говоритъ,—къ сожалѣнію, у насъ, ученыхъ людей, привычки нѣтъ надъ покойниками читать, а тѣ изъ насъ, что брались до сихъ поръ—съ философской закваской, и потому не выдерживаютъ: или на аллилуію переходятъ, или отъ страху съ ума сходятъ. Чудится имъ, что шевелится по ночамъ мертвый Богъ... шевелится... Вотъ недавно еще одинъ такой былъ—отчаянный смѣльчакъ и началъ очень смѣло, а кончилъ очень плохо—сумасшествіемъ тоже. А я во всю эту нелѣпую и грязную канитель рѣшилъ вовсе не вмѣшиваться. Терпѣть не могу кривить душою и итти на компромиссы. Даже на будущее вселенское отпѣваніе смотрѣть не хочу. Пусть безъ меня комедію ломаютъ... Къ тому же, я не могу выносить слезъ, а вѣдь многіе человѣки безпремѣнно плакать будутъ, потому—дурачье и великаго счастья своего не пони-

маютъ. Конечно, мнѣ немножко жалко старика: очень ужъ много онъ съ людьми няньчился, но я съ веселіемъ преклоняюсь предъ законами природы. Старики должны умирать, они мѣшаютъ жизни своими вѣчными стонами и ворчаніемъ; они гасятъ веселье, а мы, люди будущаго, хотимъ жить радостно и весело...

— И многое говорилъ Геологъ въ тотъ вечеръ, всего не упомнишь, да и по-своему онъ какъ-то всегда умѣлъ сказать. Самъ онъ былъ безконечно веселъ и все время смѣялся, а у насъ было какъ-то смутно на душѣ. Сережка же, товарищъ нашъ одинъ, такъ прямо навзрыдъ плакалъ...

— Вдругъ Геологъ смолкъ, обвелъ насъ всѣхъ глазами и говоритъ такимъ повелѣвающимъ голосомъ, а лицо у него... и весь онъ совсѣмъ измѣнился. Былъ онъ такимъ худенькимъ, остренькимъ, безпокойнымъ, а тутъ свѣтозарная ясность и спокойствіе во всей фигурѣ появились.—Идемте,--говоритъ,--къ памятнику крещенія Руси. Это,—говоритъ,—святое мѣсто и для васъ, и для насъ: тамъ умственная линька нашего народа обозначена. Вы,—говоритъ, —богословы, врядъ-ли хорошо представляете, что это не шутка, что линянье очень болѣзненная и очень важная для развитія народнаго организма вещь, ну, а намъ, естественникамъ, все это доподлинно извѣстно.

— Вышли изъ пивной. Глухая ночь. Пустота на улицѣ. Подошли къ Днѣпру... Странно тоскливо стало все кругомъ. Стоялъ мѣсяцъ невысоко надъ землею, но не свѣтилъ, ибо былъ на ущербѣ. Мертвою, холодною лежала гдѣ-то внизу рѣка. Жуткія тѣни ползали и колыхались по набережной...

— Иду я, дорогая моя, и жду: вотъ-вотъ Геологъ какую-нибудь невозможнѣйшую штуку выкинетъ, ибо очень ужъ наизнанку выворачивается и готовъ душу свою обнажить человѣкъ. Завернули къ памятнику. Впереди всѣхъ взбирается по горѣ Геологъ, остальные

молча за нимъ идутъ, ждутъ всѣ, что будетъ. Журчитъ, падаетъ съ горы ручей; качаются и скрипятъ деревья. Догадался тогда я, что вѣтеръ дуетъ съ Днѣпра, оттого, значитъ, и тѣни бѣгали по набережной, но еще непріютнѣе стало на сердцѣ послѣ этой догадки, иду— и точно смерти близкаго человѣка дожидаюсь...

— Передъ самымъ памятникомъ Геологъ остановился, снялъ свою шапку и на колѣни сталъ. Мы всѣ за нимъ тоже опустились на колѣни. И тутъ самая непонятнѣйшая пантомима началась. Подошелъ къ нему Сережка и сталъ что-то говорить ему на ухо. А онъ въ свою очередь началъ ему разъяснять и даже сердиться, но Сережка упорно стоялъ на своемъ. Вдругъ они оба стремительно поднялись, и Сережка съ дикимъ крикомъ, какого я еще никогда въ своей жизни не слыхалъ: „Выдыбай, Боже! Выдыбай, Боже!"—побѣжалъ внизъ, къ набережной, а затѣмъ вдоль ея, по теченію Днѣпра. Слѣдомъ за нимъ Геологъ, безъ шапки, съ разметавшимися волосами, и тоже, что было въ его остромъ тѣлѣ силы, „Выдыбай, Боже!"—кричитъ, а самъ весь, какъ дьяволъ, хохочетъ.

— Помню, до безумія обрадовался я, что сцена эта нѣмая кончилась, и хоть не понялъ, въ чемъ дѣло, но тоже изо всей мочи, такъ что на мгновеніе всѣ голоса покрылъ, „Выдыбай, Боже!"—закричалъ и тоже за ними, какъ и всѣ остальные, помчался.

— Надѣлали, должно быть, мы въ ту ночь здоровеннѣйшаго шуму по всей набережной, потому какъ очень многіе изъ насъ не въ силахъ были долго бѣжать, падали, гдѣ придется, по набережной, и я сзади, какъ сквозь сонъ, слышалъ ихъ изступленные крики: „Выдыбай, Боже! Выдыбай, Боже!"

— Конецъ всей этой исторіи я и самъ только по разсказамъ пристава знаю. Переняли насъ трехъ—Геолога, Сережку и меня—вотъ здѣсь, внизу, у самаго моста, и будто бы я, Платонычъ, ихъ обоихъ здоровѣе и

неукротимѣе кричалъ. А городового, который вздумалъ было преградить мнѣ дорогу, схватилъ на руки и хотѣлъ было въ Днѣпръ бросить... „И безпремѣнно бросили бы“, говорилъ мнѣ приставъ: „да вашъ товарищъ маленькій, Сергѣй Петровичъ, изволилъ сказать вамъ плаксивымъ такимъ голосомъ: „оставь, Платонычъ, теперь уже все равно, бѣжать дальше нечего, сейчасъ только утонулъ, около самаго мосту утонулъ“,—и самъ послѣ такихъ своихъ словъ горько заплакалъ, а университантъ-то вашъ въ ладоши забилъ и танцовать даже началъ. А вы городового на землю осторожно поставили и „Вѣчную память“ неестественно-дикимъ голосомъ запѣли. Потому больше и протоколъ составили, что на всѣхъ васъ подозрѣніе въ утопленіи живого человѣка пало“...

Дѣвушка, слушавшая съ чуткимъ вниманіемъ, теперь звонко смѣялась, а у Юноши навернулись на глаза слезы, и онъ незамѣтно закрылъ лицо свое руками.

Одинъ Платонычъ былъ весь во власти воспоминаній. Онъ давно поднялся съ лавочки и стоялъ сейчасъ передъ своими слушателями, озаренный красноватыми отблесками, которые падали ему прямо въ лицо отъ заходящаго солнца. Онъ не слышалъ, не видѣлъ ни смѣха дѣвушки, ни слезъ Юноши. Странно размахивая своими большими руками и постоянно мѣняя выраженіе своихъ быстрыхъ, безпокойно бѣгавшихъ глазъ, Платонычъ продолжалъ, и видно было, что онъ невольно воспроизводитъ сейчасъ чей-то запавшій ему въ сознаніе, запечатлѣвшійся голосъ.

— Ровно черезъ три дня приходитъ ко мнѣ Геологъ, радостный такой, осіянный и осѣненный. „Веди меня,— говоритъ,—Платонычъ, на твое любимое мѣсто, откуда ты своими метафизическими глазами на колыбель человѣчества смотришь“. Зналъ онъ всѣ мои слабости, ибо не утаилъ я отъ него, весь раскрылся передъ нимъ

вотъ такъ же, какъ передъ вами раскрываюсь сейчасъ, уважаемая. „Хочу,—говоритъ,—я тамъ тебѣ и свое откровеніе и свое пророчество сказать“...

— Пошли. Смотрю я на Геолога. Вижу—необычайнѣйшее что-то съ человѣкомъ творится; думаю про себя: должно быть, очнулся и снова въ дѣйствіе пришелъ „потухшій-то вулканъ“... А сказать не рѣшаюсь, ибо вижу—не до шутокъ человѣку.

— Пришли сюда.

— Дѣло было темнѣйшею ночью,—страшною ночью, которая то сама на себя безумно сѣтовала, то сама себя жадно слушала. Есть такія двуликія, двустворчатыя ночи: одна половина сѣтуетъ—жалуется, а другая слушаетъ; одна говоритъ—поетъ, а другая запоминаетъ.

— Встали другъ противъ друга вотъ здѣсь, на краю обрыва.

— Вотъ мое мѣсто,—говорю,—откуда я на колыбель человѣчества смотрю! Говори теперь ты свое откровеніе и пророчество.—Хорошо,—отвѣчаетъ,—а у самого лицо сдѣлалось такимъ горящимъ, пророческимъ, и самъ онъ весь какъ-то еще острѣе сталъ. И точно летѣть куда собрался.

— Знаешь ли ты, Платонычъ, для чего я передъ памятникомъ крещенія на колѣни палъ, и почему Сережка дикимъ голосомъ—„Выдыбай, Боже!“—заоралъ и до самаго вотъ этого моста мы съ нимъ безъ устали и передышки, какъ сумасшедшіе, бѣжали?—Нѣтъ,—говорю,—не знаю... Думается, что вы какую-то траги-комическую варіацію на старую тему разыграли.—Пожалуй, что и такъ,—отвѣчаетъ, а самъ весь такъ и трепещется отъ невыразимѣйшей радости, словно малый, еще не умѣющій говорить, ребенокъ.—Это ты, Платонычъ, хорошо сказалъ: никуда не уйдешь отъ повторенія, даже со смертію. Всюду, во всемъ мірѣ, періодическая смѣна и повторяемость явленій замѣчается; вездѣ вихри и спи-

рали, на небѣ и на землѣ. Исторію всего міра можно, говоритъ, въ видѣ безконечнѣйшей раздвигающейся спирали представить. Только,—смѣется,—у каждаго поворота свое особенное лицо, и его нужно измѣрить и разгадать. Потому,—говоритъ,—и столпотвореніе вавилонское до сихъ поръ людьми не расхлебано, что одни люди у каждаго событія прежде всего лицо разглядываютъ, а затѣмъ крохотными Символами своихъ словъ, сказокъ и пѣсенъ, философій и религій торопятся весь бездонный міръ вычерпать и въ свое сознаніе перелить; а другіе сухими, безкровными формулами и закопами—блудными дѣтьми своего монашескаго мозга—силятся всю вселенную обезличить, хотятъ задушить и сжать все живое и пышное разнообразіе міра въ единую, все пожравшую, какъ фараонова корова, математическую Формулу. Ну, гдѣ же имъ, Платонычъ, другъ-друга понять послѣ этого?.. А мнѣ,—повторяетъ,—вся эта нелѣпѣйшая канитель очень надоѣла, и я тѣхъ и другихъ за ихъ однобокость смертною ненавистью возненавидѣлъ.

— Слушаю я его и чувствую,—съ ума сошелъ человѣкъ: нѣтъ у него больше стальныхъ рельсъ трезвой науки, по которымъ онъ такъ недавно легко и плавно катился, и летитъ онъ сейчасъ со всего размаху подъ косогоръ; летитъ да еще радуется близкой своей гибели.

— А онъ, точно угадалъ мои мысли, и говоритъ: это ничего, Платонычъ, что я съ ума сошелъ; это—ничего, это — хорошо! Есть періоды, когда самый острый умъ становится не только лишнимъ, но даже вреднымъ; когда самый твердокаменный умъ плавится и испаряется въ яркомъ огнѣ вулканическаго неустаннаго дѣйствія. Это — время геологическихъ переворотовъ, время перехода общества изъ твердаго въ жидкое, расплавленное состояніе; время, когда нужно прежде всего порвать безконечную цѣпь медленной эволюціи. Такой періодъ для меня уже наступилъ, да и для всѣхъ васъ

онъ не такъ далекъ... Это намъ, геологамъ, доподлинно извѣстно. Скоро,—говоритъ,—Смерть пойдетъ во всю—работать свою благодѣтельнѣйшую работу. Я, говоритъ, потому и памятнику крещенія поклонился, что своевременно хотѣлъ свое искреннѣйшее уваженіе засвидѣтельствовать тѣмъ, которые не побоялись золотого Перуна съ днѣпровскихъ высотъ въ рѣчку бросить и готовы были всю Русь крестить смертнымъ крещеніемъ—огнемъ и мечомъ. Теперь вся эта старина очень кстати. Въ то время,—говоритъ,—какъ вы, богословы, у себя внизу, на Подолѣ, спокойно водку пьете, здѣсь у насъ вверху, на Горѣ, зашевелились и помаленечку начинаютъ вашихъ боговъ къ самымъ днѣпровскимъ обрывамъ подталкивать. Если и дальше будутъ посмѣлѣе пошевеливаться, то очень скоро ваши золотые Перуны со всѣми святыми могилками въ Днѣпръ сползутъ и въ песокъ превратятся или потонутъ, — все это намъ, геологамъ, доподлинно извѣстно. Сережка-то вашъ по своей младенческой простотѣ быстрѣе всѣхъ васъ въ будущее прозрѣлъ, оттого такъ испугался и „Выдыбай, Боже“ закричалъ. Только скажи ему, Платонычъ, что онъ напрасно такъ сильно разнервничался. Пока-что, все это—одна символика.

— Скоро сказка сказывается, да не такъ скоро дѣло дѣлается. Жизнь движется съ улиточною скоростью, не поспѣвая за нашими символами и формулами... Вотъ точно такъ же нервничаютъ у насъ на Горѣ тѣ, что новую вѣру нашли, и чувствуютъ, что за ними чередъ—вашихъ Перуновъ въ Днѣпръ кидать. Ненадежная все публика. Какіе-то все у нихъ разсчеты и запасы на будущее, вездѣ принципъ экономіи силъ хотятъ проводить и нашу щедрую природу, за то, что у нея веселости много и копеечныхъ соображеній нѣтъ, хоть, скрѣпя сердце, и хвалятъ, но тоже, какъ и вы, богословы, переварить не могутъ и не смѣютъ. Тоску смертельную они на меня нагоняютъ, и возненавидѣлъ я ихъ не

меньше, чѣмъ вашего брата. Очень ужъ отъ нихъ богословіемъ вашимъ попахиваетъ, и міровоззрѣніе у нихъ тоже, какъ у васъ, монастырское и сильно мертвечиной отдаетъ. Они даже названіемъ у васъ позаимствовались: выпотрошили ваше неуклюжее слово и изъ монотеистовъ—монистами стали. Это все—ничего; это—хорошо! Никому,—говоритъ,—до поры до времени въ Тришкиномъ кафтанѣ щеголять не возбраняется. Но зачѣмъ такая тьма гордости и такая бездна серьезности? Слѣдовало бы быть повеселѣе. А то съ вами, Подольными монотеистами, устроила-таки паша игривая, вѣчно-творящая природа очень веселенькую шутку: приходится вамъ, за вашу гордость и презрѣніе къ ней, очень плохимъ дѣломъ заниматься: съ больной головы на здоровую сваливать . . . . . .

. . . . . .

. . . . . Очень,—говоритъ,—грустное это занятіе, Платонычъ, и мнѣ васъ порою искренно жаль. Я говорилъ какъ-то о вашемъ печальномъ и смѣшномъ положеніи Горнымъ нашимъ монистамъ, такъ они на стѣнку лѣзутъ.—Мы уроки исторіи лучше тебя знаемъ и заранѣе себя обезпечили. У насъ,—хвастаются,—основное начало, создавшее міръ, во-первыхъ—безличное, во вторыхъ—безполое, никакой неожиданности никогда быть не можетъ.—Да, вѣдь, говорю, отъ тоски и одиночества какое угодно безполое существо изъ себя выйдетъ, воплощенія захочетъ и безпремѣнно оплодотворитъ кого-нибудь изъ вашихъ же глашатаевъ, а, можетъ-быть, и оплодотворило уже заразъ двойнею или даже тройнею, да они еще не успѣли проболтаться.—Твои слова,—отвѣчаютъ мнѣ,—безумный бредъ и нелѣпица.—Да, вѣдь, такая нелѣпица,—говорю,—всемогуществу вашего монистическаго начала не помѣха, а ему все же, какъ никакъ, а вдвоемъ или втроемъ повадняе будетъ управлять міромъ. Злятся. Забавная публика; философія у нихъ мертвая и скуч-

ная, а они всѣ ею очень довольны, ликуютъ и взапуски славословятъ творца ея... Ну, да это ничего, это хорошо. За ними придутъ такіе, у которыхъ больше дерзости и меньше славословія. Важно то, что начался процессъ выщелачиванія и вывѣтриванія старыхъ идей, разрыхленія и распыленія твердыхъ породъ старыхъ истинъ, которыя удерживали и мѣшали разрушенію стараго зданія. Теперь всѣ сильные и чуткіе люди будутъ помаленечку уходить изъ разрушающихся храмовъ, гдѣ жили боги прошлаго. Это,—говоритъ,—безостановочный, неудержимый процессъ, и когда онъ закончится, начнется историческій праздникъ всеобщаго переворота. Это ужъ намъ, геологамъ, доподлинно извѣстно. Выщелочитъ скоро и тебя, Платонычъ,—вотъ тебѣ мое предсказаніе,—и Юношу. Уйдете вы оба изъ душнаго стараго города на весь вольный свѣтъ, на свободу, на свободу, потому оба вы хорошіе люди, хоть и отравилъ меня Юноша своею нечеловѣческою тоскою. Вслѣдъ за вами уйдутъ и другіе. Всѣ уйдутъ, въ комъ есть хоть какая-нибудь душевная сила... А мнѣ вся эта музыка до самаго конца извѣстна, и потому у меня тоска смертная, и глядѣть ни на что не хочется. Пусть, кого угодно, это занимаетъ, а для меня все это скучные пустяки въ сравненіи съ будущимъ міровымъ пожаромъ. Прощай,—говоритъ,—дорогой Платонычъ, и помни о томъ, что предсказалъ тебѣ родившійся въ безвременье человѣкъ, который отравился нечеловѣческою тоскою по грядущему всемірному пожару.

— Помню, поцѣловались мы съ нимъ и разстались навсегда.

— Мертвымъ увидѣлъ я его на другой день, съ еще болѣе острымъ и насмѣшливымъ лицомъ, на которомъ застыло и презрѣніе къ людямъ, и сведшая его въ могилу геологическая смертная тоска.

— Большущей, богатырской силы былъ человѣкъ, а такъ какъ-то совсѣмъ зря, самымъ страннѣйшимъ

образомъ, самовольно ушелъ отсюда... Былинный человѣкъ! Святогоровское что-то въ немъ было: притянула къ себѣ его тяга земная, и въ землю ушелъ онъ со всею своею силой...

Платонычъ замолчалъ. Воспоминанія о самовольно ушедшемъ изъ жизни человѣкѣ, который вычертилъ въ его душѣ неизгладимыя, чудныя слова, скорбной тѣнью легли на широкое, улыбающееся лицо Платоныча.

Грустная тишина стала незамѣтно обнимать собесѣдниковъ. Она крѣпко связала ихъ однимъ скорбнымъ чувствомъ; она, какъ кольцомъ, окружила всѣхъ троихъ общею думою, отдѣлила ихъ на мгновеніе отъ всего остального міра, въ которомъ только-что сѣло веселое весеннее солнце, исчезли, слившись другъ съ другомъ, длинныя тѣни, а на двухъ противоположныхъ концахъ яснаго небеснаго свода появились съ одной стороны широкая радужная лента вечерней зари, съ другой—чуть замѣтная, узкая темноватая полоска недалекой ночи.

Первой очнулась дѣвушка. — Надо итти, — сказала она и быстро направилась отъ обрыва, увлекая за собою своимъ порывомъ и Платоныча, и Юношу. Покорно и безвольно, взявшись подъ руки, послѣдовали они за нею.

Уже въ лаврской оградѣ Платонычъ заявилъ своимъ спутникамъ, чтобы они зашли на минутку въ соборъ, послушать „необыкновеннѣйшее лаврское пѣніе, въ которомъ всѣ четыре стихіи—огонь, вода, земля и воздухъ отражаются", а онъ, Платонычъ, пойдетъ впередъ и устроитъ все, что нужно.

Уходя, онъ непривычно для себя, какъ бы ненарокомъ, спросилъ дѣвушку: „А какъ васъ зовутъ, уважаемая"?— „А зачѣмъ вамъ мое имя, уважаемый?—передразнила дѣвушка.

— Видите ли, невыразимѣйшая,—заулыбался Платонычъ,—хитрить не могу, всю правду раскрою. Есть тутъ старикъ... монахъ одинъ, толстенный такой и большущее значеніе въ лаврской конторѣ имѣетъ, такъ онъ

мнѣ разъ навсегда сказалъ: „ты, говоритъ, всеобъемлющій Платонычъ",—онъ меня всеобъемлющимъ зоветъ за то, что я его „Необъятнѣйшимъ" прозвалъ—„ты, всеобъемлющій, мнѣ сюда хоть всѣхъ здѣшнихъ вѣдьмъ, со всѣхъ Лысыхъ горъ приведи, но только смотри, чтобы у каждой было христіанское имя". И всякій разъ, какъ я сюда съ дѣвицами являюсь, неукоснительно не только у меня, но, бываетъ, что и у нихъ, „какъ во святомъ крещеніи нарекли,"—спрашиваетъ. Вы все равно, какое-нибудь имя скажите, только чтобъ „Необъятнѣйшаго" утѣшить: отъ міра отрекся, а странности мірскія остались—не по человѣку имя давать, а по имени человѣка звать,—какъ бы въ извиненіе добавилъ Платонычъ

— Лидія—мое христіанское имя, сказала дѣвушка, и то, что сказала она его такъ просто и серьезно, на мгновенье бросило свѣтъ на ея личность.

— Хорошее, мученическое имя,—на ходу говорилъ Платонычъ и куда-то быстро скрылся.

Платонычъ старался... Онъ привелъ въ движеніе чуть ли не все свое обширное знакомство и, несмотря на скопленіе народа, раздобылъ-таки три чистенькія, свѣтленькія комнатки, а къ приходу Юноши и дѣвушки успѣлъ уже соорудить „настоященскій" чай. Самъ онъ чаю не сталъ пить, а пошелъ „благословляться" какой-то особливою лаврской настойкой, вмѣстѣ съ отцомъ Ѳеодосіемъ, коридорнымъ монахомъ, высокаго роста, съ сѣдѣющими волосами, привѣтливымъ лицомъ и скорбными глазами, который принялъ чрезвычайно близкое и живое участіе въ судьбѣ трехъ богомольцевъ.

Послѣ чаю всѣ трое вышли на балконъ. Весенняя ночь дохнула на нихъ разлитымъ во всей природѣ страстнымъ и жаднымъ любовнымъ исканіемъ, жаждою обезличенія и потери сознанія, безумною жаждою потонуть въ общемъ потокѣ, невѣдомо откуда, впередъ, на новыя рожденія и къ новымъ смертямъ несущейся

жизни. Одна за другою побѣжали минуты тихой и оживленной бесѣды, въ которой незамѣтно ткалась непрерывная узорчатая нить мысли, все крѣпче и ближе связывавшая собесѣдниковъ другъ съ другомъ.

Дѣвушка и Юноша сидѣли рядомъ на деревянной скамейкѣ противъ Платоныча. А онъ, откинувшись на спинку своего кресла и покачиваясь на немъ, развертывалъ длинный свитокъ своихъ неистощимыхъ разсказовъ, въ каждомъ словѣ которыхъ трепетала увѣренность, что сегодняшняя встрѣча сулитъ ему „здороввеннѣйшій изгибъ“ въ его жизни.

И то, что и Юноша, и дѣвушка мало говорили, и то, что Юноша гладилъ своими тонкими пальцами руку дѣвушки, а она не сопротивлялась, не гнала прочь отъ себя эту ласку, сближало въ эти мгновенія ихъ двоихъ.

— Симпатичнѣйшая встрѣча, — не въ первый уже разъ повторилъ Платонычъ запавшее ему въ сердце выраженіе, густо ударяя на каждомъ словѣ, точно стряхивая съ него всякую пылинку сомнѣнія,—чудная, чудная и чудеснѣйшая. Ей-Богу!... Не встрѣться мы съ вами, юная странница, гостили бы мы сегодня съ Юношею не у старыхъ, не у бывшихъ святыхъ, а у будущихъ, и былъ бы Платонычъ сегодня зѣло непотребенъ и пьянъ... Я вамъ это все по совѣсти говорю, милѣйшая Лидія, и вы на меня не сердитесь. Скрывать никакъ не могу: передъ хорошимъ человѣкомъ всегда весь безъ утайки, со всей своей нелѣпѣйшей натурою готовъ обнаружиться... А васъ, уважаемая, я съ перваго взгляда отмѣтилъ и не ошибся, ей-Богу. Въ васъ, знаете, вотъ, какъ и въ Юношѣ, обреченность какая-то затаилась, хоть и бойкій вы человѣкъ, а смирила она васъ, по глазамъ вижу, смирила, только не хотите вы своею укрощенностью съ такимъ, какъ я, неукротимымъ, подѣлиться... А вотъ я давно мечусь, какъ звѣрь въ клѣткѣ, и если укротитель мой

еще немного задержится, то я, ей-Богу, всенепремѣннѣйше отъ ненасытной тоски своей разобью себѣ голову. Да.

— Полноте вамъ, Платонычъ, на себя жаловаться и въ своихъ преступленіяхъ и грѣхахъ каяться,—перебила Платоныча дѣвушка.—Вѣдь васъ, поди, и такъ по четыре раза въ годъ на исповѣдь, какъ барановъ на водопой, гоняютъ.—И слѣдомъ за грубыми, рѣзкими словами, въ чуткой, сдержанной тишинѣ ночи, затаившейся у молчаливыхъ старыхъ лаврскихъ стѣнъ, гулко раздался ея молодой, нѣжно-звенящій смѣхъ.

Платонычъ какъ-то не сразу собрался отвѣтить, точно не рѣшался онъ выговорить просившейся наружу мысли.

— Сердиться я, уважаемая, начинаю,—медленно заговорилъ онъ, наконецъ, привычнымъ движеніемъ головы закидывая назадъ свои волосы,—не на васъ, а на нѣкоторыя ваши слова: чужія они, вамъ не подходящія и мнѣ вовсе не нужныя, лишнія для меня. Зачѣмъ отталкиваете Платоныча? Онъ идетъ къ вамъ съ раскрытой душою и готовъ всюду пойти за вами, только хорошенько позовите, обожгите его сердце пламеннымъ зовущимъ словомъ. Съ Платонычемъ нигдѣ не страшно — Платонычъ нигдѣ не оставитъ! Онъ будетъ беречь васъ лучше, чѣмъ евреи берегли свой Ковчегъ Завѣта.

— Намъ не по дорогѣ съ вами, Платонычъ, — беззвучно смѣясь, отвѣтила дѣвушка и, отстранивъ руку Юноши, быстро поднялась со скамейки. — Слишкомъ ненадеженъ тотъ, кто при малѣйшей опасности за старину, какъ малый ребенокъ за подолъ матери, цѣпляется и въ самыя тяжелыя минуты своей жизни не впередъ, а назадъ, на колыбель человѣчества смотритъ. Живому дѣлу страшны люди, отравленные печалью по прошлому. Ихъ творческаго порыва хватаетъ только на то, чтобъ изъ вѣчно-юнаго дѣла преображенія человѣ-

ческой жизни пышное кладбище со священными нерушимыми гробницами предковъ устроить, а сами они возможно скорѣе норовятъ изъ смѣлыхъ разрушителей въ жалкихъ сторожей и наемныхъ плакальщицъ на могилахъ усопшаго прошлаго зачислиться. Нѣтъ, право, не по дорогѣ намъ съ вами, Платонычъ, хоть вѣрю, хорошимъ товарищемъ вы были бы,—съ грустной усмѣшкой добавила дѣвушка, и глаза ея скользнули въ придвинувшуюся къ балкону темную гущу монастырскаго сада.

Тамъ, въ ночной тьмѣ, высокія деревья, потерявшія счетъ своимъ годамъ, страстно прильнули другъ ко другу своими вѣтвями и безъ словъ,—всегда безпомощныхъ, всегда безсильныхъ словъ, которыя вѣчно со смѣшными ужимками ковыляютъ за быстро исчезающимъ мгновеніемъ въ тщетной надеждѣ схватить его смыслъ,—безъ словъ переживали доступную всему живущему на землѣ великую тайну передачи жизни грядущимъ поколѣніямъ. И отъ этого молчанія еще нетерпѣливѣе, еще безпокойнѣе начинала биться и метаться хлопотливая, вѣчно ищущая и недовольная человѣческая мысль.

— Я ухожу, Платонычъ,—сказала дѣвушка. — Не сердитесь и не поминайте меня лихомъ.—И она нѣжнымъ материнскимъ взглядомъ поглядѣла на больного человѣка, который и въ ней, какъ и во всѣхъ людяхъ, искалъ человѣка, способнаго утишить его душевную бурю, способнаго позвать за собою.

Еще мгновенье,—и ушла бы эта веселая, внезапно заторопившаяся дѣвушка, и стало бы одиноко, страшно и непріютно-сиротливо двумъ разлучающимся навсегда людямъ.

Но Платонычъ, уловивъ въ дѣвушкѣ долго-жданную ласку, весь затрепеталъ отъ радости и ринулся къ выходу, преграждая путь.

— Я васъ не пущу, милѣйшая Лидія, ни за что не пущу. Почему мнѣ съ вами не по дорогѣ, и куда вы

сами идете? Ругайте меня, какъ хотите, а я, нелѣпѣйшій человѣкъ, ей-Богу, васъ не пущу; не пущу, пока вы мнѣ на эти самые отчаяннѣйшіе вопросы моей жизни настоящаго отвѣта не дадите.

И Платонычъ выпрямился во весь свой богатырскій ростъ передъ дѣвушкой, которая молча, въ недоумѣніи остановилась и посмотрѣла на него.

— Да и некуда вамъ, уважаемая, торопиться, ей-Богу, некуда. Отдохните здѣсь недѣльку,—снова, улыбаясь своей широкой и ясной улыбкою, сталъ уговаривать ее Платонычъ.—Тутъ васъ ни одинъ щуръ не сыщетъ. Поглядите поближе на тѣхъ, что изъ своей живой вѣры, какъ вы хорошо сказали, вселенское кладбище устроили и по всей землѣ памятниковъ своимъ умершимъ святымъ нагромоздили. Можетъ быть, и не одинъ этотъ изъянецъ у нихъ найдете. А я бы для васъ постарался, такія бы смотрины устроилъ, самыхъ невѣроятнѣйшихъ людей выискалъ. Для васъ это совсѣмъ не лишнее будетъ, ей-Богу! Что ни говорите, а здѣсь хоть и мало, но остались еще потомки тѣхъ, что давнымъ-давно въ Римъ вселенскаго счастья, не щадя себя, отправились. Дѣлами всѣ они пооскудѣли, это точно; притомились и не дойти имъ, какъ видится, до своей цѣли, ну, а на словахъ они все еще храбрятся, на словахъ все еще—и братство, и равенство, и свобода—хоть и больно имъ за такія слова достается отъ бездны начальства; отъ всѣхъ этихъ одержимыхъ бѣсами властолюбія „архи-протовъ“, игуменовъ и деспотовъ... Такъ вѣдь такая непріятнѣйшая вещь, уважаемая, со всякимъ хорошимъ человѣкомъ можетъ случиться... Что, если и второй блинъ вселенскаго счастья комомъ свернется, а къ небу одна отвратительнѣйшая панихидная гарь и запахъ пойдетъ?.. Останьтесь, дорогая Лидія. Ну хоть на три дня. Право, не пожалѣете.

Въ это время у дверей балкона показалась высокая монашеская фигура отца Ѳеодосія.

Онъ на мгновеніе остановился своими зоркими и скорбными глазами на дѣвушкѣ, улыбнулся какъ-то про себя, постоялъ и исчезъ такъ же безшумно и безмолвно, какъ и появился.

— Полноте, Платонычъ,—замѣтно раздражаясь, заговорила дѣвушка.—Вы меня и въ самомъ дѣлѣ тоже за какого-то оборотня, должно быть, приняли. Мнѣ давно пора уходить отсюда, а то и самъ вашъ хваленый отецъ Ѳеодосій что-то засуетился и подозрительно на меня поглядываетъ.

— Отца Ѳеодосія,—въ свою очередь заволновался Платонычъ,—вы у меня не троньте, уважаемая. Отецъ Ѳеодосій—ласковѣйшая душа: онъ за нами теперь, какъ сердобольная мать за малыми дѣтьми, ухаживать будетъ. Вы увидите. А что онъ на васъ зоркимъ своимъ окомъ посмотрѣлъ, такъ на то онъ единственный на всю лавру прозорливецъ. Если бы захотѣлъ, большущую славу и себѣ и обители доставилъ бы, но только безславецъ онъ, душа у него щедрая и лаской торговать не захочетъ. Не потерпѣли его тамъ, вверху, наклепали, будто ему всѣ его прозорливыя слова діаволъ черезъ водку нашептываетъ, и внизъ сюда на гостиный дворъ сослали. А онъ не водкою, а человѣческимъ горемъ съ того дня, какъ въ человѣческую жизнь прозрѣлъ, запоемъ упивается...

— Всѣхъ,—говоритъ,—милый Платонычъ, утѣшаю, а самъ давно безутѣшнымъ сталъ, горемъ напился, слезами отравился...—Вотъ онъ какой человѣкъ, отецъ Ѳеодосій. Безутѣшный онъ прозорливецъ, уважаемая... Неисчислимѣйшую бездну народа знаетъ и каждому прибаутку или ласковое слово сказать умѣетъ. Его поговорки по всей Россіи вмѣстѣ съ богомольцами гуляютъ. И правдою онъ никогда не брезгуетъ, даже когда о своей любимой обители разсказываетъ: „у нашей лавры,—говоритъ,—всѣ монахи славны, для дѣла не годные, но Богу угодные; въ мірскіе кабаки сами ходятъ, изъ

кабаковъ ихъ Божьи ангелы водятъ"... Прямѣйшая душа! Черезъ него я и въ васъ, уважаемая, окончательно увѣрился. Замѣтилъ я, что въ словахъ своихъ вы отъ насъ съ Юношей хоронитесь, а отъ себя отрекаетесь, и нарочито зараньше попросилъ отца Ѳеодосія испытующимъ, зоркимъ окомъ на васъ посмотрѣть.

— Откуда, спрашиваю, прозорливѣйшій отче Ѳеодосіе, сія дерзновеннѣйшая юница?—когда мы съ нимъ наливкою благословлялись.

— Сибирячка,—отвѣчаетъ,—какъ святъ Богъ, сибирячка. Я сибиряковъ съ перваго взгляда всегда узнаю: глаза у нихъ особливые, кочевничьи глаза, на лицѣ, словно крестъ на колокольнѣ въ яркій день, горятъ и за предѣлы земли смотрятъ, а въ обличьѣ у нихъ всегда безпокойная непосѣдливость таится. Славный народъ, говоритъ, эти сибиряки, землелюбивый, а къ землѣ не прилипшій. Люблю я ихъ за это.

— Такъ,—говорю,—прозорливѣйшій отче; а кто она и куда идетъ?

— Это, Платонычъ, не сразу прозрѣть можно: каждый человѣкъ вѣру свою имѣетъ, да другимъ людямъ до времени объявить не смѣетъ. Сдается мнѣ, изъ тѣхъ она, что съ самимъ Богомъ спорятъ, изъ-за порядку въ мірѣ тягаются, съ Господомъ не дружны, а больше всѣхъ ему милы и нужны. Лѣтъ двадцать ихъ,—говоритъ,—нигдѣ не видно было, а теперь снова появились, даже въ нашей обители я уже не перваго вижу. Большое волненіе, должно быть, во всемъ народѣ скоро пойдетъ...

Дѣвушка пыталась какъ будто сказать что-то, но Платонычъ уже несся впередъ, охваченный новыми мыслями, новыми воспоминаніями. Самъ Юноша съ нѣкоторымъ безпокойствомъ смотрѣлъ теперь на своего разволновавшагося друга.

— Да и некуда вамъ итти сейчасъ, уважаемая, на ночь глядя,—говорилъ между тѣмъ Платонычъ. — Не

спать же будете! Ни за что не повѣрю, что вы изъ тѣхъ людей, которые ночной сонъ въ законъ природы возводятъ. Куда ни шло, просидите съ нами одну эту ночь, непосѣдливая, если не хотите оставаться здѣсь долѣе. А завтра я васъ хоть къ самому діаволу провожу: мнѣ, ей-Богу, все равно, я человѣкъ шальной.

И Платонычъ широко разметнулъ свои руки, точно онъ собирался на крестъ.

— А ночныя бесѣды я смерть люблю,—вдругъ заговорилъ онъ необычнымъ для себя тихимъ голосомъ.— И повѣрите ли, уважаемая, пожалуй, всего лучше себя я только ночами чувствую. Вотъ такъ-то я тутъ, въ этомъ городѣ, со старикомъ однимъ не одну ночь прокоротalъ. Умнѣющій былъ старикъ, хоть почти всѣ его сумасшедшимъ считали. Никто лучше его смыслъ ночи мнѣ не раскрылъ. „Ночью самыя свѣтлыя мысли,— тихо говоритъ онъ, бывало,—у людей рождаются. Самыя яркія мысли, что людямъ цѣлые вѣка свѣтятъ и путь въ безбрежномъ мірѣ показываютъ, непремѣнно ночью загорались. Мысли—что звѣзды: отъ назойливаго солнечнаго свѣта тускнѣютъ и исчезаютъ, а ночью вновь просыпаются... У меня у самого,—говоритъ,—въ одну ночь душа наканунѣ казни двухъ сыновъ моихъ проснулась и съ тѣхъ поръ глазъ не смыкаетъ“...

— Полякъ онъ былъ и русскихъ терпѣть не могъ, братоубійцами называлъ, а меня полюбилъ. Чудно ужъ очень мы съ нимъ познакомились. Большущую я какъ-то баталію на улицѣ изъ-за одной дѣвицы устроилъ. Проститутка она была и тоже, какъ я узналъ впослѣдствіи, полька... Очень большое было сраженіе: и я много билъ, и меня не мало били. Въ глубокой полунощи все это происходило. А очнулся я въ свѣтлый заполдень, и глазамъ своимъ не вѣрю: комната, гдѣ лежу, вся завалена книгами, старикъ сѣдой въ ней сидитъ, мнѣ улыбается. Пролежалъ я у него такъ цѣлый день. Ничего мы другъ другу не говорили, а только улыбались: онъ

мнѣ, а я ему. Ночью, когда я совсѣмъ вылежался и домой собрался, онъ, провожая меня, сказалъ: „это хорошо, что вы духовный академикъ, а ни іудеевъ, ни эллиновъ не разбираете и каждое оскорбленіе человѣку въ серьезъ принимаете. У меня,—говоритъ,—сыны такіе были, Христовой смертью оба померли. Вы,—улыбается ласково такъ,—мнѣ очень полюбились". — И вы мнѣ, отвѣчаю, старче, тоже очень полюбились.—„Вотъ и хорошо,—говоритъ,—такъ если захочется, приходите ко мнѣ какъ-нибудь, только не днемъ, а ночью, въ новолуніе, и когда небо бываетъ звѣздное и открытое... Я,—говоритъ, а самъ какъ-то опять весь по-дѣтски улыбается,—въ такія ночи никогда не сплю. Вы тоже, какъ вижу, ночами не спите и со мной посидите, почитаете мнѣ, а то я глазами сталъ слабъ".

— Зашелъ я какъ-то къ нему разъ, потомъ другой, третій... И всегда онъ просилъ меня почитать что-нибудь изъ старины: прощальную бесѣду Христа въ Геѳсиманскомъ саду, рѣчь Сократа передъ судомъ или еще что-нибудь въ такомъ же родѣ, и непремѣнно на томъ языкѣ, на какомъ сказано было. Слово, говоритъ, отъ мысли нераздѣльно, слово перевести нельзя, оно въ каждомъ языкѣ по-своему звучитъ...

— Сидитъ онъ, бывало, всегда у открытаго окна, въ темный садъ или на звѣзды смотритъ и порою, украдкой отъ меня, тихонько плачетъ... А я читаю, и мнѣ самому за яркими мыслями старинныхъ людей, которые смѣло въ глаза смерти глядѣли, миганье звѣздъ, родившее когда-то ихъ мысли, чудится... Странныя картины какія-то встаютъ передъ глазами... И больно мнѣ становится, что нѣту у меня въ сердцѣ такихъ мыслей и словъ, которыя людей на муки, въ костеръ или на висѣлицу приводили...

— А утромъ, чуть начинаетъ брезжить свѣтъ и гасить звѣзды, старикъ прерываетъ чтеніе.—„Палачи уже ставятъ свои висѣлицы,—говоритъ, бывало.—Скоро взойдетъ

солнце и потушитъ всѣ стыдливыя человѣческія мысли. Люди откроютъ свои церкви и лавочки и начнутъ торговать... Милыя дѣти! Они рады солнцу, а солнце зажмуриваетъ имъ глаза, и они перестаютъ видѣть вѣчность"...

— Умеръ онъ недавно. Не видѣлъ я его въ гробу. И теперь каждую звѣздную ночь—вотъ и сейчасъ даже—я его живымъ вижу. Такой славный, незабываемый старикъ былъ, уважаемая...

Платонычъ остановился. Его мысль, повидимому, ушла въ воспоминанія объ одной изъ странныхъ встрѣчъ, которыми была полна его пестрая, мозаичная жизнь. Тише и малозвучнѣе стало кругомъ, и оттого, что Платонычъ говорилъ сейчасъ о звѣздахъ, ярче и трепетнѣе стали онѣ свѣтить и свѣтиться на весеннемъ небѣ.

— А въ самомъ дѣлѣ, Лидія, — я васъ буду звать такъ,—заговорилъ вдругъ Юноша,—останьтесь съ нами эту ночь. Повѣрьте мнѣ, въ эту ночь вы всего нужнѣе въ Старой Лаврѣ. Развѣ вы не видите, что я очень скоро навсегда покидаю Платоныча; развѣ вы не видите, что и мнѣ, и Платонычу давно пора уйти изъ Старой Лавры? Въ мое лицо уже заглянула смерть. Я это хорошо знаю, и, можетъ-быть, вотъ эта ночь, зачинающая новыя жизни, погаситъ мой ослабѣвшій огонь. Вы схороните со мною вмѣстѣ отравившую меня печаль, вы проводите меня въ могилу вашимъ веселымъ, радостнымъ смѣхомъ. Но вы возьмете Платоныча съ собою. Пусть вамъ не по дорогѣ, но вы его съ забытаго, оставленнаго проселка выведете на большую дорогу, которой идетъ сейчасъ человѣчество.

Вздрогнули оба—и Платонычъ, и дѣвушка,—отъ тихихъ словъ Юноши, и снова, какъ раньше, передъ Никольскимъ монастыремъ, вступленіе Юноши рѣшило ихъ споръ въ пользу Платоныча.

— Я остаюсь, — сказала дѣвушка, словно сбросила

съ себя страшную тяжесть, и, обращаясь къ Платонычу, близкимъ, роднымъ голосомъ сказала: — Только вы ужъ, Платонычъ, тамъ устройте, чтобъ я рано утромъ была на вокзалѣ. Вы сдѣлаете?

— Я-то? Уважаемѣйшая!—воскликнулъ Платонычъ радостно, расплылся въ торжествующую улыбку и исчезъ.

Съ выходомъ Платоныча на балконѣ наступило молчаніе.

Два человѣка, которыхъ все время раздѣляла и заслоняла другъ отъ друга безпокойная и страстная мысль третьяго, теперь очутились одинъ-на-одинъ, стали другъ противъ друга, каждый со своими особыми мыслями и думами, такъ различные своими путями въ прошломъ и въ будущемъ, и пересѣкшіеся, какъ двѣ прямыя линіи, въ одной точкѣ настоящаго.

На лаврской колокольнѣ часы прозвонили какую-то четверть. Мелодичный металлическій звукъ безвозвратно скатился сверху внизъ, въ ночное пространство, откуда попрежнему лились, обнимая Лавру, нѣжные, возбуждающіе звуки. Снизу, отъ гостинаго двора, на балконъ все еще долеталъ невнятный, смутный людской говоръ и шумъ. Тамъ, подъ открытымъ звѣзднымъ небомъ, на обширномъ плитчатомъ помостѣ, гдѣ расположились на ночлегъ богомольцы, выведенные усталостью и новыми впечатлѣніями изъ душевнаго равновѣсія, велись сейчасъ тихія, нескончаемыя бесѣды. И одинаково ясно отражались — горе и радость, вѣра и сомнѣніе, жажда жизни и страхъ смерти, и все, что принесла съ собою за истекшій день къ подножію недвижимыхъ лаврскихъ святынь безсмѣнная мятежная людская волна — въ медленномъ, прозрачномъ теченіи тихихъ, нескончаемыхъ бесѣдъ.

Дѣвушка подошла къ краю балкона и, ставъ вполоборота, стала смотрѣть назадъ, гдѣ чуть виднѣлась во мракѣ передняя, восточная часть соборнаго

храма. Странное звено этого дня, вплетавшееся въ ея жизненную цѣпь, наполняло дѣвушку какимъ-то смутнымъ безпокойствомъ, требуя возможно быстраго подчиненія сознанію. Лицо ея стало печальнымъ и тревожнымъ.

— А вѣдь я тоже думаю, что вы революціонерка,— тихо и медленно проговорилъ Юноша, поднявъ свою голову и вглядываясь изъ-подъ очковъ въ смутно бѣлѣвшее во мракѣ лицо дѣвушки.

— И вѣрно думаете,—тихимъ эхомъ отозвалась дѣвушка.—Да, я революціонерка.—И вдругъ разсмѣялась какимъ-то своимъ неуловимымъ и веселымъ мыслямъ.

— И въ тюрьмѣ сидѣла? — придвигаясь ближе къ дѣвушкѣ своимъ неожиданнымъ переходомъ на ты, спрашивалъ Юноша.

— Сидѣла.

— И въ ссылкѣ была?

— Была не долго...

— Бѣжала?

— Бѣжала.

— За границу?

— За границу.

— Хорошо тамъ?

— Нѣтъ, не лучше, чѣмъ здѣсь. Глупости меньше, трусости больше.

Вопросы и отвѣты, какъ большіе, тяжелые камни, падали равномѣрною чередою, создавая зыбкій мостъ черезъ глубокую пропасть недовѣрія, которая всегда отдѣляетъ одного человѣка отъ другого.

— Знаете, Лидія,—заговорилъ вдругъ, весь изгибаясь, Юноша. Было похоже на то, что всего его пронизалъ быстрый, мгновенный токъ мыслей и чувствъ, и онъ не въ силахъ заключить его въ себѣ, оставить не переданнымъ. Юноша порывисто взялъ руку дѣвушки. Онъ посадилъ дѣвушку съ собою и, лаская ея руку

своими тонкими пальцами, точно желая непосредственнымъ ощущеніемъ сдѣлать яснѣе свои мысли и чувства, сталъ, волнуясь, говорить:

— Знаете, Лидія, вотъ въ такую же ночь, когда вся земля жила, дышала и творила новыя жизни, я оскорбилъ своею любовью дѣвушку, а она была для меня дороже всего на свѣтѣ. Она была совсѣмъ-совсѣмъ, какъ вы, милая Лидія. Когда я ее въ первый разъ встрѣтилъ, она такъ же, какъ вы, съ веселымъ дѣтскимъ смѣхомъ шла впередъ. И въ ту странную ночь вмѣстѣ съ нею я пережилъ мигъ, который такъ и остался для меня неразгаданною загадкою. Яркая молнія сознанія освѣтила мою любовь къ ней. Я ослѣпъ, я сбился съ дороги, остановился... А она ушла отъ меня съ дѣтскимъ смѣхомъ и ясной душою. И вотъ нѣтъ ея уже давно со мною, но я поглядѣлъ на васъ и чувствую: идетъ моя славная, смѣлая, идетъ моя незабываемая любовь, идетъ впередъ и все еще не разучилась смѣяться...

Какъ пѣсню, слушала дѣвушка слова Юноши. Все въ нихъ было немного не такъ, не похоже на простую, ясную человѣческую жизнь, какъ будто не мыслями, не логикой, а созвучіями своихъ чувствъ говорилъ Юноша. Все было немного не такъ. А вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ пѣсня, ближе и глубже заглядывали его слова въ душу жизни.

На балконѣ вновь показался Платонычъ, запыхавшійся, улыбающійся, довольный. Въ правой рукѣ онъ держалъ академическій плащъ, которымъ онъ съ материнскою заботливостью тотчасъ же прикрылъ Юношу, а въ лѣвой—громадный букетъ цвѣтовъ, искусно перевитый зеленью.

Усѣвшись на свое мѣсто, онъ, обѣими руками вручая букетъ дѣвушкѣ, началъ торжественнымъ, немного театральнымъ, голосомъ:

— Это вамъ, возложившая руки свои на рало и

не оглядывающаяся назадъ. Это мы вамъ вкупѣ и влюбѣ съ отцомъ Ѳеодосіемъ подносимъ. Такого букета вы во всемъ городѣ не найдете. Цвѣты и зелень самъ отецъ Авель, лучшій здѣшній садовникъ, набралъ, самъ же онъ и букетъ сочинилъ. Жаль, что вы отца Авеля не увидите, уважаемая. Рѣдкостнѣйшій человѣкъ!—заторопился снова Платонычъ, впадая въ свой обычный топъ:—воистину авельская беззлобная душа. Ни разу я его еще злымъ не видалъ. Все въ жизни, радуясь, принимаетъ человѣкъ. На все зло человѣческое, на всѣ бѣдствія земныя—одна поговорка у него: „по грѣхамъ-то мало“. По какому-то недоразумѣнію онъ, этотъ беззлобный созерцатель, здѣсь, а не въ Индіи гдѣ-нибудь родился: настоящій буддистъ, съ цвѣтами разговариваетъ и въ переселеніе душъ такъ же просто и крѣпко, какъ другіе въ безсмертіе души, вѣритъ.—Смерти,—говоритъ,—для того, кто одинъ разъ родился, нѣтъ... Это все пустое, это все городскіе комнатные люди выдумали. Каменными клѣтками,—говоритъ,—они отъ Божьяго свѣта и отъ самихъ себя отгородились, потому ничего, кромѣ себя, не видятъ и не помнятъ.

— Теперь онъ черезъ меня съ Алешей, съ гимназистомъ тѣмъ, подружился, на какой-то цвѣтокъ лотоса вмѣстѣ смотрятъ, очень сдружились и вмѣстѣ на Востокъ сбираются, гдѣ человѣческая вѣра родилась. Спросилъ я ихъ какъ-то: развѣ Богъ-то не вездѣ одинъ?—Отвѣчаютъ: Богъ-то одинъ, да не вездѣ люди одинаково близко къ нему подходили, и не вездѣ онъ самъ имъ являлся. На Востокѣ,—говорятъ оба,—и люди, и звѣри, и деревья, и вода, и горы—все сильное, все могучее, издавна съ вѣчностью одинъ-на-одинъ споръ затѣяли... А здѣсь у насъ и люди, какъ листья, и листья, какъ люди... Все мелкіе, трусливые, всегда сомнѣваются, вѣчно трясутся, другъ ко другу жмутся, стадами живутъ, отъ вѣчности въ стойла свои золоченыя, гдѣ

глаза у нихъ совсѣмъ слѣпнутъ, прячутся...—Хилые они оба, въ чемъ жизнь держится, а уйдутъ отсюда, безпремѣннѣйше уйдутъ: тѣсно имъ здѣсь, неповадно. Имъ со всѣмъ міромъ обняться хочется...

Дѣвушка смотрѣла на букетъ, и вмѣстѣ съ запахомъ свѣже-сорванныхъ цвѣтовъ и нѣжной молодой зелени на нее струилась наивная, трогательная ласка странныхъ людей изъ чуждаго, почти позабытаго ею міра.

— Смотрите, какихъ орхидей отецъ Авель насобиралъ,—и Платонычъ вынулъ изъ букета нѣсколько причудливыхъ цвѣтковъ, очертанія которыхъ дѣвушка смутно различала въ полумглѣ.

— Это всенепремѣннѣйше какая-нибудь символика,—заулыбался Платонычъ.—Отецъ Авель безъ символовъ не можетъ. Онъ у насъ, какъ второй Адамъ, каждому цвѣтку свое особое названіе имѣетъ и значеніе приписываетъ. Я видалъ и раньше эти цвѣты съ паучьимъ обличьемъ. Отецъ Авель ихъ сладострастниками зоветъ и мнѣ не разъ грозился, что, если я не покаюсь, моя душа по смерти въ такой цвѣтокъ воплотится.

Минуту длилось молчаніе. Дѣвушка, внимательно вглядываясь въ цвѣты, перебирала ихъ легкими и быстрыми движеніями пальцевъ. Она искала, она хотѣла уловить весь тайный смыслъ, вложенный въ букетъ людьми, для которыхъ все на свѣтѣ было неясно и загадочно, все было полно своей особой сокровенною жизнью. И ей хотѣлось какимъ-нибудь однимъ сильнымъ ударомъ навсегда уничтожить злое очарованіе, въ какомъ наяву, но словно въ злой сказкѣ, зачарованными и обезсиленными жили цѣлыя поколѣнія людей.

— Это случилось со мною какъ разъ въ ночь наканунѣ весенняго Николина дня,—всего пять лѣтъ тому назадъ, но кажется мнѣ, что цѣлую новую жизнь прожилъ я уже съ тѣхъ поръ, и вотъ и она кончается.

Тихіе и пѣвучіе слова Юноши незамѣтно вплетались въ стройную музыку ночи.

И не удивились, нисколько не удивились ни Платонычъ, ни дѣвушка, что Юноша самъ, первый, прервалъ ихъ молчаніе и сталъ разсказывать о себѣ, точно такъ и нужно было, точно ждали они его тихихъ и пѣвучихъ словъ. А Юноша, низко склонивъ къ колѣнямъ свою голову и тихонько покачиваясь вмѣстѣ съ размѣреннымъ теченіемъ своей рѣчи, весь какъ-то сжался, полузакрылъ глаза, и, видно было, самъ, прислушивался и удивлялся своимъ мыслямъ, которыя вырывались наружу помимо его воли.

— Знаю, какъ только убѣжитъ отъ насъ испуганная яркимъ солнцемъ черная тѣнь земли и скроются за солнечною голубою занавѣсью далекія небесныя свѣтила, знаю, стану жалѣть, что обнажилъ передъ вами душу свою. Но въ эту страшную живую ночь нѣтъ силъ, нѣтъ терпѣнія, нѣтъ болѣе мужества бороться одинъ-на-одинъ съ призраками прошлаго. Они обступили меня, они кивають мнѣ, они свѣтятъ мнѣ отблесками безвозвратно отжитой жизни, они тревожатъ и зовутъ меня къ себѣ, какъ эти трепетные звѣздные лучи, можетъ-быть, давно потухшихъ и догорѣвшихъ міровыхъ огней.

— Что-то непонятное, невыразимое, мучительное и радостное вмѣстѣ дѣлается со мною. Я знаю — я боленъ, я скоро умру. Мнѣ это недавно сказали мои ласковыя, мои заботливыя, мои безсонныя ночи. Онѣ снова пришли ко мнѣ. Зоркія, онѣ стерегутъ меня; чуткія, онѣ отгоняютъ отъ меня трудолюбивый, никогда не устающій сонъ. Сонъ покинулъ меня: онъ не разбиваетъ больше мою жизнь на безчисленныя и мелкія, какъ песокъ, зерна отдѣльныхъ событій; онъ не разрѣзаетъ больше мою жизнь на неуклюжія и уродливыя плиты пережитыхъ дней, не бросаетъ ихъ со всего размаху въ ненасытную пропасть прошлаго, куда онѣ

летятъ, сталкиваясь, разбиваясь и перемѣшиваясь другъ съ другомъ. Останавливается моя жизнь, исчезаетъ время. Не утомительною вереницею, какъ раньше, а дружнымъ веселымъ хороводомъ кружатся около меня дни и ночи. Дивные восторги одинокаго безстрастнаго созерцанія переживаю я, но тѣмъ сильнѣе во мнѣ загорается мгновеніями издавна знакомая мучительная, безумная жажда освободиться отъ сознанія, бѣжать отъ своихъ мыслей, утопить себя въ дѣйствіи — пусть безразсудномъ и дикомъ, лишь бы въ дѣйствіи... Я ненавижу тогда свои мысли. Я знаю, это онѣ укротили, обезсилили и лишили меня жизни. Я хочу мстить имъ за это, я хочу убить ихъ вмѣстѣ съ собою... Самоубійство— вотъ мой единственный выходъ, — думаю я: оно одно утолитъ мою жажду, оно одно дастъ мнѣ желанное блаженство—перелить всего себя въ дѣйствіе и небывалымъ мгновеннымъ напряженіемъ своей воли погасить навсегда весь отравленный міръ моихъ мыслей и чувствъ. Такъ думаю я... Но изъ темной дали прошлаго свѣтитъ мнѣ странный, загадочный мигъ, когда захватившій всего меня дикій и дерзкій порывъ былъ остановленъ, былъ укрощенъ сознаніемъ. Снова кажется мнѣ, что сознаніе спасло меня отъ непоправимаго преступленія; что пять лѣтъ неустаннаго исканія привели меня на край истины; что вотъ-вотъ она откроется, и я узнаю міровую загадку — все станетъ яснымъ, не будетъ больше смерти, и я уже не умру. И снова мучительно хочется жить, еще одинъ день, одинъ часъ, одно мгновеніе, — такъ мечется моя уставшая мысль между страхомъ и жаждою жизни, и еще загадочнѣе становится міръ, въ которомъ вотъ я уже доживаю послѣдніе дни...

Юноша поднялъ голову, выпрямился и внимательно поглядѣлъ изъ-подъ очковъ своими спрашивающими, усталыми глазами сначала на своихъ слушателей, потомъ въ почную тьму. Искалъ отзвука своимъ чувствамъ,

отвѣта своимъ думамъ, одинокій, заблудившійся въ жизни человѣкъ, который доживалъ послѣдніе дни — искалъ отзвука, и не было его...

Страстная весенняя ночь попрежнему пѣла всѣми своими голосами, объятая безумнымъ восторгомъ творчества и чуждая скорбному сознанію, вѣчно влюбленному въ то, чего уже нѣтъ, что уже пережито...

А два человѣка, нѣмые и молчаливые, слушали, какъ жаловался ихъ братъ, ихъ другъ, ихъ товарищъ, не сумѣвшій разгадать тайну жизни.

— Знаете, — раздалась снова тихая, мѣрная рѣчь Юноши, — порою я самъ не вѣрю своему прошлому; какъ на чужого себѣ человѣка, смотрю на самого себя издали. Злой, развратный, грязный былъ я человѣкъ. Невыразимая злоба ко всему міру заполняла всего меня. Самъ безрадостный, не обласканный, ненавидѣлъ я, какъ своихъ злѣйшихъ враговъ, всякую нѣжность и ласку. Слишкомъ рано и безъ сожалѣнія переступилъ я порогъ своей юношеской невинности. Страстная, невыразимая жажда влекла меня къ женщинамъ. Въ этой жаждѣ должно быть таилась искра моей болѣзни: какъ паразитъ, неспособный жить собственными своими силами, тянулся я въ какомъ-то безсознательномъ порывѣ къ доступнымъ мнѣ женщинамъ, чѣмъ дальше, тѣмъ больше заражаясь сладострастною жестокостью, проникаясь неутолимымъ стремленіемъ обезличить, унизить, свести ихъ къ какому-то лишенному своей собственной воли и сознанія физіологическому придатку...

— Одна была свѣтлая точка въ моей жизни: мой голосъ и страсть къ пѣнію. Полнымъ звуковъ, немолчно поющимъ казался мнѣ міръ. Но и этотъ хорошій задатокъ грозилъ обратиться противъ меня. Я уже попалъ въ архіерейскіе пѣвчіе и непремѣнно бы спился или былъ безвозвратно сметенъ неудержимымъ вихремъ страсти къ женщинѣ, если-бъ не встрѣча съ дѣвушкою

совершенно изъ другого міра, которая выбила меня навсегда изъ моей жизненной колеи.

— Какъ-то на одной вечеринкѣ, въ семьѣ, куда меня изрѣдка приглашали изъ-за голоса, былъ я въ звучащемъ настроеніи, внѣ себя отъ затопившей меня сердечной тоски. Не видя, не слыша ничего, пѣлъ, а очнулся, когда предо мною стояла веселая дѣвушка и, пожимая мнѣ руку, говорила слова — они и сейчасъ еще звенятъ во мнѣ: — простите меня, я считала васъ очень плохимъ человѣкомъ, про васъ столько плохого разсказываютъ, но это неправда: когда вы поете, хочется плакать... Если вамъ тяжело будетъ, заходите ко мнѣ, я буду рада...—Сказала скороговоркою и, не дожидаясь отвѣта, ушла. Звонкій, звенящій былъ у нея голосъ, ласковый, какъ шелестъ молодой весенней листвы, и имя у нея было на рѣдкость пѣвучее: Юліей ее звали, и сама она вся какая-то прозрачная, звучная, смѣлая, вотъ, какъ и вы, Лидія, куда-то быстро идущая.

Юноша остановился и нѣсколько разъ приложилъ къ разгорѣвшемуся лицу свои холодныя руки, а дѣвушка,— Платонычъ ясно замѣтилъ это, — заботливо поправила на Юношѣ сползшій назади, въ накидку наброшенный плащъ.

— Долго боролся я самъ съ собою, не хотѣлось мнѣ сдаться передъ женскою ласкою, но, наконецъ, не вытерпѣлъ и зашелъ къ Юліи какъ-то въ ненастный осенній вечеръ, когда такъ пусто, сыро и холодно, какъ на улицѣ, становится на душѣ. Съ веселымъ смѣхомъ, словно родного, приняла она меня въ своей уютной комнатѣ съ роялью, цвѣтами, картинами и книгами, вся звучная, веселая и радостная. Огневая натура была у нея. Смѣло, безъ оглядки, впередъ шла она, не зная остановокъ, не видя преградъ. Шагъ-за-шагомъ, сначала почти со злобою и тайною ненавистью передъ ея силой, уступалъ я ея волѣ, бросалъ пьянство, раз-

гулъ, одного за другимъ терялъ своихъ прежнихъ друзей... Она сумѣла дать все, чего не хватало мнѣ съ самаго дѣтства: и материнскую заботливость, и нѣжность сестры, и ласки любимаго человѣка..

— И полюбилъ я ее всю, безъ остатка, безъ мысли о прошломъ и будущемъ: каждый звукъ ея голоса, каждый, едва уловимый трепетъ ея жизни, каждую складку ея платья. Далеко назадъ уходила моя прежняя жизнь, но порою во мнѣ вспыхивала оставшаяся отъ прежней жизни, не совсѣмъ еще укрощенная страсть къ женщинѣ. Временами, помимо моей воли, помимо моего сознанія, дикое и безумное желаніе пронизывало все мое существо: взять ее всю себѣ, спрятать отъ другихъ людей, слить навсегда ея жизнь съ моею,— пусть на одинъ короткій мигъ, но безраздѣльно и неразлучно. Это были мгновенія дикаго безумія; это были сумасшедшія мечты... Она была для меня больше, чѣмъ женщина: она была для меня лучшимъ человѣкомъ во всемъ свѣтѣ, и я не зналъ, какъ избавиться, куда дѣться отъ тяжелаго, распалявшаго меня искушенія. Въ такія минуты защиты отъ самого себя искалъ я въ ея ясныхъ и смѣлыхъ глазахъ. Она смотрѣла на меня, и я смирялся, какъ дикій звѣрь, и куда-то далеко внутрь пряталась неясная грозящая возможность, въ пришествіе которой я не могъ, не хотѣлъ, не смѣлъ, боялся вѣрить.

Чувствовалось видимое утомленіе въ Юношѣ: онъ съ трудомъ подбиралъ звучную вереницу словъ, чтобъ одѣть ими свое обнажавшееся прошлое. Настроеніе какого-то страстнаго, долго сдерживавшагося прилива откровенности передалось Платонычу и дѣвушкѣ, разбудивъ въ нихъ чуткую бережливую нѣжность, и они словно замерли, боясь помѣшать Юношѣ неосторожнымъ словомъ или движеніемъ.

Еще сильнѣе пахло цвѣтами, но уже утомились страстные голоса ночи, стали звучать тише и рѣже...

Передвинулись къ западу блестящіе узоры звѣзднаго неба. Съ затихшаго гостинаго двора рѣдко-рѣдко доносился одинокій шумъ и движеніе.

— Помню послѣднюю весну, яркую цвѣточную гирлянду дней, проведенныхъ вмѣстѣ; какъ сейчасъ, вижу послѣдній день. Облачный и шумливый — весенній день.

— Взявшись за руки, въ чудномъ непрерывномъ снѣ бродили мы съ Юліей безъ тропокъ по проснувшимся и нарядившимся въ новую яркую зелень перелѣскамъ. Звенѣла молодая, веселая листва, шумѣли, журчали недолговѣчные весенніе ручьи. Въ лѣсу и въ полѣ цвѣли нѣжные—желтые, синіе, бѣлые—цвѣты, а сверху имъ улыбалась первая весенняя радуга. То и дѣло, шелъ веселый, смѣющійся на солнцѣ дождь—все звенѣло и смѣялось вокругъ...

— А мы становились подъ деревья, заглядывали другъ другу въ глаза и смѣялись, какъ и все, въ тотъ веселый, радужный день.

— Звенѣлъ дождь по звонкимъ молоденькимъ листьямъ, тихо плескалась и шелестѣла, уходя въ рыхлую землю, дождевая вода.

— А мы цѣловали другъ друга... И все ходили изъ одного перелѣска въ другой, по свѣже-постланнымъ зеленымъ скатертямъ луговъ... Спускались по густымъ мокрымъ зарослямъ на берегъ звучныхъ каменистыхъ ручьевъ... Выходили на дороги къ кричащимъ деревнямъ, и всюду,—отъ насъ и къ намъ—неслась веселая и громкая, радостная пѣснь...

— Только неуловимыми мгновеніями дрожала гдѣ-то внутри меня неясная, подстерегающая тревога.

— Незамѣтно пришелъ вечеръ, и мы очутились надъ Волгой.

— Кругомъ насъ стояли высокія, развѣсистыя и молчаливыя сосны, просвѣчивалъ изумѣнчиво-яркій закатъ сквозь густое кружево иглистой зелени; тихая и тем-

пая разстилалась внизу, подъ обрывомъ, засыпавшая рѣка.

— Быстро меркла заря... Отовсюду насъ обступала многозвучная весенняя ночь, полная неуловимаго, непрерывнаго плеска, шелеста, шороха.

— Это была та же самая ночь, что и сегодня, но сейчасъ на каждый звукъ, на каждую пѣсню безпокойнымъ вопросомъ отвѣчаетъ мое сознаніе, моя мысль, которая не въ силахъ примирить соловьиныя трели и монастырскія келіи...

— Въ ту ночь съ каждымъ вновь просыпавшимся ночнымъ звукомъ замирало мое сознаніе, а во всемъ существѣ моемъ рождалась страстная, неудержная пѣснь, и я, не помня себя, пѣлъ, заглядывая Юліи въ лицо и цѣлуя ее:

„А я люблю тебя, милая Юлія; я люблю тебя, славная Юлія“.

— И всѣмъ звукамъ поющей ночи посылалъ я въ отвѣтъ свою радостную пѣсню: „Я люблю тебя, милая Юлія“.

— Какъ пасхальная служба шла вокругъ меня... Заглушить хотѣлъ я всѣ звуки своимъ радостнымъ, неизмѣннымъ припѣвомъ; хотѣлъ прогнать подымавшіеся со дна души и печаль, и тоску, и страхъ передъ чѣмъ-то близкимъ и роковымъ.

— Должно быть, мое волненіе и боязнь передались ей, и она спросила: „что ты сегодня такой безпокойный и такой недужный?

— „Недужный,“ сказала она: хоронила въ этомъ словѣ, старомъ и непривычномъ, новую для себя боязнь.

— Я люблю тебя,—говорилъ я, какъ въ забытьи,—я люблю тебя,—повторялъ я упрямо въ отвѣтъ на ея короткія рѣчи, въ отвѣтъ на ея мечты, въ отвѣтъ на ея надежды о томъ, какъ мы будемъ жить вмѣстѣ, гдѣ-то въ далекомъ и бурномъ городѣ, работая для счастья людей—слова, которыми она укрощала всегда мою страсть.

— Прошелъ внизу пароходъ, блеснулъ огнями, веселый шумъ и плескъ оставилъ послѣ себя. Тише и темнѣе стало кругомъ, когда исчезли его огни и затихли разбуженные имъ звуки.

— Вотъ такъ же ты уйдешь отъ меня, блистая огнями,—сказалъ я съ горькимъ упрекомъ Юліи,—ты кинешь меня, а ты для меня дороже всего на свѣтѣ.

— Стало тихо, необычно тихо между нами послѣ горькихъ, плачущихъ словъ...

— Она все еще стоитъ во мнѣ не тронутой, эта томительная промежуточная тишина.

Платонычъ и дѣвушка невольно переглянулись, и Платонычу показалось, что на веселомъ лицѣ дѣвушки отразилось настроеніе душевной муки, какую переживалъ Юноша...

— Пойдемъ внизъ, къ Волгѣ, — шепнула она и, вырвавшись изъ моихъ рукъ, стала быстро спускаться внизъ по узкой, глинистой, скользкой послѣ дождя тропинкѣ.

— Я побѣжалъ вслѣдъ за нею и скоро догналъ ее. Она шла съ трудомъ, ноги ея скользили, она часто спотыкалась.

— Мы свернули съ тропинки, стали спускаться цѣлиною, цѣпляясь за липкіе стволы, колющія вѣтви какихъ-то гибкихъ деревьевъ и кустовъ... Они шумѣли надъ нами своими потревоженными верхушками, порою окропляли насъ нежданными брызгами, и я вспоминалъ пережитый радужный, смѣявшійся подъ дождемъ на солнцѣ день. Уже слышно было, какъ журчала около береговъ весенняя быстрая вода.

— Вдругъ тонкій стволъ маленькаго деревца, за который схватилась Юлія, споткнувшись, не выдержалъ, сломился, и она быстро скользнула внизъ по обнаженной проталинкѣ между купами деревьевъ.

— Я видѣлъ, какъ она всею тяжестью своего тѣла ударилась о переднее деревцо, какъ оно, описавъ въ

воздухѣ полудугу, съ трепетнымъ, жалобнымъ шелестомъ прижалось своею густою вершинкою къ ближнимъ деревьямъ.

— Странный, чуждый ночи сухой трескъ сломившагося дерева, густой шелестъ отъ переплетавшихся между собою вѣтвей—помчались во всѣ стороны, всюду пробуждая въ лѣсу отвѣтные звуки. Далеко во всѣ стороны передавалась тревожная вѣсть о сломленномъ деревѣ...

— Когда я подошелъ къ ней, она стояла, вся трепещущая, безсильная, безвольная, объятая жуткимъ страхомъ, боясь шевелиться.

„Милый мой, я не знаю, что со мною. Я не знаю, мнѣ страшно,"—лепетала она, и слова ея были непривычно-чужія, а сама она страшно близка.

— Я обнялъ ее, и мы вмѣстѣ опустились на верхушку сломившагося деревца.

— Выше сталъ лѣсъ, гуще и тѣснѣе сомкнулась надъ нами зеленая крыша, дальше ушли и почти замерли всѣ ночные звуки...

Платонычъ и дѣвушка снова переглянулись, и оттого, что они жадно и напряженно слушали сейчасъ одного только Юношу, имъ обоимъ показалось, что и въ самомъ дѣлѣ кончаются, замираютъ, уходятъ куда-то всѣ ночные звуки.

— Она лежала у меня на рукахъ, закрывши глаза; я видѣлъ только ее, а все вокругъ меня было темно. Изрѣдка глаза ея открывались, въ темнотѣ свѣтилъ свѣтъ, я вздрагивалъ весь отъ какихъ-то нежданныхъ толчковъ... И снова щемящее чувство тоски подымалось во мнѣ, тоски передъ неизвѣстнымъ и неотвратимымъ.

— Вдругъ ее всю охватилъ бурный и дикій порывъ. Она стала обнимать меня, и сквозь слезы и смѣхъ зазвенѣли желанныя слова:

„Милый, я тоже люблю, я давно люблю тебя!"

— Она плакала, она смѣялась, закрывая глаза мнѣ своими руками; она цѣловала меня.

— Знаете, въ каждой ночи есть удивительный мигъ, мигъ высшаго напряженія, когда она, какъ брошенный кверху камень, истощивъ всю свою силу, вдругъ замираетъ и останавливается, и съ нею останавливается все, что затаилось въ ея мракѣ...

— Тогда исчезаетъ время, рождается чудо; все ,только мыслимое, становится возможнымъ; все, только возможное, воплощается въ жизнь.

— Тогда цвѣтутъ никогда не цвѣтущія травы; смыкаются таинственные круги надъ людьми, бросившими дерзкій вызовъ жизни; разверзаются невидимыя бездны; являются умершіе люди, и безсмертное страстно цѣлуется и вѣнчается съ смертнымъ.

Юноша весь оживился, его слова стали увѣренными и тоже вызывающими, онъ спорилъ съ кѣмъ-то, убѣждалъ кого-то.

Онъ остановился, прислушиваясь, и съ какимъ-то страннымъ торжествомъ поглядѣлъ вокругъ...

Совсѣмъ тихо и беззвучно стало кругомъ. Недвижно и безмолвно стояла Старая Лавра. Чутко замеръ объявшій ее ночной мракъ, и Платонычу вспомнилось недавнее ночное катанье на лодкѣ.

— Не помня себя, въ безумномъ небываломъ, восторгѣ, какого я не переживалъ ни раньше, ни позже, я отнялъ отъ своего лица ея руки, я сталъ обнимать ее, сталъ цѣловать, гладить, ласкать ее... я рвался отыскать, почувствовать, ощутить ее всю... всю.

...Я началъ судорожно рвать ея одежду, я обнажалъ ее и вдругъ сквозь безумный вихрь я услышалъ ея тихій, ея молящій голосъ:

„Пожалѣй меня!.. Мнѣ страшно, мнѣ больно, я не хочу“...

— Весь безумный порывъ, вся страсть моя, съ буйнымъ разбѣгомъ ударившись о слова жалости, превратилась въ яркое, огненное, молніеносное сознаніе, и я, какъ никогда, ясно, всѣмъ существомъ своимъ почувство-

валъ, что я хотѣлъ убить, раздробить ее на новыя существа, умертвить своею собственною рукою самое дорогое для меня въ жизни, обезличить, разбить самаго дорогого для меня человѣка.

— Невыносимый стыдъ охватилъ меня, и я потерялъ сознаніе.

Юноша остановился, весь задыхаясь отъ затопившихъ его чувствъ. Онъ, видимо, какъ бываетъ во снѣ, съ бо̀льшею силою, чѣмъ наяву, переживалъ все то, что когда-то навсегда нарушило его душевное равновѣсіе.

Дѣвушка, сильно волнуясь, поднялась со скамейки и хотѣла что-то говорить, но снова раздались тихія, пѣвучія слова Юноши.

— Чужимъ себѣ, какимъ-то опустошеннымъ, новымъ человѣкомъ очнулся я.

— На пышномъ заревѣ разсвѣтной зари вырисовывались легкія весеннія очертанія деревьевъ; весело и звонко раздавалось въ лѣсу утреннее пѣніе птицъ; по Волгѣ клубился легкій дымъ тумана. Онъ быстро расплывался и исчезалъ.

— Усталымъ, печальнымъ голосомъ говорилъ я Юліи свои прощальныя слова, послѣднія слова человѣку, котораго я любилъ больше всего на свѣтѣ.

— „Прощай и прости меня, милая, славная, Юлія. Уходи скорѣй отъ меня, оставь меня навсегда. Я оскорбилъ тебя, но ты уйдешь отъ меня, свободная и независимая, какъ пришла. Въ эту ночь я чуть не раздробилъ твою личность, я чуть не отнялъ тебя и у тебя самой, и у твоего дѣла. Прости меня, Юлія: ты знаешь, я любилъ тебя такъ, какъ никто не полюбитъ".

— Ничего не сказала она мнѣ въ отвѣтъ, только поцѣловала въ голову и ушла.

— За нею ушла слѣдомъ моя страшная ночь, а я все сидѣлъ, нѣмой и строгій, и въ моей головѣ поднимались новыя, чужія, незнакомыя мнѣ мысли и чувства.

— Мнѣ хотѣлось убить себя, уничтожить, выкинуть

изъ жизни, потому что вотъ—видѣлъ я—ушла моя единственная любовь, и стала жизнь безцвѣтна, беззвучна, безрадостна.

— И я убилъ бы себя, если-бъ рѣзко и мучительно не сталъ предо мною, требуя немедленнаго рѣшенія, вопросъ: гдѣ ложь и гдѣ правда,—въ моемъ страстномъ порывѣ, въ безумной жаждѣ творчества, или въ сознаніи, которое остановило мой буйный разбѣгъ и отрезвило меня глубокою жалостью; въ ея странныхъ словахъ о любви ко мнѣ, или въ тихой жалобѣ, въ плачущей просьбѣ о состраданіи—гдѣ ложь и гдѣ правда?

— Странное что-то, безумное, похожее на бредъ, на сплошное сумасшествіе, началось у меня съ тѣхъ поръ. Какъ будто отрекся я отъ міра клятвеннымъ, нерушимымъ отреченіемъ; точно вся жизнь моя достигла въ тотъ буйный мигъ своего напряженія, своего зенита и снова быстро стала падать въ неизвѣстный, родившій ее хаосъ...

— Жалость и состраданіе, остановившія меня, все сильнѣе, все глубже стали проникать все мое существо. Мало-по-малу я началъ жалѣть не только людей, но звѣрей, птицъ, деревья, всѣ растенія, всѣ жизни, все живое. Меня охватывало состраданіе даже къ вещамъ, и я не могъ жить, не могъ двигаться, не испытывая тяжелаго чувства: всюду мнѣ чудился тихій, плачущій голосъ, молившій о состраданіи. Я сталъ бояться самого себя; я пересталъ вмѣшиваться въ жизнь; я ушелъ отъ живой жизни...

— Я ушелъ въ обширный, необозримый міръ человѣческихъ мыслей, думъ и грёзъ, оставленный намъ въ наслѣдство отъ прошлаго. Неутомимымъ странникомъ скитался я по пустынямъ отвлеченной мысли въ поискахъ за разрѣшеніемъ своихъ вопросовъ. И вездѣ—въ пламенныхъ религіозныхъ вѣрованіяхъ и холодныхъ философскихъ системахъ, въ замысловатыхъ научныхъ изслѣдованіяхъ и въ простыхъ, безхитрост-

ныхъ разсказахъ о жизни—вездѣ двуликимъ и двунапѣвнымъ открывался для меня загадочный міръ. Всюду за буйными, радостными кликами побѣдителей я слышалъ тихіе, жалобные стоны побѣжденныхъ, вездѣ рядомъ съ смѣлымъ, мятежнымъ призывомъ къ наслажденію, къ борьбѣ за себя, за свое счастье,—я слышалъ участливыя слезы состраданія, кроткій отказъ отъ себя самого; я видѣлъ добровольную невинную жертву за всѣхъ и ради всѣхъ.

— Вотъ, передо мною уже стоитъ смерть, а я еще не сыскалъ себѣ отвѣта. Вотъ умру я, какъ умерли до меня цѣлые миріады живыхъ существъ, а міровая рѣка попрежнему будетъ течь между двумя своими несоединимыми берегами—жизни и смерти, радости и печали, борьбы и состраданія. Будетъ течь до тѣхъ поръ, пока не явится Человѣкъ, который перекинетъ, наконецъ, нерушимый мостъ, потушитъ міровую скорбь и зажжетъ негасимое солнце веселья и неумирающей радости. Я чувствую, что время это—скоро, скоро, что послѣдними умираемъ мы, жившіе въ неразрѣшимыхъ и скорбныхъ сомнѣніяхъ и не нашедшіе пути къ радостному безсмертію...

Замолчалъ Юноша. Точно кто потушилъ его огонь, не далъ ему высказать всего, что горѣло и искрилось въ его сердцѣ.

Дрогнула ночь, заколебалась, отхлынула немного отъ Старой Лавры... Ушла къ потемнѣвшимъ зарослямъ и рѣчнымъ спускамъ. Еще темнѣе стало внизу, а сверху, чудилось, уже дрожатъ чуть уловимые солнечные лучи, и трепещутъ готовыя спуститься на землю, неясныя и прозрачныя предразсвѣтныя тѣни.

Неожиданно раздался звонкій, веселый, напряженно-нервный смѣхъ дѣвушки:

— Юноша! Жизнь сыграла съ вами плохую шутку,— заговорила она, и въ каждомъ словѣ ея задрожали буйная радость и веселье.—Отказавшись отъ безумной радости творчества, вы остановились затѣмъ, чтобы

осмыслить и осознать жизнь, а она безостановочно побѣжала, стремительно понеслась мимо васъ, и вотъ принесла васъ на край могилы, и не васъ одного. Въ стройной, порою изящно-блестящей паутинѣ словъ и мыслей, которую постоянно ткетъ человѣческое сознаніе изъ опыта прошлаго, очень часто безпомощно запутывается дерзкая воля самаго смѣлаго человѣка. Прожорливый паукъ прошлаго высасываетъ кровь изъ живой и радостной страсти человѣка, влекущей его впередъ, къ неустанному дѣйствію, къ свѣтлому, неисчерпаемому творчеству для новаго и будущаго міра. Если-бъ не было мгновеній сладкаго забытья, когда на огнѣ страсти испепеляются всѣ думы о прошломъ, перестала бы цвѣсти новыми поколѣніями человѣческая жизнь; заглохла, запылилась, запаутинилась бы она, если-бъ не вырастали безжалостные къ прошлому, одержимые ненасытнымъ стремленіемъ къ будущему, люди...

— Юноша! Я васъ не совсѣмъ поняла, но для меня осталось яснымъ одно: въ вашу роковую ночь, когда грозились слиться на мгновеніе ваши пути съ Юліей, вы оба одинаково ужаснулись своего будущаго. Но она, ваша смѣлая любовь, Юноша, она пошла впередъ, на великое дѣло обновленія, преображенія человѣческой жизни. Почему же вы, Юноша, почему вы не пошли за нею, куда она звала васъ? почему вы зацѣпились за старые предразсудки, застряли въ старыхъ противорѣчіяхъ? почему вы, какъ почти всѣ, о комъ говорилъ сегодня Платонычъ, къ прошлому обратили свои вопросы о жизни? Вы хотѣли осмыслить то, что случилось, — говорите вы, — хотѣли осознать жизнь. Но жизнь — вѣчное движеніе, и не дается смыслъ ея въ руки тому, кто хоть разъ остановился на мѣстѣ.

— Милый Юноша! Вы, какъ жена Лота, оглянулись назадъ и мгновенно изъ живого человѣка, который бѣжалъ отъ обреченнаго на гибель стараго города, обра-

тились въ соляной столбъ, — и вотъ онъ долгіе годы будетъ стоять при дорогѣ и пугать мимо идущихъ своимъ каменнымъ обличіемъ, въ которомъ навсегда запечатлѣлись былая жизнь и движеніе. Да и не вы одинъ, Юноша,—цѣлыя поколѣнія людей живутъ и умираютъ, отравленныя мыслью о прошломъ...

— Я много видѣла городовъ, стоящихъ на большой дорогѣ, проложенной людьми въ неизвѣстное будущее, но и тамъ люди все еще видятъ сны прошлаго, все еще глядятъ съ любовью назадъ, и тамъ они все еще живутъ въ египетской кабалѣ и рабствѣ прошлому, боясь смѣлымъ, безумнымъ порывомъ навсегда оторваться отъ родныхъ береговъ.

— Юноша! И тамъ они безжалостно рвутъ чистые, молодые, долго не вянущіе цвѣты юношескихъ порывовъ; плетутъ изъ нихъ пышные вѣнки и кладутъ ихъ на могилы умершихъ истинъ, и тамъ они губятъ молодую жизнь на то, чтобы стеречь и строить несчетныя гробницы своимъ усопшимъ пророкамъ.

— Юноша! Спасеніе и счастіе людей впереди, а не сзади, въ щедромъ и расточительномъ безуміи творчества Новаго, а не въ жадномъ и бережливомъ умѣ сохраненія Стараго.

— Идетъ время, Юноша, когда смѣлые люди сметутъ безъ сожалѣнія всю старую постройку; идетъ время, когда нужно выжечь изъ себя любовь къ прошлому. Всякій, у кого сохранилась хоть капля любви къ старинѣ, ко всему, что было создано человѣкомъ въ прошломъ, непадежепъ для будущаго, не сможетъ до конца бороться за счастье и свободу человѣка въ будущемъ. Самъ жертва прошлаго, онъ рано иль поздно станетъ приносить кровавыя человѣческія жертвы идоламъ и кумирамъ, созданнымъ его собственными руками и измышленнымъ его собственнымъ мозгомъ. Преклоненіемъ передъ всякимъ созданіемъ человѣка сѣется зерно будущаго рабства, будущаго униженія—и

чѣмъ лучше зерно, тѣмъ сильнѣе дерево, тѣмъ позорнѣе униженіе.

— Юноша! Мы знаемъ, что всякій общественный строй грозитъ обратиться изъ спасительной въ запрещающую спасеніе человѣка Субботу. И мы поднимаемъ знамя бунта, знамя непрерывнаго бунта противъ всѣхъ исторически-сложившихся цѣнностей, кромѣ одной—самого всецѣнящаго Человѣка. Мы зовемъ на бунтъ противъ насилія всюду и всѣхъ, кому дорогъ человѣкъ, одинъ только человѣкъ, а не трезвыя или безумныя измышленія его мозга, не созданія его рабскихъ или свободныхъ рукъ. Мы идемъ на непрерывное разрушеніе во имя вѣчнаго созиданія. Безпощадная война всему, что угнетало и калѣчило человѣка въ прошломъ, всему, что хочетъ гнести и подавлять его въ будущемъ. Мы съ корнемъ вырвемъ самое послѣднее и самое ужасное идолопоклонство человѣка — идолопоклонство передъ фактомъ, передъ тѣмъ, что стало, что устроилось, что вылилось въ законченныя рамки. Мы не пролили-бъ ни одной слезы сожалѣнія о гибели всей культуры, всего неизмѣримаго труда человѣка, если-бъ этой цѣною смогли купить себѣ счастье и свободу, ибо мы, люди, дороже своихъ дѣлъ, ибо не культура создала человѣка, а человѣкъ культуру.

— Мы зовемъ на свое дѣло тѣхъ, кто вѣритъ и знаетъ, что свободные и смѣлые люди сумѣютъ создать все заново, сумѣютъ обновить землю. Насъ мало, но мы сильны своей безконечною ненавистью къ старому; насъ мало, но силы наши удесятерятся, когда люди, наконецъ, устанутъ отъ сѣрыхъ будней своего голоднаго, тоскливаго и тихаго существованія, наши силы стануть неисчислимыми, когда на землю налетитъ грозный ураганъ безумія. Онъ уже встаетъ, онъ уже подымается надъ землею, пока еще тихій, пока еще чуть уловимый, ненасытный духъ разрушенія, духъ страстной жажды грядущаго обновленія, и уже изъ конца въ

конецъ земли проносится его грозное дыханіе. Оно освѣжаетъ, оно будитъ, оно зоветъ къ возстаніямъ.

— Мы раньше другихъ почувствовали этотъ зовъ и вышли со знаменемъ всеобщаго возстанія, всеобщей неустанной, безпощадной борьбы съ ненавистнымъ намъ прошлымъ человѣка во имя славнаго будущаго, которое уже кажетъ намъ свое грозное, призывное, неуловимое лицо.

— Мы знаемъ, пройдетъ еще немного времени, и бѣшеный, небывалый вихрь подымется по всей землѣ, смететъ трусливое людское стадо и оставитъ на землѣ только гордаго, смѣлаго и свободнаго Человѣка...

Дѣвушка замолчала, но кругомъ все еще трепетали, носились ея буйныя, ея дерзкія, вызывающія слова.

Платонычъ все время, пока она говорила, не отрывая глазъ, смотрѣлъ на нее, и ему казалось, что она росла съ каждымъ словомъ своимъ и все яснѣе отдѣлялась и вырисовывалась на свѣтлѣвшемъ ночномъ пологѣ. Дѣвушка заразила его своими мятежными мыслями, и онъ теперь готовъ былъ ринуться за нею, куда угодно.

— Симпатичнѣйшая встрѣча! — кричалъ онъ, прорѣзая тишину своимъ встрепенувшимся голосомъ.—Въ эту ночь я услышалъ необычайнѣйшія вещи. Родная моя! Своими словами вы меня съ самимъ собою и съ вами окончательно примирили, ей-Богу. Ваше творчество Будущаго на первобытный хаосъ, по которому я скучалъ, очень похоже. Вы на меня не сердитесь, родная, если слова мои вамъ въ шутку покажутся. Очень ужъ радъ Платонычъ. Ей-Богу, я давно такихъ словъ, какъ ваши, ждалъ. Вотъ Юноша говорилъ мнѣ: „нужно уйти отъ жизни, нужно беречь, щадить и жалѣть всякую жизнь“. А я такихъ словъ никакъ не могъ понять, просто въ натурѣ своей вмѣстить не могъ. И все кругомъ старалось усовѣстить меня, говорило о терпѣніи, о порядкѣ, сознательности и благоразуміи..

Я пытался бросить якорь, но еще сильнѣе бросала меня самого моя неудержная, стихійная натура по житейскому морю. И теперь вы меня разрѣшили, уважаемая. Недаромъ чуяло сердце Платоныча, что вы изъ обрекшихъ себя безъ оглядки, что хоть до времени вы свою ненасытнѣйшую страсть обнаружить не хотите, но не изъ тѣхъ, кто всеобщій безпорядокъ въ стройномъ порядкѣ произвести мечтаетъ.

— И полюбилъ я васъ, полюбилъ за одну эту ночь. Жить безъ васъ не могу. Не брезгуйте Платонычемъ. Возьмите его въ вашу бурную, хаотическую предразсвѣтную работу. Возьмите его! А не возьмете, — онъ, все равно, самъ броситъ здѣсь все и уйдетъ, всенепремѣннѣйше уйдетъ, уйдетъ одинъ.

Свѣтлѣло. Короткая весенняя ночь быстро убѣгала, и, какъ вѣстники утра, горѣли на востокѣ, за Днѣпромъ, разноцвѣтныя полосы утренней зари. Кончалось ночное весеннее очарованіе, и одна за другою вырисовывались лаврскія постройки, нависшіе надъ Днѣпромъ береговые обрывы выступали въ бѣломъ прозрачномъ свѣтѣ, который насквозь пронизывалъ всѣ предметы и не давалъ совсѣмъ тѣней. Утреннею прохладою тянуло снизу, отъ Днѣпра, и казалось, чуть-чуть шелестятъ своими листьями выплывавшія изъ темноты деревья.

— Возьмите Платоныча, Лидія, — говорилъ своимъ тихимъ, нѣвучнмъ голосомъ Юноша.—Будьте его, воспріемницею въ революціи, но только берегитесь его, не забывайте, что онъ — перебѣжчикъ, что ушелъ онъ къ вамъ изъ Старой, но еще не разрушенной Лавры. Я знаю Платоныча: въ немъ сидитъ такой же метафизикъ, какъ и во мнѣ, только я одержимъ сознаніемъ, а онъ — дѣйствіемъ. Бойтесь его: вамъ необходимы его богатырскія, не износившіяся въ жизненныхъ приключеніяхъ силы, — умѣйте взять ихъ, но берегитесь его смертнаго богатырскаго духа. Онъ своимъ востор-

женнымъ фанатизмомъ и мятежнымъ стремленіемъ къ необъятности задачъ вамъ все дѣло ваше можетъ испортить и все счастье ваше отравить.

— Вы сейчасъ торжественно отрекались отъ прошлаго, во сами вы съ вашими буйными мыслями и буйнымъ творчествомъ будущаго человѣческаго счастья—только послѣдній громкій отзвукъ того недавняго времени, когда люди отъ радости, что небеснаго вседержителя окончательно свергли, однихъ себя вѣнцомъ творенія объявили и на всесвѣтное господство вѣнчали. Для васъ, Лидія, революціонеровъ во имя человѣка, это, пожалуй, и хорошо: въ томъ ваша непреоборимая сила заключается, что вы отмежевали себѣ землю и рѣшили, во что бы то ни стало, устроиться здѣсь счастливо, ибо ни выше, ни ниже Человѣка вы никого признать не хотите, а Землею хотите владѣть безраздѣльно.

— Это не малая цѣль, и для нея не мало придется буйствовать на землѣ. Васъ ждутъ минуты тяжелаго одинокаго унынія и всеобщаго бурнаго ликованія... Не удивляйтесь, если въ минуту общаго горя Платонычъ „хвалите имя Господне“ воспоетъ или,—что еще выйдетъ хуже,—въ тотъ счастливый мигъ, когда вы свой вселенскій праздникъ въ честь своего единственнаго, недѣлимаго и неотъемлемаго отечества, Земли, праздновать будете, невзначай вмѣсто „многая лѣта“ обновленной землѣ „вѣчную память“ провозгласитъ и отъ счастливой и покойной жизни свободнаго человѣка снова навстрѣчу безпокойному Хаосу устремится.

Юноша снова весь оживился. Рѣчь его попрежнему была тиха, но теперь Юноша какъ-то переливался и воплощался въ каждомъ своемъ словѣ. Исчезали отдѣльныя слова, исчезали отдѣльныя мысли, но зато ближе и полностью раскрывался самъ человѣкъ, произносившій ихъ.

— Что же, Юноша? Значитъ, неправъ былъ Геологъ? Значитъ, вы остаетесь въ этихъ душныхъ, этихъ старыхъ стѣнахъ?—спрашивала дѣвушка.

— Нѣтъ, не останусь, — отвѣчалъ онъ съ тихой улыбкою,—меня раньше, чѣмъ вы Платоныча, уведетъ отсюда моя недалекая, моя близкая смерть. Но если бы я и остался жить, я не пошелъ бы за вами, Лидія, потому что вы можете осчастливить живущихъ, но не можете спасти умирающихъ, не можете и не хотите воскресить мертвыхъ. За вами не пойдутъ люди, въ трепетные глаза которыхъ хоть разъ заглянула близкая Смерть, ваша вѣрная союзница.

— Вы сейчасъ говорили,—да и раньше не отъ васъ одной слышалъ я не разъ такія мысли, — борьба неустанная, борьба безпощадная, безъ мысли о прошломъ, безъ жалости къ настоящему... Но гдѣ борьба — тамъ жажда побѣды, гдѣ побѣда—тамъ побѣжденные, тамъ стонъ, жалобы, кровь, тамъ—страшное лицо Смерти.

— Вы поднимаете знамя возстанія, повсемѣстнаго непрерывнаго возстанія противъ насилія человѣка надъ человѣкомъ, но увѣрены ли вы, что болѣе мятежныхъ, болѣе справедливыхъ среди васъ не возьметъ ужасъ предъ свободнымъ и счастливымъ властелиномъ Земли—Человѣкомъ? Увѣрены ли Вы, что они не поднимутъ знамя безпощаднаго бунта противъ самого Человѣка за его насиліе, за его власть и истребленіе всего остального живущаго?

— А если и не найдется такихъ, если создастся крѣпкій, сплоченный кровью побѣжденныхъ союзъ свободныхъ и равныхъ между собою властелиновъ земли; если будутъ уничтожены или обращены въ позорное рабство всѣ животныя и всѣ растенія земли, и не съ кѣмъ уже будетъ человѣку спорить изъ-за обладанія землею, то, неужели вы думаете, прекратится борьба и ея вѣчная спутница, ненасытная Смерть?

— Людямъ и сейчасъ уже тѣсно на землѣ. А тогда они, гордые и смѣлые завоеваніемъ земли, сильные прекращеніемъ раздоровъ и сплоченностью, сумѣютъ, наконецъ, разомкнуть земной кругъ. Счастливые соб-

ственники земли, они захотятъ присвоить себѣ солнце, они заведутъ безпощадную борьбу съ обитателями сосѣднихъ міровъ. О, это будетъ самая яркая, самая поэтичная борьба за обладаніе солнцемъ, но и въ ней, постоянной и вѣрной союзницей вашей будетъ гасящая сознаніе Смерть.

— Вы говорите, что уже вѣетъ надъ землею духъ вселенскаго Возстанія... Если это правда, то меня во-время уводитъ отсюда моя недалекая Смерть, ваша вѣчная союзница, знающая сроки, вѣрная рабыня Будущаго, ибо все же врагомъ, непримиримымъ врагомъ вашимъ застигаетъ меня Смерть на распутіи древней дороги, путь по которой людямъ, какъ яркіе огни, освѣщали религіозныя вѣрованія. Одинъ за другимъ зажигались, горѣли и гасли эти яркіе огни святого воодушевленія, увлекая впередъ человѣческіе потоки; постепенно дѣлался явнымъ, расцвѣталъ, созрѣвалъ и увядалъ подъ лучами сознанія глубокій, сокровенный смыслъ ихъ догматовъ; изнашивалась чудная символическая одежда, но вѣчное стремленіе вырваться изъ тѣснаго, замкнутаго круга, осязаемаго историческаго мгновенія, связать будущее съ прошлымъ, умертвить Смерть и обезсмертить Жизнь,—выдвигало новыхъ религіозныхъ мечтателей, которые стремились глубже, чѣмъ бывшіе до нихъ, заглянуть въ тайны вселенной и въ страстномъ, все растущемъ порывѣ любви и состраданія обнять и объединить весь міръ.

— На нашихъ глазахъ гаснутъ огни великихъ религій человѣчества, великихъ религій, которыя ближе всего къ нашему времени родились на землѣ,—гаснутъ, и не возжечь уже ихъ снова никакимъ Юліанамъ Отступникамъ Настоящаго, не возжечь, потому что изжито ихъ слишкомъ бѣдное, слишкомъ земное, слишкомъ человѣческое содержаніе.

— Но уже сѣмена страстныхъ религіозныхъ исканій снова оплодотворяютъ человѣческій духъ; рождаются

новые символы; глубже, проникновеннѣе вглядывается стоящій на распутіи современный человѣкъ въ тайну жизни и смерти: тѣснѣе стремится связать то, что было, съ тѣмъ, что будетъ—и мнѣ все время кажется, что вотъ вотъ зажжется огонь Новой Религіи и согрѣетъ собою всѣхъ насъ, холодныхъ и неспособныхъ къ дѣйствію, объединитъ насъ, нелюбимыхъ, одинокихъ, и освѣтитъ намъ путь впередъ.

— Я вѣрю, скоро придетъ Новая Религія; она снова на долго освѣтитъ путь Человѣку, новымъ свѣтомъ своего сознанія она зажжетъ сердце Человѣка пламенною любовью не только къ самому себѣ, но и ко всему живущему во вселенной; она научитъ его восторгамъ жертвы собою для спасенія всего живущаго; она включитъ исторію преображенной Земли въ нынѣ загадочный ходъ мірового развитія; она обезсмертитъ весь міръ, все то, что жило и живетъ, и побѣдитъ, наконецъ, и навсегда міровую смерть.

Совсѣмъ тихо, еле слышно закончилъ Юноша свои безумно-страстныя слова, порожденныя смутными и неясными исканіями одинокаго, заблудившагося въ жизни человѣка, въ сердце и мозгъ котораго уже стучитъ смерть.

Долго сидѣли всѣ трое, объятые молчаніемъ, въ которомъ, казалось, все еще колебались вылившіяся у каждаго затаенныя мысли; долго сидѣли, объятые молчаніемъ, словно навсегда затаить хотѣли въ себѣ темную даль человѣческаго будущаго, которое каждому изъ нихъ по-своему открылось въ эту, уже ушедшую отъ нихъ ночь.

Солнце встало. Вся Лавра въ нѣжной рамѣ весенней зелени, точно умытая и разодѣтая, улыбаясь, стояла въ ясномъ и тихомъ весеннемъ утрѣ. Ушли далеко одинокія грустныя звѣзды, и солнце, веселое, щедрое, посылало на цвѣтущую, нарядную землю свои живоносные лучи.

Близился часъ заутрени. По гостиному двору въ густой толпѣ богомольцевъ двигались трое ночныхъ собесѣдниковъ.

Кругомъ колыхалась пестрая праздничная толпа, слышались жалобныя, нараспѣвъ, причитанія безчисленныхъ лаврскихъ калѣкъ и нищихъ. Гулко падали въ пустыя деревянныя чашки мѣдныя монеты, первые дары привычнаго милосердія. Около бившейся въ истерическомъ припадкѣ кликуши стояла, сердобольно вздыхая, густая толпа монаховъ и богомольцевъ.

Платонычъ и дѣвушка дружно бесѣдовали между собою и все время чему-то весело смѣялись, а рядомъ съ ними молча шелъ Юноша, и въ глазахъ его свѣтилась тихая любовная тоска, которую онъ несъ навстрѣчу ликующему міру въ этотъ ясный весенній день.

Любопытными и недовѣрчивыми глазами смотрѣла на нихъ, пропуская мимо себя, молитвенно-настроенная толпа. Только одинъ отецъ Ѳеодосій черезъ настежь открытыя окна лаврской гостинницы скорбнымъ взглядомъ своихъ провидящихъ глазъ, изрѣдка крестясь и приговаривая слова своихъ собственныхъ молитвъ, провожалъ странныхъ, всю ночь просидѣвшихъ на балконѣ гостей.

А они, выйдя изъ воротъ гостинницы, свернули налѣво и стали медленно подниматься между двухъ высокихъ стѣнъ къ проѣзжей дорогѣ, которая пролегала мимо Лавры.

Тамъ вверху, около старой лаврской башни, противъ приземистаго и неуклюжаго зданія военнаго арсенала, которое точно подглядывало за Старою Лаврою пропыленными, подслѣповатыми стеклами своихъ угрюмыхъ и зловѣщихъ оконъ, они стали прощаться.

— Прощайте, Юноша,—говорила дѣвушка, а на ея веселомъ и смѣломъ лицѣ ложились какія-то смутныя тѣни,—прощайте. Мы съ вами больше уже не увидимся. Мнѣ жаль васъ. Человѣкъ вы прошлаго времени, но

въ васъ живетъ неясная, не воплотившаяся еще мечта будущаго... Да, вы нашъ злѣйшій врагъ, но вы были бы намъ нужнѣе многихъ нашихъ близкихъ, но близоруких друзей... Юноша! Вы дальше ихъ смотрите въ будущее.

— Прощайте,—отвѣтилъ съ ласковою улыбкою Юноша,—и я вамъ скажу свое хорошее, что я видѣлъ и вижу въ васъ. Знаете, Лидія, вся вы такая чистая, славная, юная дѣвушка, смѣло идущая въ безпощадную борьбу съ прошлымъ,—вся вы какой-то новый, чудно-прекрасный символъ еще не родившейся религіи... Желаю вамъ донести свой огонь невредженно и попалить имъ нечестивые Содомъ и Гоморру прошлаго. Прощайте!

Въ чуткомъ утреннемъ воздухѣ отчетливо раздался рѣзкій дребезжащій стукъ колесъ по мостовой, и вслѣдъ за нимъ прозвучали громкія, торопливыя, улыбающіяся слова Платоныча:

— До скораго свиданія, родная моя!

Друзья нѣкоторое время въ нерѣшительномъ раздумьи стояли на дорогѣ, пока за ближайшимъ поворотомъ не скрылась извозчичья пролетка, затѣмъ они взялись подъ руку и медленно отправились вслѣдъ за исчезнувшей, какъ сновидѣніе, вмѣстѣ съ ночью дѣвушкой.

Когда они шли между зеленѣющихъ стѣнъ садовъ, тѣсно обнимавшихъ дорогу, сзади ихъ догнали могучіе, торжественные звуки большого лаврскаго колокола. Торжественный благовѣстъ плавно разносился въ короткой тишинѣ весенняго ранняго утра. Онъ вызывалъ изъ далекаго прошлаго теплыя, незабываемыя впечатлѣнія дѣтства и звалъ уходившихъ назадъ. Но Платонычъ бодро и увѣренно шелъ все впередъ, все быстрѣе увлекая съ собою Юношу. И богомольцы, шедшіе имъ навстрѣчу, стекаясь на призывный звонъ въ урочный часъ утренней молитвы въ Старую Лавру, съ изумленіемъ смотрѣли на двухъ юношей, которые бѣжали отъ Ста-

рой Лавры въ ясный и тихій часъ ранняго утра, когда надъ кроткою землею поднималось ласковое солнце и звонили къ заутренѣ.

* * *

Черезъ двѣ недѣли хоронили Юношу. Съ Горы, гдѣ находилось кладбище, было видно, какъ блестѣли въ яркихъ лучахъ солнца золоченые главы и кресты разбросанныхъ по всему Подолу церквей; было видно, какъ далеко-далеко, въ синѣвшую даль уходила, серебрясь на солнцѣ, извилистая лента Днѣпра. Все кругомъ цвѣло, улыбалось и пѣло... Съ своею обычною тихой улыбкой переступалъ Юноша загадочную грань между жизнію и смертію...

Ненужной и уродливой на пышномъ коврѣ зелени казалась одинокая черная яма съ волнистою бахромою желтой, свѣже-выкопанной, вывернутой наизнанку земли, да непонятно было, чего плачетъ тяжелыми, скорбными слезами большой и сильный человѣкъ.

Вечеромъ Платонычъ въ дикомъ изступленіи и забытьѣ тушилъ всѣ огни, какіе привлекали его вниманіе и попадались ему подъ руку; когда его останавливали, онъ говорилъ странныя, мало-понятныя слова:

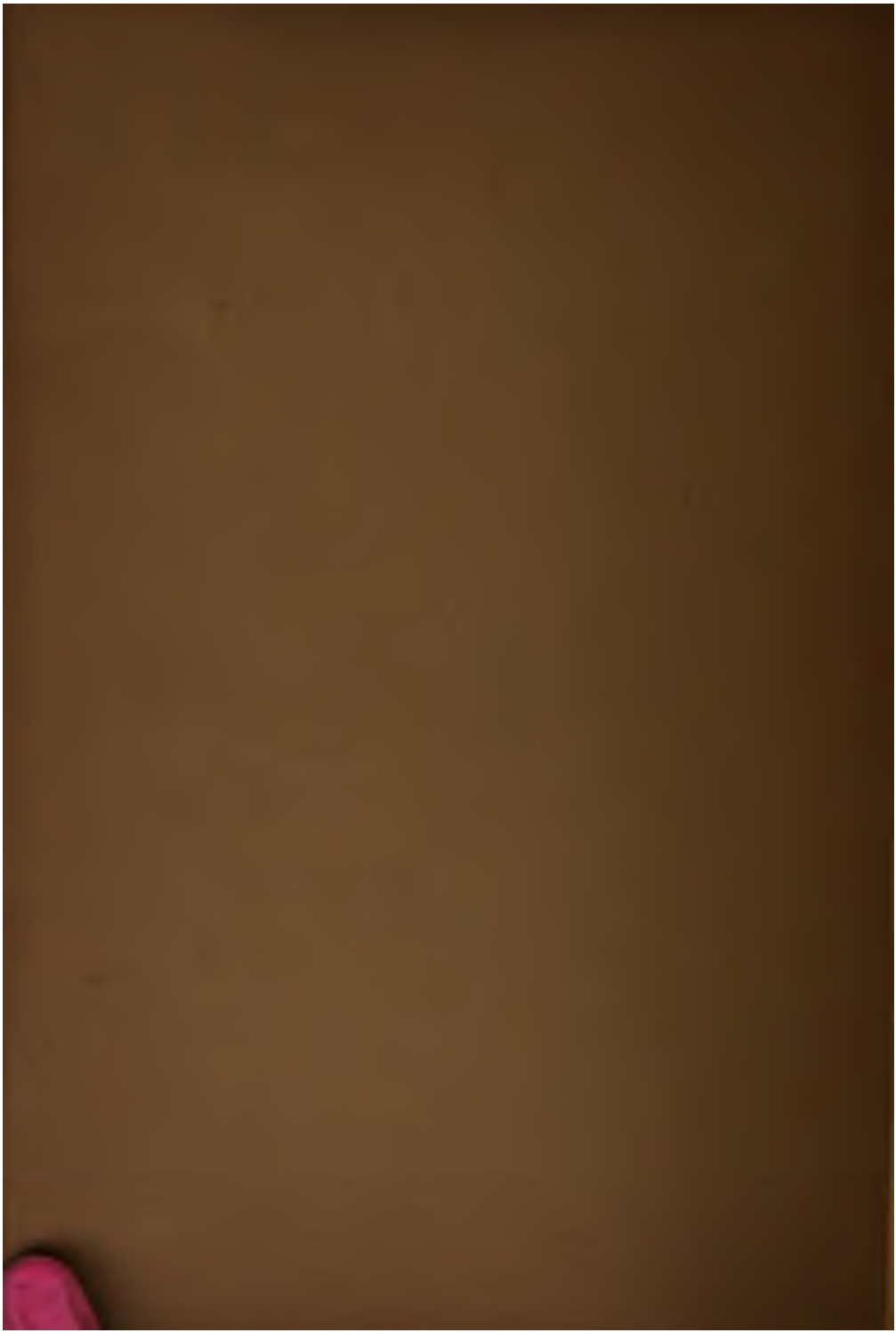
— Пусть гаснутъ всѣ холодныя очи, которыя видѣли смерть и не плачутъ. Люди не хотятъ знать, не хотятъ думать, отчего погасъ Юноша,—пусть они подумаютъ, отчего умерли огни, которые имъ мѣшали спотыкаться и падать.

А на утро, когда еще золотились въ лучахъ поднимавшагося солнца верхушки высокихъ, густолиственныхъ осокорей Братскаго монастыря, Платонычъ, весь улыбаясь своей добродушной улыбкой, подавалъ ректору прошеніе объ увольненіи изъ студентовъ академіи.

Ректоръ, маленькій, весь сѣдой и сморщенный старичокъ, чуть не заплакалъ, когда узналъ о странномъ рѣшеніи Платоныча: онъ всею душою любилъ свою

академію, всѣхъ служившихъ и учившихся въ ней и никакъ не могъ повѣрить, что есть причины, которыя могутъ заставить человѣка бросить ее. Онъ видѣлъ здѣсь какое-то діавольское навожденіе и всѣми силами стремился отговорить Платоныча отъ непоправимаго шага, но Платонычъ былъ непреклоненъ.

— Нѣтъ, я не могу долѣе оставаться здѣсь, высокопреосвященнѣйшій!—и Платонычъ легко и свободно выговаривалъ длинное, точно для него составленное слово.—Не могу. Чудеснѣйшее видѣніе было намъ съ Юношею въ ночь на Николинъ день въ Старой Лаврѣ. Явилась дивная, вѣщая Дѣвушка и велѣла уйти изъ Старой Лавры мнѣ и Юношѣ, каждому своею дорогою. Только-что ушелъ Юноша, куда повела его Смерть. Пора и Платонычу, куда зоветъ его Жизнь.

И Платонычъ ушелъ.

Италія.
Островъ Капри.
1907 г.